ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ

Роже Мартену дю Гару
посвящаю первый мой роман
в знак глубокой дружбы.

А. Ж.

Les Faux-Monnayeurs
1925

Перевод В. Никитина

Первая часть

ПАРИЖ

I

«Самое время вообразить себе, что в коридоре кто-то ходит»,— подумал Бернар. Он поднял голову и прислушался. Нет, не похоже: отец и старший брат задержались в суде, мать — в гостях, сестра — на концерте, ну а самый младший, маленький Калу, он сразу после лицея каждый день отправлялся в свой пансион. Бернар Профитандье остался дома, чтобы заняться подготовкой к выпускным экзаменам, до которых оставалось всего три недели. Семья к его одиночеству относилась с почтением, а вот дьявол — нет. Хотя Бернар и снял пиджак, он задыхался. Через распахнутое окно в комнату вливался лишь зной. Лоб его весь покрылся потом. Одна капля даже скатилась вдоль носа и упала прямо на письмо, которое он держал в руке.

«Прямо как слеза,— мелькнуло у него в голове.— Впрочем, лучше потеть, чем плакать».

Да, относительно даты сомневаться не приходилось. Все ясно: речь шла именно о нем, о Бернаре. Письмо, неподписанное любовное письмо семнадцатилетней давности, было адресовано его матери.

«Кто укрылся за этим инициалом? За уквой «В», которую с таким же успехом можно прочитать как «Н»... Разве что обратиться за разъяснениями к матери?.. Доверимся ее вкусу. Я волен представлять его себе хоть принцем. Вот будет сюрприз, если окажется, что я сын какого-нибудь голодранца Не знать, кто твой отец,— прекрасное средство против страха быть на него похожим. В расследовании нужно знать меру. Достаточно того, что оно принесло мне свободу. Остановимся на этом. На сегодня событий больше чем достаточно».

Бернар опять сложил письмо. Оно было такого же формата, как и двенадцать остальных, лежащих в пачке. Пачка была перевязана розовой ленточкой, которую он развязывать не стал, а просто передвинул, и теперь ему не стоило никакого труда вернуть ее на прежнее место. Он положил связку обратно в шкатулку, а шкатулку в выдвижной ящик туалетного столика. Ящик был закрыт; доби-

раться до его содержимого пришлось через верх. Бернар положил на место разобранные пластинки деревянной крышки, служащей основанием для тяжелой ониксовой плиты. Затем мягко, с величайшими предосторожностями опустил саму плиту, поставил на нее два хрустальных канделябра и громоздкие часы, которые взялся забавы ради отремонтировать.

Часы пробили четыре часа. Он поставил точное время.

«Господин судебный следователь и его сын, господин адвокат, вернутся не раньше шести. Время еще есть. Нужно сделать так, чтобы, придя домой, господин судебный следователь обнаружил у себя на столе письмецо, в котором я сообщу ему о своем уходе. Однако прежде, чем написать его, я должен непременно проветрить голову и встретиться с моим дорогим Оливье, дабы удостовериться в том, что у меня будет хотя бы временное пристанище. Оливье, друг мой, настало время подвергнуть испытанию твое расположение и наконец узнать, чего ты стоишь. До сих пор наша дружба была прекрасна тем, что мы еще ни разу не оказывали друг другу никаких услуг. Ба! О такой-то уж пустяковой помощи я смогу попросить без стеснения. Плохо вот только, что Оливье будет не один. Не беда: я найду способ поговорить с ним наедине. Мне хочется поразить его своим хладнокровием. Чем необычнее ситуация, тем естественнее я себя в ней чувствую.

Улица Т..., на которой до этого времени жил Бернар Профитандье, расположена совсем рядом с Люксембургским садом. Там, около фонтана Медичи, на обтекающей его аллее, имели обыкновение встречаться каждую среду между четырьмя и шестью некоторые из его приятелей. Говорили об искусстве, философии, спорте, политике и литературе. Бернар шел очень быстро, но, входя в сад, заметил Оливье и сразу сбавил шаг.

В этот день народу собралось больше обычного, должно быть, по случаю хорошей погоды. Появилось даже несколько новых, еще незнакомых Бернару лиц. Все эти молодые люди, оказываясь в компании, начинали играть чью-то роль и почти полностью утрачивали естественность.

Заметив приближающегося Бернара, Оливье покраснел и, довольно резко оборвав беседу с молодой женщиной, стоявшей рядом, отошел в сторону. Бернар был самым близким его другом, и поэтому он прилагал немало усилий, чтобы не показалось, будто он тянется к нему; иногда он даже притворялся, что не видит его.

Прежде чем приблизиться к другу, Бернар вынужден был подойти к нескольким группам, а поскольку и он тоже делал вид, что не стремится увидеться с Оливье, то задержался там.

Четверо его приятелей окружали маленького бородача в пенсне, с книгой в руке, выглядевшего значительно старше их. Это был Дюрмер.

— Ну а что же ты хочешь,— говорил он, обращаясь вроде бы к одному из присутствующих, но явно довольный тем, что его слушают все.— Я добрался до тридцатой страницы, но так и не встретил ни одной краски, ни одного создающего образ слова. Он говорит о женщине, а мне даже неизвестно, красное у нее платье или синее. А когда нет красок, то я, честное слово, ничего не вижу.— И поскольку он чувствовал, что его слова не воспринимают всерьез, то становился еще более категоричным и настаивал: — Абсолютно ничего.

Бернар говоруна не слушал, но отойти слишком быстро ему казалось неудобным; его ухо уже улавливало обрывки спора в другой группе, той самой, где оказался и покинувший молодую женщину Оливье; один из находившихся там людей сидел на скамейке и читал «Аксьон франсез».

Каким серьезным среди них всех кажется Оливье Молинье! А ведь он один из самых юных. Почти совсем еще детское лицо и взгляд выдают его не по годам зрелый ум. Он легко краснеет. У него нежное сердце. Хотя он держится со всеми приветливо, какая-то внутренняя сдержанность, какая-то стыдливость мешает его друзьям быть с ним накоротке. И он от этого страдает. Не будь Бернара, он страдал бы еще больше.

Молинье уже уделил, как это делал сейчас Бернар, понемногу внимания каждой из групп — просто из вежливости, так как ничто из того, что он услышал, его не заинтересовало.

Он наклонился над плечом читавшего. Бернар, стоявший спиной, услышал, как он сказал:

— Напрасно ты читаешь газеты; у тебя от них кровь к голове приливает.

Тот ответил пронзительным голосом:

— Зато ты, когда слышишь о Моррасе, зеленеешь.

Третий спросил с насмешкой в голосе:

— И что, ты получаешь удовольствие от статей Морраса?

Первый ответил:

— Они меня раздражают, но я полагаю, что он прав.

Затем в разговор вступил кто-то четвертый, чей голос Бернару показался незнакомым:

— А у тебя все так: если не раздражает — значит, не хватает глубины.

Первый парировал:

— Если ты считаешь, что глупость заменяет юмор...

— Иди сюда,— тихо произнес Бернар, резко схватив Оливье за руку. Он отвел его на несколько шагов в сторону:

— Ответь быстро, а то я спешу. Ты ведь как-то говорил мне, что спишь на другом этаже, не на том, где твои родители?

— Я даже показывал тебе дверь моей комнаты; она выходит прямо на лестницу, полуэтажом ниже остальной квартиры.

— И еще ты мне говорил, что твой брат спит в той же комнате?

— Да, Жорж.

— Вы там вдвоем?

— Да.

— Малыш умеет держать язык за зубами?

— Если нужно. А что?

— Послушай. Я ушел из дома, или, точнее, уйду сегодня вечером. И пока что не знаю, куда пойду. На одну ночь можешь меня приютить?

Оливье весь побледнел. Он был настолько взволнован, что не мог даже смотреть на Бернара.

— Да,— сказал он,— но только приходи не раньше одиннадцати часов. Мама каждый вечер спускается, чтобы пожелать нам спокойной ночи и закрыть нашу дверь на ключ.

— Но раз так...

Оливье улыбнулся.

— У меня есть другой ключ. Ты просто постучишь тихонько, чтобы не разбудить Жоржа, если он уже будет спать.

— А консьерж пропустит меня?

— Я предупрежу его. О! С ним у меня отношения очень хорошие. Он-то мне и дал второй ключ. Пока.

Они расстались, не пожимая друг другу руки. Бернар пошел своей дорогой, обдумывая на ходу письмо, которое собирался написать, дабы его обнаружил, вернувшись домой, судебный следователь, а Оливье, не желавший, чтобы его видели уединяющимся с одним лишь Берна-

ром, подошел к Люсьену Беркаю, которым другие несколько пренебрегали. Оливье очень бы его любил, если бы не предпочитал ему Бернара. Насколько Бернар был предприимчив, настолько Люсьен робок. Чувствовалось, что он не сильный; все его существование состояло как бы лишь из жизни сердца и ума. Он редко осмеливался подавать голос, но безумно радовался, когда видел, что Оливье идет к нему. О том, что он сочиняет стихи, догадывались все, но, похоже, Оливье был единственным человеком, с которым Люсьен делился своими планами. Они отошли к краю террасы.

— Больше всего мне хотелось бы,— объяснял Люсьен,— рассказать историю не персонажа, а места, скажем, какой-нибудь садовой аллеи, вот этой, например, рассказать, что на ней происходит с раннего утра и до позднего вечера. Сначала на ней появлялись бы няни с детьми, кормилицы в лентах... Нет, нет... сначала пришли бы такие люди, все в сером, без пола, без возраста, и стали бы подметать аллею, поливать траву, рассаживать цветы — одним словом, готовить сцену и декорации перед открытием ворот, понимаешь? Ну а уже после этого появляются кормилицы. Малыши стряпают из песка пирожки, ссорятся, няни раздают им оплеухи. Затем выход учеников младших классов, потом работниц. Кое-где на скамейках бедняки едят свой завтрак. Позже приходит черед молодых людей: одни из них ищут встреч, другие, напротив, от кого-то убегают, а есть и такие — мечтатели,— которые стремятся к одиночеству. Немного погодя аллея заполняется толпой — это время музыки и выхода из магазинов. Школяры — вот как сейчас. Под вечер — влюбленные: одни целуются, другие, плача, расстаются. Наконец, в наступивших сумерках — пожилая пара... И вдруг дробь барабана: сад закрывается. Все выходят. Спектакль окончен. Понимаешь: нечто такое, отчего возникало бы ощущение абсолютного конца, ощущение смерти... но, естественно, без упоминания смерти.

— Да, я очень отчетливо себе это представляю,— сказал Оливье, который задумался о Бернаре и не слышал ни единого слова.

— Но это не все, это не все! — с жаром продолжал Люсьен.— Мне хотелось бы сделать еще что-то вроде эпилога и там показать эту же аллею ночью, обезлюдевшую, пустынную, гораздо более прекрасную, чем днем, объятую великим безмолвием и отданную во власть естественных звуков: шума журчащей в фонтане воды, шеле-

ста ветра в ветвях, пения ночной птицы. Поначалу я подумал было даже о том, чтобы там двигались какие-нибудь тени или, например, статуи... но только мне думается, что так получилось бы банальнее; а тебе как кажется?

— Нет, статуй не надо, не надо статуй,— рассеянно заверил его Оливье и, поймав грустный взгляд приятеля, с воодушевлением воскликнул: — Действительно, старина, если у тебя получится, то будет просто великолепно!

II

> В письмах Пуссена нет и намека на то, что он чем бы то ни было обязан своим родителям. Да и впоследствии тоже он ни разу не пожалел, что расстался с ними. По собственному желанию переехав жить в Рим, он навсегда утратил не только желание вернуться домой, но как бы даже и саму память о близких.
>
> *Поль Дежарден «Пуссен»*

Господин Профитандье спешил домой, и ему казалось, что его коллега Молинье, решивший проводить его по бульвару Сен-Жермен, идет недостаточно быстро. День в суде выдался сегодня у Альберика Профитандье исключительно хлопотный, и вот теперь он с беспокойством думал о некоторой тяжести в правом боку: печень у него отличалась повышенной чувствительностью, и любая усталость давала о себе знать в первую очередь именно там. Он мысленно представлял себе, как примет сейчас ванну: ничто так не успокаивает после дневных трудов; предвидя это, он сегодня не стал полдничать, решив, что залезать в воду, даже если она и не очень горячая, лучше не с переполненным желудком. Может быть, это, конечно, и предрассудок, но на предрассудках держится цивилизация.

Стараясь поспеть за Профитандье, Оскар Молинье ускорял шаги как только мог, но он был гораздо ниже его ростом, не так крепок в пояснице и к тому же из-за небольшого ожирения сердца легко задыхался. Профитандье, который, несмотря на свои пятьдесят пять лет сохранил плоский живот и легкую походку, с удовольствием бы его бросил, но стремился соблюсти приличия: коллега был и постарше, и выше по положению, так что приходилось

относиться к нему с почтением. Кроме того, он испытывал перед ним нечто вроде вины из-за того, что сильно разбогател после смерти родителей жены, тогда как все состояние господина Молинье сводилось к его жалованью председателя палаты, жалованью смехотворному и нимало не соответствующему высокому положению, которое он занимал с тем большим достоинством, что оно всего лишь служило прикрытием его бездарности. Профитандье старался не выдавать своего нетерпения; он оборачивался к Молинье и смотрел, как тот вытирает платком лицо; в сущности, его очень интересовало то, что говорил Молинье, но их точки зрения не совпадали, и спор становился все жарче и жарче.

— Организуйте наблюдение за домом,— говорил Молинье.— Собирайте показания консьержа и лжеслужанки, это то, что нужно. Но только учтите: как только вы хоть немного продвинетесь в своем расследовании, все дело начнет распадаться... Я хочу сказать, что оно может завлечь вас гораздо дальше, чем вы вначале предполагали.

— Подобные опасения не имеют ничего общего с правосудием.

— Неужели! Неужели, друг мой; ведь уж мы-то с вами знаем, каким правосудие должно быть и каким оно сейчас является. Разумеется, мы стараемся сделать все, что в наших силах, но, что бы мы ни делали, результатов добиваемся весьма относительных. Дело, которым вы в настоящий момент занимаетесь, очень и очень деликатное: среди пятнадцати обвиняемых или тех, кто завтра, стоит вам пожелать, превратится в таковых, девять являются несовершеннолетними. Причем знаете, некоторые из этих детей принадлежат к семействам весьма почтенным. Поэтому мне кажется, что в подобной ситуации любой ордер на арест будет величайшей ошибкой. Ведь делом сразу же займутся недоброжелательно настроенные газеты, и получится, что вы открыли дверь для любого шантажа, для любой клеветы. И что бы вы тогда ни делали, какие бы чудеса осторожности ни проявляли, скрыть конкретные имена вам уже не удастся... Я не вправе давать вам совет, и вы прекрасно знаете, что я сам гораздо охотнее выслушал бы ваши советы, поскольку всегда признавал и ценил возвышенность ваших взглядов, вашу проницательность, прямоту... Однако на вашем месте я поступил бы следующим образом: постарался бы захватить четырех-пятерых главных подстрекателей, чтобы таким способом положить конец этому отвратительному скан-

далу. Конечно, я понимаю, что сделать это совсем нелегко, но только что же делать, такова наша профессия. Я приказал бы закрыть квартиру, где происходят все эти оргии, и поставил бы в известность родителей этих юных наглецов, но тайком, не поднимая шума, просто для того, чтобы не было больше никаких рецидивов. А кстати, возьмите и посадите женщин; здесь вы встретите мое полное понимание; мне кажется, что мы имеем дело с невероятно развращенными созданиями и очистить от них общество — наша прямая обязанность. Но только еще раз — не арестовывайте детей: достаточно будет, если вы их попугаете, а потом прикроете всю эту историю ярлыком «непредумышленных проступков», чтобы они долго-долго вспоминали да удивлялись, что так дешево отделались. Не забывайте, что троим из них нет еще и четырнадцати и что родители, вне всякого сомнения, считают их воплощениями ангельской чистоты и невинности. Однако же, дорогой друг, между нами, в их-то возрасте разве мы помышляли уже о женщинах?

Он остановился, запыхавшись скорее от собственного красноречия, чем от ходьбы, и заставил остановиться Профитандье, которого держал за рукав.

— А если и случалось когда-то мечтать о них,— продолжал он,— то только, я бы сказал, в идеальном, мистическом, религиозном смысле. Понимаете, у теперешних детей нет никакого идеала... Кстати, как дела у ваших? Разумеется, все, что я говорю, к ним отношения не имеет. Я знаю, что благодаря вашему присмотру за ними и благодаря воспитанию, которое вы им дали, подобных выходок опасаться не приходится.

Профитандье и действительно до настоящего момента мог только радоваться, глядя на своих сыновей, но иллюзий он себе не строил: лучшее в мире воспитание бессильно против дурных наклонностей; слава Богу, у его детей дурных наклонностей нет, как нет их, должно быть, и у детей Молинье: они сами избегают дурных знакомств и стараются не читать дурных книг. А то ведь какой смысл запрещать то, от чего все равно не сможешь удержать? Если запрещать читать что-либо, ребенок прочитает это украдкой. Что касается его, то у него система простая: читать дурные книги он не запрещает, но при этом устраивает так, что читать их у детей не возникает ни малейшего желания. Ну а по поводу этого дела он еще подумает, во всяком случае, обещает ничего не предпринимать, не поставив в известность Молинье. А пока будет просто идти скры-

тое наблюдение, и раз уж безобразие продолжается уже три месяца, то можно потерпеть его еще несколько дней, а то и несколько недель. А кроме того, не иключено, что за каникулы группа злоумышленников рассеется сама по себе. До свидания.

Профитандье получил наконец возможность ускорить шаг.

Придя домой, он сразу же заскочил в туалетную и открыл краны ванны. Антуан поджидал возвращения хозяина и постарался попасться ему навстречу в коридоре.

Этот верный слуга находился в доме уже пятнадцать лет; дети выросли на его глазах. Он немало повидал, а о многом другом догадывался, но делал вид, что не замечает ничего из того, что окружающие от него как бы скрывали. Привязанность Бернара к Антуану с годами не уменьшилась. И он не хотел уходить, не попрощавшись с ним. Не исключено, что он испытывал какую-то тайную радость оттого, что из-за накопившегося раздражения против своей семьи извещал о своем уходе из дома простого слугу, оставляя в неведении близких; правда, в оправдание Бернара можно сказать, что никого из его близких в тот момент в доме не было. И к тому же, начни он с ними прощаться, они стали бы пытаться его удержать. Больше всего боялся он объяснений. А с Антуаном можно было ограничиться простыми словами: «Я ухожу». Однако, произнося их, он столь торжественно протянул ему руку, что старый слуга удивился.

— Господин Бернар не вернется к ужину?

— И к завтраку тоже, Антуан.— А поскольку тот стоял, недоумевая, как ему следует понимать сказанное и должен ли он что-то еще спросить, Бернар повторил более выразительно:— Я ухожу,— потом добавил:— Я оставил письмо на письменном столе...— он не мог заставить себя произнести «у папы» и сказал: «на письменном столе в кабинете. Прощай».

Пожимая Антуану руку, он вдруг почувствовал такое волнение, как будто одновременно прощался со всем своим прошлым; он заторопился, сказал еще раз «прощай» и ушел, чтобы не дать разразиться подступившим к самому горлу рыданиям.

У Антуана мелькнула мысль, что, позволяя ему вот так уйти, он берет на себя серьезную ответственность; но только вот как бы он мог его удержать?

Антуан, конечно, понимал, что уход Бернара — событие для всей семьи и неожиданное, и чудовищное, но

амплуа идеального слуги предписывало ему ничем не показывать своего удивления. Он не должен был знать того, чего не знал господин Профитандье. Естественно, он мог бы попросту спросить: «Господин Профитандье, вы в курсе, что господин Бернар ушел?» — но это значило сразу же утратить свое преимущество, не получив при этом никакого удовольствия. Если он с таким нетерпением ждал своего господина, то лишь затем, чтобы совершенно бесстрастно и почтительно, как бы исполняя простое поручение Бернара, произнести тщательно подготовленную фразу:

— Уходя, господин Бернар оставил вам в кабинете письмо.

Фраза была настолько проста, что могла остаться незамеченной, и слуга тщетно пытался найти другие слова, более весомые и в то же время естественные, но так ничего и не придумал. Однако, поскольку раньше никогда не случалось, чтобы Бернар пропустил ужин, то господин Профитандье, за которым Антуан наблюдал краем глаза, не смог удержаться от резкого движения:

— Как! Перед...

Но тут же спохватился: не показывать же своего удивления в присутствии подчиненного; чувство собственного превосходства не покидало его никогда. И он закончил спокойным тоном, как и положено судье:

— Ладно, хорошо.

И уже почти переступая порог своего кабинета:

— Так где, ты сказал, это письмо?

— На вашем письменном столе.

Едва войдя в комнату, Профитандье действительно обнаружил конверт, лежащий на самом видном месте, напротив кресла, в которое он обычно садился, когда писал; однако Антуан продолжал держать его в поле зрения, так что не успел господин Профитандье прочитать две строчки, как тут же раздался стук в дверь.

— Я забыл вам сказать, что в малом салоне вас дожидаются две особы.

— Что за особы?

— Я не знаю.

— Они пришли вместе?

— Вроде бы нет.

— И чего они от меня хотят?

— Я не знаю. Они хотели бы с вами поговорить.

Профитандье почувствовал, что теряет терпение.

— Я же уже не раз говорил, что не желаю, чтобы меня

беспокоили дома, особенно в это время; у меня есть приемные дни и часы в суде... Зачем ты их пустил?

— Они обе сказали, что они к вам по делу, не терпящему отлагательств.

— И давно они здесь сидят?

— Да уже почти час.

Профитандье сделал несколько шагов по комнате и провел рукой по лбу; в другой руке он держал письмо Бернара. Антуан продолжал с достойным и невозмутимым видом стоять около двери. Наконец-то ему выпало счастье увидеть, как судья выходит из себя, и впервые в жизни услышать, как он топает ногами и повышает голос:

— Пусть оставят меня в покое! Пусть оставят меня в покое! Скажи им, что я занят. Пусть придут в какой-нибудь другой день.

И не успел Антуан выйти из кабинета, как Профитандье бросился за ним:

— Антуан! Антуан!.. Вот что еще, закрой-ка краны в ванной.

До ванны ли сейчас! Он подошел к окну и прочитал:

«Милостивый государь!

Вследствие одного открытия, случайно сделанного мной сегодня днем, я понял, что должен перестать считать Вас своим отцом, и испытал от этого огромное облегчение. Не питая к Вам практически никакой любви, я долгое время склонен был считать себя каким-то нравственным уродом, и мне гораздо приятнее осознавать, что я вообще не являюсь Вашим сыном. Возможно, Вы думаете, что я должен испытывать к Вам признательность за то, что Вы обращались со мной как с Вашими собственными детьми; однако, во-первых, я всегда ощущал разницу в Вашем отношении к ним и ко мне, а во-вторых, я достаточно хорошо Вас знаю и понимаю, что поступали Вы так из боязни скандала, из желания не привлекать внимания к ситуации, в которой Вы выглядели не лучшим образом, и наконец, Вы просто не могли поступить иначе. Я предпочитаю уйти, не повидавшись с матерью, ибо опасаюсь, что, прощаясь с ней навсегда, я растрогаюсь, и еще потому, что она при мне могла бы почувствовать себя неловко, а это мне было бы неприятно. Я сомневаюсь, чтобы она так уж меня любила; ведь я большую часть времени провел в пансионе, из-за чего у нее не было возможности узнать меня, а поскольку мое присутствие постоянно

напоминало ей о неком эпизоде из ее жизни, который она предпочла бы вычеркнуть из памяти, то мне кажется, что мой уход она воспримет с облегчением и удовольствием. Если у Вас хватит духа, то скажите ей, что я вовсе не обвиняю ее за то, что оказался незаконнорожденным; скорее даже напротив: это лучше, чем осознавать себя рожденным от Вас. (Простите меня за мои слова; я отнюдь не собираюсь Вас оскорблять, но сказанное мной позволит Вам меня презирать, и Вам от этого будет легче.)

Если Вы хотите, чтобы я сохранил в тайне причины, заставившие меня покинуть Ваш дом, то прошу не пытаться заставить меня в него вернуться. Принятое мною решение покинуть Вас бесповоротно. Не знаю, сколько к настоящему времени Вы истратили на меня денег, но до тех пор, пока я находился в неведении, ничего зазорного в том, что я жил за Ваш счет, не было; впредь же я, естественно, предпочитаю обходиться без Вашей помощи. Мне невыносима уже сама мысль, что я хоть чем-то Вам обязан, и я предпочел бы скорее умереть от голода, нежели вновь сесть за Ваш стол. К счастью, я смутно припоминаю когда-то сказанные слова, что в тот момент, когда моя мать выходила за Вас замуж, она была богаче Вас. Стало быть, ничто не запрещает мне думать, что жил я исключительно за ее счет. Я благодарю ее, освобождаю ее от обязанности заниматься мною в дальнейшем и прошу ее меня забыть. Вы, я думаю, сумеете как-нибудь объяснить мой уход тем, кого он мог бы удивить. Я позволяю Вам возложить вину за случившееся на меня (впрочем, я уверен, что Вы не преминете сделать это и без моего позволения).

Подписываюсь я принадлежащей Вам смешной фамилией, которую был бы не прочь Вам возвратить и которую постараюсь опозорить при первой же возможности.

Бернар Профитандье.

P. S. Все свои вещи я оставляю у Вас и надеюсь, что они еще послужат Калу, причем с большим основанием, нежели мне».

Пошатываясь, господин Профитандье добрался до кресла. Он хотел бы все обдумать, но ему никак не удавалось собраться с мыслями. Вдобавок появилось легкое покалывание в правом боку, под самыми ребрами,— приступ печени, против этого нет никакого средства. Неужели в доме нет даже минеральной воды? Хоть бы жена поскорее вернулась! И как рассказать ей про бегство Бер-

нара? Стоит ли показывать письмо? Оно ведь такое несправедливое, это письмо, ужасно несправедливое. Здесь, конечно, есть чем возмущаться. И он готов был принять за возмущение охватившую его печаль. Дыхание его участилось, и при каждом выдохе он коротко и почти неслышно произносил: «Ах, боже мой!» Боль в боку как-то смешалась с печалью, подчеркивая ее и локализуя. У него было такое ощущение, словно состояние печали зарождается именно в печени. Бросившись в кресло, он снова перечитал письмо Бернара. И грустно пожал плечами. Письмо, ничего не скажешь, жестокое; однако чувствуется в нем и досада, и вызов, и какое-то хвастовство. Ни один из его других детей, настоящих его детей, никогда бы не смог так написать, да и сам он тоже никогда бы так не написал; он хорошо это понимал, поскольку не замечал в них ничего такого, чего бы не было в нем самом. Естественно, он всегда считал, что нужно порицать то новое, грубое и непокорное, что он обнаруживал в Бернаре; он продолжал так считать и сейчас, но в то же время прекрасно осознавал, что именно из-за этого любил его больше, чем кого бы то ни было из других своих детей.

Было слышно, как в соседней комнате только что вернувшаяся с концерта Сесиль села за рояль и упорно пытается воспроизвести одну и ту же фразу из баркароллы. В конце концов Альберик Профитандье не выдержал. Приоткрыв дверь гостиной, он произнес жалобным, почти умоляющим голосом, так как боль в печени становилась все острее (и к тому же в общении с дочерью он всегда испытывал какую-то робость):

— Милая Сесиль, ты бы не могла посмотреть, есть ли в доме минеральная вода, а если нет, то кого-нибудь за ней послать. И еще будь добра, пожалуйста, подожди пока играть на рояле.

— Тебе плохо?

— Да нет, нет. Просто до ужина мне нужно кое-что обдумать, а твоя игра мешает сосредоточиться.

И чтобы сделать приятное, поскольку страдание всегда придавало ему доброты, он добавил:

— Очень красивая вещь — то, что ты сейчас играла. Что это?

Однако вышел, не выслушав ответа. Впрочем, дочь, зная, что он совершенно не разбирается в музыке и способен спутать пошлый шлягер с маршем из «Тангейзера» (так, во всяком случае, она утверждала), отвечать и не собиралась. Но он тут же опять открыл дверь:

— Мать еще не вернулась?

— Пока нет.

Неудачно все складывается. Вернется совсем поздно и поговорить с ней до ужина явно не удастся. А пока нужно что-нибудь придумать, чтобы как-то объяснить отсутствие Бернара, но только как? Не мог же он рассказать все, как было, и раскрыть перед детьми тайну случившегося однажды грехопадения их матери. Но ведь все давно прощено, забыто, заглажено. Рождение младшего сына примирило их окончательно. И вдруг из прошлого возник этот мстительный призрак, этот принесенный волной труп...

Ну-ка! А это еще что такое? Дверь в кабинет бесшумно раскрылась; он торопливо сунул письмо во внутренний карман пиджака; портьера плавно приподнялась. Вошел Калу.

— Папа, скажи... Что это значит, вот эта латинская фраза. Никак не могу ее понять...

— Я ведь тебе уже говорил, что без стука входить нельзя. И потом я не хочу, чтобы ты по всякому поводу отвлекал меня от дела. У тебя уже появилась привычка чуть что обращаться за помощью, и вместо того чтобы трудиться самому, ты заставляешь это делать других. Вчера это была задача по геометрии, сегодня это... откуда она, твоя латинская фраза?

Калу потянул тетрадь:

— Он нам не сказал; да ты только посмотри, ты сразу поймешь. Он нам ее продиктовал, но, может быть, я не так записал. Я хотел бы знать хотя бы, правильно это или нет...

Господин Профитандье взял в руки тетрадь, но боль его не отпускала. Он мягко отстранил ребенка от себя:

— Попозже. Сейчас надо ужинать. Шарль вернулся?

— Он спустился к себе в кабинет. (Клиентов своих адвокат принимал на первом этаже.)

— Скажи ему, чтобы он зашел ко мне. Только поторопись.

Звонок! Наконец-то вернулась госпожа Профитандье; вошла и попросила извинить ее за опоздание: так много пришлось нанести визитов. Страдания мужа ее расстроили. Не может ли она чем-нибудь ему помочь? Выглядит он действительно очень плохо.— Ужинать он не сможет. Пусть садятся за стол без него. Но после ужина пусть зайдет к нему вместе с детьми.— Бернар? — Ах, да; его друг...

помнишь, тот, с которым он готовился к экзамену по математике, он зашел и пригласил его поужинать.

Профитандье почувствовал себя лучше. Поначалу он опасался, что из-за слишком сильной боли не сможет говорить. И все же объяснить причину исчезновения Бернара было необходимо. Теперь он знал, что он скажет, скажет, какие бы мучения это ему ни причиняло. Он чувствовал в себе твердость и решительность. Единственное, чего он боялся, так это как бы жена не прервала его плачем или криком, как бы ей не стало плохо...

Час спустя она вошла в комнату вместе с тремя детьми, приблизилась к нему. Он усадил ее напротив своего кресла.

— Постарайся взять себя в руки,—сказал он ей тихим, но не терпящим возражений голосом,—и ничего не говори, слышишь. Потом вдвоем мы все обсудим.

Говоря так, он держал одну ее руку в своих руках.

— Присядьте, пожалуйста, дети. Я не могу говорить, пока вы так вот стоите передо мной, словно на экзамене. Я должен сказать вам одну весьма грустную вещь... Бернар покинул нас, и больше мы его не увидим... в течение некоторого времени. Сегодня мне приходится сообщить вам нечто такое, что прежде я скрывал, желая, чтобы вы любили Бернара, как брата, поскольку мы, ваша мать и я, любили его, как своего собственного сына. В действительности же он не был нашим сыном... и вот сейчас его дядя, брат его настоящей матери, которая, умирая, вверила его нашим заботам... увез его с собой.

После этих слов установилось тягостное молчание, нарушаемое лишь сопением Калу. Все ждали, надеясь, что он скажет что-нибудь еще. Однако он махнул рукой:

— Ну а теперь, дети, идите. Мне нужно поговорить с матерью.

После их ухода господин Профитандье заговорил не сразу. Рука госпожи Профитандье, остававшаяся в его руках, казалась мертвой. Другой рукой она поднесла носовой платок к глазам. Она облокотилась на большой стол и, отвернувшись, заплакала. Профитандье расслышал, как она прошептала сквозь сотрясавшие ее рыдания:

— О, как вы жестоки!.. Вы выгнали его!..

До этого он не собирался показывать ей письмо Бернара, но, услышав столь несправедливое обвинение, вынужден был показать:

— Вот, читай.

— Я не в состоянии.

— Ты должна прочитать.

Он уже не думал о своих болях. И все время, пока она строчку за строчкой читала письмо, следил за ней. Только что, разговаривая, он едва сдерживал слезы, но теперь волнение прошло: он наблюдал за женой. Какие сейчас мысли бродят у нее в голове? Все тем же жалобным голосом, так же прерываемым рыданиями, она прошептала:

— О! Ну зачем ты сказал ему? Тебе не нужно было ему говорить...

— Но ты же сама видишь, что я ничего не говорил ему... Повнимательнее прочитай его письмо.

— Я читала внимательно... А тогда как же он обнаружил? Кто ему сказал?

Ну и ну! Вот о чем она думает! Вот из-за чего переживает! Эта горестная новость должна была бы объединить их. Увы! Профитандье смутно ощущал, что их волнуют разные вещи. Она жалуется, обвиняет, требует, а он пытается направить ее своевольный дух на путь благочестивости.

— Это искупление,—сказал он.

Почувствовав в себе инстинктивную потребность утвердить свое превосходство, он встал, выпрямился и остался стоять, забыв о физической боли, степенно, нежно и властно держа свою руку на плече Маргариты. Для него давно уже не составляло тайны, что она весьма неглубоко раскаялась в том, что ему хотелось считать всего лишь мимолетной слабостью; и вот теперь ему следовало бы внушить ей, что это печальное событие, это испытание, поможет ей искупить свою вину; однако ему все никак не удавалось найти формулу, которая бы удовлетворила его и была бы понятной для нее. Плечо Маргариты сопротивлялось слабому нажатию его руки. Маргарите было слишком хорошо известно, что из любого случившегося в жизни факта он непременно и неумолимо извлечет нравоучение: он все истолковывал и трактовал так, как велела ему его догма. Он наклонился к ней. Вот что ему хотелось бы сказать:

— Бедный мой друг, ты понимаешь: грех не приводит ни к чему хорошему. Как мы ни старались скрыть твой проступок, ничего не получилось. Увы! А ведь я сделал для этого ребенка все, что только мог; я обращался с ним как с родным сыном. Бог сейчас показывает нам, что мы заблуждались, что рассчитывать...

Однако, произнеся первую фразу, он остановился.

Тем не менее она, похоже, все поняла; похоже, что эта

короткая, но богатая смыслом фраза проникла в самую ее душу, потому что она, уже совсем было перестав плакать, вновь зарыдала, причем еще сильнее, чем прежде; потом она согнулась, как бы готовясь упасть перед ним на колени, а он предупредил этот жест, наклонился и поддержал ее. Но что говорит она сквозь слезы? Он наклонился к самым ее губам. И услышал:

— Ну вот видишь... Вот видишь... Ах! Ну зачем ты простил меня? Ах! Мне не следовало возвращаться!

Он едва-едва различал ее слова. Потом она замолчала. Она тоже не смогла высказать все, что хотела. Какие слова должна была бы она подыскать, чтобы рассказать ему, что она чувствует себя узницей предписанной им добродетели, что она задыхается, что не столько о проступке своем она сейчас жалеет, сколько о том, что в нем раскаялась. Профитандье выпрямился.

— Бедный мой друг,— произнес он важно и строго,— мне кажется, что ты сегодня слишком перенервничала. Время уже позднее. Пойдем-ка лучше спать.

Он помог ей встать, проводил до двери спальни, коснулся губами ее лба, потом вернулся в кабинет и бросился в кресло. Странная вещь: приступ печени прошел, но он чувствовал себя разбитым. Он сидел, обхватив голову руками; печаль его была так велика, что он не мог даже плакать. Он не слышал стука в дверь, но шум открываемой двери заставил его поднять голову: это оказался его сын Шарль.

— Я пришел сказать тебе спокойной ночи.

Шарль приблизился к нему. Он все понял. И хотел бы дать это почувствовать отцу. Хотел бы выразить ему свое участие, свою любовь, свою преданность, но вот только кто бы мог ожидать от адвоката: он был не в состоянии выразить это словами; впрочем, возможно, неловкость эта проявлялась у него именно тогда, когда он оставался искренним. Он обнял отца. То, как подчеркнуто он положил голову на плечо отца и задержал ее там на некоторое время, позволило господину Профитандье сделать вывод, что сын понял. Понял настолько хорошо, что вдруг неловко, как все, что он делал — Шарль осознавал свою неловкость, но на сердце у него было так тяжело, что сдержаться он был не в силах,— спросил:

— А Калу?

Вопрос был бессмысленный, потому что принадлежность Калу к семье казалась столь же очевидной, как

и непохожесть Бернара на других детей. Профитандье опустил руку Шарлю на плечо:

— Нет, нет успокойся. Только Бернар.

Шарль начал было высокопарно:

— Бог изгоняет вторгающегося, дабы...

Но Профитандье остановил его — что за необходимость говорить ему такие вещи?

— Замолчи.

Ни у того, ни у другого нет больше слов. Так расстанемся же с ними. Скоро будет одиннадцать часов. Оставим и госпожу Профитандье, сидящую в своей комнате на маленьком неудобном стуле с прямой спинкой. Она не плачет и ни о чем не думает. Ей тоже хотелось бы убежать, но она этого не сделает. Когда она была со своим любовником, отцом Бернара, с которым нам не обязательно знакомиться, то говорила себе так: «Что бы ты ни делала, ты так навсегда и останешься порядочной женщиной». Она боялась свободы, боялась быть непринужденной, боялась выглядеть преступницей и поэтому десять дней спустя с покаянием вернулась к семейному очагу. Ее родители когда-то с полным на то основанием говорили ей: «Ты никогда не знаешь, чего хочешь». Расстанемся и с ней. Сесиль уже спит. Калу с огорчением смотрит на свечу: она догорит раньше, чем ему удастся дочитать приключенческую книжку, которая отвлекает его от мыслей об ушедшем Бернаре. Я был бы не прочь узнать, что Антуан рассказал своей подружке-кухарке, но ведь подслушать всех невозможно. Подошло время Бернару идти к Оливье. Я, право, не знаю, где он поужинал этим вечером, да и ужинал ли он вообще. Вот он беспрепятственно прошел мимо комнатки консьержа и тайком поднимается по лестнице...

III

Plenty and peace breeds cowards;
hardness even
Of hardiness is mother [1].

Shakespeare

Оливье улегся в постель в ожидании поцелуя матери, которая каждый вечер приходила в комнату двух млад-

[1] Довольство и лень рождают трусов, а нужда —
Мать мужества.
Шекспир. «Цимбелин» (*Пер. П. Мелковой*)

ших сыновей пожелать им спокойной ночи. Он мог бы одеться, чтобы принять Бернара, но, все еще сомневаясь в том, что тот придет, опасался потревожить сон своего младшего брата. Жорж обычно засыпал быстро и просыпался поздно; так что, возможно, он не заметил бы ничего необычного.

Услышав нечто вроде тихого царапанья по двери, Оливье соскочил с кровати, быстро сунул ноги в ночные тапочки и побежал открывать. Зажигать свет не потребовалось: благодаря луне в комнате было достаточно светло. Оливье обнял Бернара.

— Я тебя так ждал! Мне просто не верилось, что ты придешь. А родители знают, что ты не вернешься ночевать?

Бернар смотрел прямо перед собой в ночной мрак. Он пожал плечами.

— Ты считаешь, что я обязан был спросить у них разрешения, да?

Он сказал это настолько холодно-ироничным тоном, что Оливье сразу же осознал всю абсурдность своего вопроса. Он еще не понял, что Бернар ушел «по-настоящему», и, полагая, что тот решил провести вне дома всего одну ночь, терялся в догадках относительно мотивов этой выходки. Он спросил, когда Бернар собирается вернуться домой, и услышал в ответ: «Никогда». И тут Оливье наконец все понял. Ему очень хотелось быть на высоте положения и ничему не удивляться, но все же у него вырвалась фраза: «Ну ты даешь, просто невероятно».

Бернару нравилось вот так слегка поразить воображение своего друга; особенно ему польстила нотка восхищения, проскользнувшая в словах собеседника, но он опять пожал плечами. Оливье взял его за руку; у него очень серьезное выражение лица; с волнением спросил:

— Но... почему ты уходишь?

— О, старина, это семейные истории. Я не вправе тебе рассказывать.— Чтобы не выглядеть слишком серьезным, он, произнося эти слова, мыском своего ботинка поддел и сбил тапок без задника, который покачивался на ноге сидевшего рядом с ним на кровати Оливье.

— Ну а где ты будешь жить?

— Не знаю.

— Главное — на что?

— Там будет видно.

— Деньги-то какие-нибудь у тебя есть?

— На завтрашний обед хватит.

— А как же дальше?

— Дальше буду искать. Ба! Кое-что я, кажется, придумал. Сам увидишь, я тебе расскажу.

Оливье был в полном восторге от своего друга. Он знал, что характер у того решительный, но все же еще сомневался: не получится ли так, что, лишенный средств к существованию и под давлением обстоятельств, он вскоре попытается вернуться домой? Ответ Бернара прозвучал категорично: он предпримет все, что угодно, но к родителям не вернется. А поскольку он несколько раз повторил, постепенно ожесточаясь, свое «все, что угодно», сердце Оливье сжалось от тоскливого предчувствия. Ему хотелось бы что-нибудь сказать, но он не решался. Наконец, потупив голову, он начал не совсем уверенным тоном:

— Бернар... и все же не собираешься ведь ты...— однако он не докончил. Его друг поднял глаза и, хотя темнота не позволяла ему видеть лицо Оливье, понял, что тот смущен.

— Не собираюсь что?— спросил он.— Что ты имеешь в виду? Договаривай. Воровать?

Оливье отрицательно покачал головой. Нет, не это. Он вдруг зарыдал и конвульсивно обхватил Бернара руками.

— Обещай мне, что ты не...

Бернар обнял его, потом со смехом оттолкнул. Он понял:

— Ну это я тебе обещаю. Нет, сутенером я становиться не собираюсь.— И тут же добавил:— Все же согласись, это был бы самый простой выход.— Оливье, однако, успокоился, поняв, что последние слова всего лишь дань показному цинизму.

— А твой экзамен?

— Да, это единственное, что меня удручает. Провалиться мне все-таки не хотелось бы. Думаю, что я в состоянии сдать его; проблема заключается лишь в том, чтобы в день сдачи не чувствовать себя усталым. Я должен побыстрее развязаться с этим делом. Риск, конечно, есть, но... должно получиться, вот увидишь.

Они помолчали. Второй тапок тоже упал на пол. Бернар заговорил первым:

— Простудишься. Ложись-ка лучше.

— Нет, ложись лучше ты.

— Шутишь! Давай быстрей,— и он заставил Оливье улечься в разобранную постель.

— А ты? Где ты собираешься спать?

— Да где угодно. На полу. В каком-нибудь углу. Я должен привыкать.

— Нет, послушай. Мне нужно тебе что-то сказать, но я не смогу, пока ты не будешь совсем рядом со мной. Ложись прямо ко мне в постель.— И после того как моментально раздевшийся Бернар лег, сказал: — Помнишь, то, о чем я тебе говорил в прошлый раз... Так вот, я сходил. Я там был.

Бернар понял с полуслова. Он прижался к своему другу, а тот продолжал:

— И должен тебе сообщить, старина, это отвратительно. Просто мерзко... У меня после этого появилось желание плеваться, вызвать у себя рвоту, сдирать с себя кожу, покончить жизнь самоубийством.

— Ну это уж слишком.

— Или убить ее.

— А кто она? Надеюсь, ты не с кем попало?

— Нет, это одна девица, которую знает Дюрмер, он-то меня с ней и познакомил. Больше всего меня тошнило от ее речей. Она болтала без умолку. А что за чушь она несла! Я не понимаю, неужели в такой момент нельзя было помолчать. Так и хотелось заткнуть ей глотку, просто задушил бы...

— Бедный, бедный! А ведь ты мог бы заранее догадаться, что Дюрмер способен познакомить только с идиоткой... Хоть красивая она была?

— Ты что думаешь, я всматривался?

— Ну и дурило. Ты просто душка. Давай спать. По крайней мере ты вполне...

— Еще как! Вот это-то как раз мне и противно больше всего: то, что я все же смог... как если бы испытывал к ней желание.

— Ну так хорошо, старина, просто здорово.

— Замолчи. Если это называется любовью, то я насытился ею надолго.

— Ну и ребенок же ты еще!

— Хотел бы я на тебя посмотреть на моем месте.

— Ну я, ты же знаешь, я не очень стремлюсь. Я ведь тебе говорил: жду приключения. А так вот, рационально, нет ни малейшего желания. И все же если бы я...

— Если бы ты...

— Если бы она... Впрочем, ничего. Давай спать.— Он резко повернулся спиной, одновременно слегка отодвинувшись от друга, потому что ему стало жарко. Однако не прошло и мгновения, как Оливье опять обратился к нему:

— Скажи-ка... ты веришь, что Барреса выберут?

— Боже мой!.. Тебя это так волнует!

— Мне наплевать! А скажи... Знаешь...— Он положил руку на плечо Бернара, и тот обернулся.— У моего брата есть любовница.

— У Жоржа?

Малыш, притворявшийся спящим, напряженно вслушивался в разговор и, услышав свое имя, затаил дыхание.

— Ты спятил! Я говорю о Венсане. (Старший брат Оливье Венсан уже несколько лет учился на медицинском факультете.)

— Он сам тебе это сказал?

— Нет. Он и не подозревает, что мне известно. Родители ничего не знают.

— А если бы им стало известно, то что бы они сказали?

— Не знаю. Мама очень бы расстроилась. Ну а папа потребовал бы или порвать с ней, или жениться.

— Черт побери! Этим порядочнейшим буржуа и в голову не приходит, что можно быть порядочным, но только иначе, чем они. А ты-то как узнал?

— А вот как: с некоторого времени Венсан стал уходить по ночам, после того как родители улягутся спать. Он старается, когда спускается по лестнице, делать как можно меньше шума, но я его шаги узнаю и на улице. На прошлой неделе, если не ошибаюсь в среду, ночь выдалась такая душная, что я просто не в состоянии был оставаться в постели. Чтобы легче было дышать, сел у окна. Вдруг слышу: дверь внизу открылась и закрылась. Я высунулся из окна и, когда он проходил рядом с фонарем, узнал Венсана. Время было за полночь. То было впервые. Я хочу сказать, что впервые тогда я это обнаружил. Ну а получив такое вот уведомление, я теперь наблюдаю — о, совершенно непроизвольно... и практически каждую ночь слышу, как он уходит. У него есть собственный ключ, и родители отвели в его распоряжение комнату, где раньше жили мы с Жоржем, чтобы там устроить ему кабинет для приема пациентов, когда они у него появятся. Его комната расположена рядом, слева от вестибюля, а все остальные комнаты — справа. Он может уходить и возвращаться, когда захочет, не привлекая чьего-либо внимания. Обычно я не слышу, как он возвращается, а позавчера, в понедельник ночью, не знаю, что со мной случилось, я все время мысленно возвращался к тому проекту Дюрмера организовать журнал... Никак не мог заснуть. Вдруг

слышу на лестнице голоса и сразу подумал, что это Венсан.

— В котором часу это происходило? — спросил Бернар не столько потому, что ему действительно важно было знать, сколько для того, чтобы как-то показать свой интерес.

— Думаю, часа так в три утра. Я встал и прижался ухом к двери. Венсан разговаривал с какой-то женщиной. Точнее, говорила только она.

— А почему ты решил, что это был он? Перед твоей дверью проходят все жильцы.

— Причем делают это иногда весьма бесцеремонно: чем более позднее время, тем больше шумят, когда поднимаются по лестнице; люди спят, а им на все наплевать!.. Это мог быть только он: женщина постоянно повторяла его имя. Она говорила ему... о, мне так противно пересказывать все это...

— И тем не менее.

— Она говорила ему: «Венсан, милый, любовь моя, ах! не покидайте меня!»

— Она обращалась к нему на «вы»?

— Да. Странно, не правда ли?

— Ну и дальше.

— «Сейчас вы не имеете права меня бросить. Вы представляете, что со мной теперь будет? Куда мне теперь идти? Скажите же мне что-нибудь. О! только не молчите».— А потом снова называла его по имени и повторяла: «Любовь моя, любовь моя», все печальнее и печальнее, все тише и тише. После этого я услышал шум (они, кажется, стояли на ступеньках), шум, как будто что-то упало. Я думаю, это она бросилась на колени.

— А он, он ничего не отвечал?

— Ему, вероятно, оставалось подняться всего на несколько ступенек: я услышал только, как закрылась дверь его комнаты. А она еще долго оставалась совсем рядом, почти у самой моей двери. Я слышал, как она рыдает.

— Нужно было открыть ей.

— Я не решился. Венсан рассвирепел бы, если бы узнал, что я в курсе его дел. А еще я боялся, что ей было бы очень неприятно предстать перед кем-то такой заплаканной. И не знаю, что бы я стал ей говорить.

— Будь я на твоем месте, я бы открыл.

— О! Боже мой, ты всегда решаешься на все. Едва появляется в голове какая-то идея, и ты сразу ее исполняешь.

— Ты меня в этом упрекаешь?

— Нет, завидую.

— Как тебе кажется, кто она такая, эта женщина?

— Ни малейшего представления. Спокойной ночи.

— Скажи... ты уверен, что Жорж не слышал наш разговор? — шепнул Бернар на ухо Оливье. Они затаились и прислушались.

— Нет, он спит, — ответил Оливье нормальным голосом, — к тому же он все равно бы ничего не понял. Знаешь, что он спросил как-то на днях у папы?.. Почему...

Тут уж Жорж не выдержал, привстал на своей постели и перебил брата.

— Идиот, — закричал он, — ты, значит, даже не понял, что я сделал это нарочно?.. Черт побери, я, естественно, слышал все, что вы тут говорили, но только вам нечего беспокоиться. Я давным-давно знал про Венсана. А теперь, малютки, постарайтесь говорить потише, я хочу спать. Или вообще замолчите.

Оливье повернулся лицом к стене. Бернар не спал и рассматривал комнату. В лунном свете она, казалось, была больше, чем на самом деле. По сути, он ее почти не помнил. Днем Оливье никогда в ней не находился; Бернар был у него всего несколько раз, и тот всегда принимал его этажом выше. Лунный свет подобрался к кровати, в которой Жоржу наконец-то удалось заснуть; поскольку он слышал почти все, о чем рассказывал брат, материал для сновидений у него был. Над кроватью Жоржа вырисовывался небольшой, состоящий всего из двух полок книжный шкаф, где разместились учебники. На столе, рядом с кроватью Оливье, Бернар заметил книгу более крупного формата, протянул руку, взял ее и прочитал на обложке «Токвиль»; но когда попытался положить книгу обратно, то уронил ее, и шум разбудил Оливье.

— Ты что, читаешь сейчас Токвиля?

— Это Дюбак дал мне его.

— Нравится?

— Несколько скучновато. А местами просто замечательно.

— Послушай. Что ты завтра собираешься делать?

Завтра был четверг, для лицеистов свободный от занятий день. Бернар подумал о том, что в принципе опять сможет встретиться со своим другом. Он больше не собирался ходить в лицей и утверждал, что подготовится к экзамену и без последних уроков.

— Завтра,— сказал Оливье,— я иду в полдвенадцатого на вокзал Сен-Лазар к дьеппскому поезду встречать своего дядю Эдуара, который возвращается из Англии. После обеда, в три часа, я встречаюсь в Лувре с Дюрмером. А остаток дня придется посвятить занятиям.

— Дядю Эдуара?

— Да, он мамин брат по отцу. Последние полгода он был за границей, да и вообще я его плохо знаю, но, несмотря на это, очень люблю. Он не знает, что я приеду его встречать, и я даже побаиваюсь, что не узнаю его. Он совершенно не похож на остальных моих родственников; он очень хороший.

— А чем он занимается?

— Пишет. Я читал почти все его книги, только вот он уже давно ничего не публиковал.

— Романы?

— Да, что-то вроде романов.

— Почему же ты никогда мне о нем не говорил?

— Потому что тебе бы захотелось прочитать его книги, а если бы они тебе не понравились...

— Ну и что?

— А то, что я стал бы из-за этого переживать.

— Ты говоришь, что он очень хороший; что в нем хорошего?

— Мне было бы трудно объяснить. Я же сказал тебе, что я почти не знаю его. Это скорее предчувствие. У меня такое ощущение, что он интересуется многими вещами, которые неинтересны моим родителям, и что с ним можно говорить обо всем. Однажды, незадолго до своего отъезда, он у нас обедал и вот, когда он разговаривал с моим отцом, я чувствовал, что он постоянно смотрит на меня, так что это даже начало действовать мне на нервы; я собрался выйти — это происходило в столовой, где мы задержались после кофе,— но здесь он стал расспрашивать отца обо мне, что смутило меня еще больше, а тут вдруг папа встал и пошел за стихами, которые я сочинил накануне и имел несчастье ему показать.

— За твоими стихами?

— Да, помнишь, то стихотворение, которое тебе еще показалось похожим на бодлеровский «Балкон». Я-то понимал, что оно ничего, или почти ничего, собой не представляет, и ужасно разозлился оттого, что папа вздумал его демонстрировать гостю. Некоторое время, пока папа искал стихи, мы с дядей Эдуаром оставались в комнате вдвоем, и я чувствовал, что ужасно покраснел; я не мог

ничего сказать ему, смотрел в сторону, как, впрочем, и он тоже; он стал крутить сигарету, потом, очевидно, для того, чтобы я перестал волноваться, встал и принялся смотреть в окно. Он насвистывал. Неожиданно он сказал мне: «Я смущен еще больше, чем ты». Я, правда, думаю, что это он сказал просто так, из любезности. Наконец папа вернулся, отдал мои стихи дяде Эдуару, и он стал их читать. Я так перенервничал, что, если бы он вдруг похвалил меня, я непременно бы ему надерзил. Папа, естественно, ждал комплиментов в мой адрес, а поскольку дядя молчал, то он спросил: «Ну что? Как они тебе нравятся?» Однако дядя ответил ему смеясь: «Мне не совсем удобно обсуждать их с ним в твоем присутствии». Папа тоже засмеялся и вышел. Как только мы опять остались наедине, дядя сказал мне, что стихи мои ему кажутся очень плохими, причем, знаешь, я выслушал это с удовольствием, и еще больше удовольствие мне доставило, когда он вдруг показал пальцем на две строки, единственные, которые мне нравились во всем стихотворении, посмотрел на меня, улыбнувшись, и сказал: «А вот это хорошо». Правда же здорово? Но еще знал бы ты, каким тоном он все это мне сказал! Я прямо готов был его расцеловать. Потом он сказал мне, что моя ошибка состоит в том, что отправным пунктом мне служит идея и что я не позволяю словам вести себя. Поначалу это даже как-то не совсем до меня дошло, но теперь я, кажется, понял, что он имел в виду, и он прав. Я тебе как-нибудь в другой раз это объясню.

— Теперь понятно, почему ты так стремишься встретить его на вокзале.

— О! Я ведь тебе рассказал далеко не все; и вообще зачем я тебе все это рассказываю? Мы говорили с ним о таком количестве разных вещей.

— В полдвенадцатого, ты сказал? А как ты узнал, что он приезжает именно этим поездом?

— Он сам сообщил маме в открытке, а потом я проверил по расписанию.

— Ты пойдешь с ним обедать?

— О нет; в двенадцать я должен быть уже дома. Времени у меня хватит разве что на то, чтобы пожать ему руку, но я все равно рад... Да, кстати, скажи, пока я не уснул: когда мы теперь с тобой встретимся?

— Через несколько дней, не раньше. Не раньше, чем я разберусь со всеми своими делами.

— Но все же... если я в состоянии хоть как-то тебе помочь...

— Мне помочь? Нет. Это не входит в правила игры. У меня было бы ощущение, что я сплутовал. Спи.

IV

> Отец у меня звезд с неба не хватал, зато мать отличалась умом и исповедовала квиетизм; это была маленькая нежная женщина, которая часто говорила мне: «Сын мой, вы будете обречены на вечные муки». Но произносила она это без малейшей печали.
>
> *Фонтенель*

Нет, вовсе не к любовнице отправлялся каждую ночь Венсан Молинье. Хотя шаг у него быстрый, давайте все-таки пойдем за ним. Начав свой путь на улице Нотр-Дам-де-Шан, где он проживал, Венсан спустился к улице Сен-Пласид, которая является ее продолжением, потом оказался на улице Бак, где еще попадались запоздалые прохожие. Наконец он остановился перед большими воротами на улице Бабилон. Итак, он пришел в дом графа де Пассавана. Не будь Венсан частым гостем в этом роскошном особняке, он входил бы в него менее самоуверенно. Уж лакею-то, который открыл ему дверь, было хорошо известно, сколько застенчивости таилось за его внешней непринужденностью. Венсан, вместо того чтобы отдать свою шляпу ему в руки, нарочито небрежно бросил ее издалека в кресло. А ведь ходить сюда он стал совсем недавно. Робер де Пассаван, называвший себя с некоторого времени его другом, считался другом многих людей. Как они с Венсаном познакомились, мне неизвестно. Очевидно, это произошло еще в лицее, хотя Робер де Пассаван был значительно старше Венсана; на несколько лет они потеряли друг друга из вида, а потом опять встретились, незадолго до описываемых событий, когда Венсан однажды вечером оказался в театре вместе — редчайший случай — со своим братом Оливье; в антракте Пассаван угостил их обоих мороженым; он узнал тогда, что Венсан только что закончил первый цикл своей учебы на факуль-

тете и пребывал в нерешительности, то ли ему продолжать по медицинской части, то ли идти в естественные науки, привлекавшие его гораздо больше; но, учитывая необходимость зарабатывать на жизнь... Короче, Венсан без колебаний принял выгодное предложение Робера де Пассавана, сделанное ему чуть позже и заключавшееся в том, чтобы приходить каждую ночь ухаживать за старым графом, отцом Робера, который никак не мог оправиться после одной весьма тяжелой операции: речь шла о перевязках, об уколах, о деликатных зондированиях и о каких-то других процедурах, требующих опытной руки. Однако, помимо этого, у виконта были еще и другие, более глубокие причины для того, чтобы установить с Венсаном более тесные отношения, а у того были причины, чтобы идти ему навстречу. В том, что касается глубоких причин Робера, то мы попытаемся разобраться в них несколько позднее, а вот относительно Венсана можно сказать следующее: он испытывал крайнюю нужду в деньгах. Если сердце находится у человека там, где оно должно находиться, и если правильное воспитание привило ему с ранних лет чувство ответственности, то он непременно будет испытывать какие-то обязательства по отношению к женщине, родившей от него ребенка и к тому же оставившей ради него своего мужа. До этой истории образ жизни у Венсана был вполне добродетельный. Связь с Лорой казалась ему в зависимости от времени суток то нормальным явлением, то чудовищной ошибкой. Ведь нередко бывает так, что те или иные мелкие факты, сами по себе весьма простые и весьма естественные, «в совокупности» дают картину совершенно чудовищную. Все это он мысленно повторял себе на пути к Пассавану, но легче от этого ему не становилось. Естественно, он вовсе не собирался окончательно связывать с ней свою судьбу, скрепляя либо не скрепляя брачным союзом совместную жизнь: он вынужден был признать, что не испытывает к ней большой любви, но при этом осознавал, что осталась она в Париже практически без средств, что беды на нее обрушились по его вине и что он должен оказать ей хоть какую-нибудь помощь,— помощь, которую в данный момент он был способен ей оказать еще в меньшей степени, чем всего несколько дней назад. Еще на прошлой неделе он располагал пятью тысячами франков, терпеливо и с большим трудом накопленными матерью, стремившейся сделать более легким начало его карьеры; этих пяти тысяч франков, очевидно, хватило бы и на роды, и на

послеродовое содержание в больнице, и на первую помощь ребенку. К чьему дьявольскому совету прислушался он тогда? Мысленно он уже передал было любовнице всю эту сумму, ей посвященную и ей предназначавшуюся, изъять откуда даже самую малость казалось ему абсолютно недопустимым; но какой же все-таки дьявол нашептал ему в один из вечеров, что сумма может оказаться недостаточной? Нет, это был не Робер де Пассаван. Робер никогда ничего подобного не говорил; однако его предложение Венсану отправиться в игорный салон прозвучало именно в тот вечер. И предложение было им принято.

У этого игорного дома была одна коварная особенность: все там происходило в кругу людей из порядочного общества, в кругу друзей. Робер представил своего друга Венсана одним, вторым, третьим. В тот вечер Венсан не мог делать крупные ставки, потому что приглашение Робера застало его врасплох. У него практически не было с собой денег, а от тех нескольких банкнот, которые предложил ему взаймы виконт, он отказался. Однако поскольку он выигрывал, то пожалел, что не может ставить побольше, и обещал вернуться на следующий день.

— Теперь все вас здесь знают, так что мне совсем не обязательно вас сюда сопровождать,— сказал Робер.

Играли в доме Пьера де Брувиля, которого все называли Педро. С этого первого вечера Робер де Пассаван предоставил свою машину в распоряжение своего нового друга. Венсан приезжал часов в одиннадцать вечера, минут пятнадцать разговаривал с Робером, выкуривая во время разговора сигарету, потом поднимался на второй этаж и пребывал там в компании графа более или менее продолжительный отрезок времени в зависимости от настроения последнего, от его терпения и общего состояния, после чего машина везла его к Педро, на улицу Сен-Флорантен, а часом позже эта же машина отвозила его домой, правда не к самому подъезду, а на ближайший от его дома перекресток, так как он опасался привлечь к себе чье-либо внимание.

Позапрошлую ночь, дожидаясь Венсана, Лора Дувье просидела на ступеньках ведущей в квартиру Молинье лестницы до трех часов утра; в три он наконец пришел. Впрочем, в ту ночь он уже не ездил к Педро. Ему больше нечего было там проигрывать. Все, что у него еще оставалось от пяти тысяч франков, он спустил еще два дня назад. Он сообщил об этом Лоре, написав ей письмо, где говорил, что отныне не в состоянии что-либо для нее сде-

лать, советовал ей вернуться к мужу либо к отцу и во всем покаяться. Однако покаяние казалось Лоре уже абсолютно невозможным; она и думать не могла об этом без содрогания. Заклинания любовника вызывали в ней только возмущение, покидавшее ее лишь для того, чтобы смениться отчаянием. В таком состоянии и застал ее Венсан. Она пыталась удержать его, но он вырвался из ее объятий. Естественно, не без внутренних усилий, потому что по натуре он был человеком не черствым, но поскольку в его чувствах преобладало сладострастие, а не любовь, то ему легко удалось убедить себя, что он обязан быть суровым. Он никак не отреагировал на ее мольбы, на ее жалобы, и, как рассказал впоследствии Бернару слышавший их разговор Оливье, она, после того как Венсан закрыл перед нею дверь, потом еще долго-долго сидела на ступеньках в темноте и рыдала.

После той ночи прошло двое суток. Накануне Венсан не ходил к Роберу де Пассавану, отец которого вроде бы пошел на поправку, но на следующий день вечером получил телеграмму с просьбой прийти. Робер хотел его повидать. Когда Венсан вошел в служившую Роберу одновременно рабочим кабинетом и курительной комнату, которую он не поленился обставить и убрать по своему вкусу и где проводил большую часть своего времени, тот небрежно, продолжая сидеть, протянул ему руку через плечо.

Робер что-то писал. Он сидел за заваленным книгами письменным столом. Перед ним простирался залитый лунным светом сад, куда вела широко распахнутая стеклянная дверь. Он заговорил, не поворачивая головы.

— Знаете, что я сейчас пишу? Только никому не говорите... ладно, обещаете мне? Манифест, которым будет открываться первый номер журнала Дюрмера. Естественно, подпись я не ставлю... тем более, что я хвалю в нем самого себя... И кроме того, хотя в конечном счете утаить, что я финансирую издание журнала, наверняка не удастся, я все же предпочитаю, чтобы в течение какого-то времени никто не знал о моем в нем участии в качестве автора. Так что молчок! А кстати, я подумал: вы мне как будто говорили, что ваш младший брат пишет. Как вы сказали его зовут?

— Оливье,— ответил Венсан.

— Оливье, точно, я вспомнил... Только почему вы все стоите? Садитесь вот в это кресло. Вы не замерзли? Может быть, лучше закрыть окно?.. Он, кажется, сочиняет стихи, я не ошибаюсь? Принес бы он мне их почитать.

Естественно, я не обещаю их напечатать... и все же меня бы удивило, если бы они оказались плохими. Ваш брат производит впечатление очень умного человека. Чувствуется к тому же, что он очень начитан. Мне хотелось бы с ним поговорить. Скажите ему, чтобы он зашел ко мне. Договорились? Я рассчитываю на вас. Хотите сигарету? — и он протянул свой серебряный портсигар.

— С удовольствием.

— А теперь послушайте, Венсан, у меня есть к вам весьма серьезный разговор. Тогда вечером вы вели себя как ребенок... впрочем, и я тоже. Я не говорю, что не должен был приводить вас к Педро, но все же я чувствую какую-то ответственность за то, что вы проиграли деньги. Я не могу отделаться от мысли, что проиграли вы их из-за меня. Мне трудно сказать, является ли это угрызениями совести, но у меня из-за этого нарушились и сон, и пищеварение, клянусь вам! К тому же я не перестаю думать о той бедной женщине, о которой вы мне рассказали... Ну да это уже другая область, не будем затрагивать такую тему, это нечто святое. Сейчас же я просто хочу вам сказать, что я желаю, что я стремлюсь, да, именно так, предоставить в ваше распоряжение сумму, соответствующую той, которую вы проиграли. Пять тысяч франков, я не ошибаюсь? Чтобы вы рискнули снова. Ведь эту сумму, я повторяю еще раз, я считаю, что вы ее проиграли по моей вине, что я вам должен эти деньги; и не нужно меня благодарить. Если выиграете, вернете. Если нет, ну что ж! Тогда мы в расчете. Поезжайте сегодня опять к Педро, как будто ничего не произошло. Машина вас отвезет, вернется за мной, и я поеду на ней к леди Гриффит; туда же прошу заехать и вас после игры. Я надеюсь еще там сегодня с вами увидеться, договорились? Машина заедет за вами к Педро.

Он выдвинул ящик письменного стола, извлек оттуда пять банкнот и вручил их Венсану.

— Давайте, быстро...

— Но ваш отец...

— Ах, да, я забыл сказать вам: он скончался вот уже... — Робер достал часы и воскликнул: — Черт побери, уже так поздно! Почти двенадцать часов... Так что поезжайте скорей. Да, приблизительно четыре часа тому назад.

Все это он произнес без малейшей торопливости, скорее, наоборот, с какой-то беспечностью в голосе.

— И вы не остаетесь, чтобы...

— Чтобы просидеть рядом с ним ночь? — прервал его Робер.— Нет, этим займется мой младший брат; он сейчас там, наверху, вместе со своей старой няней, которой удавалось ладить с покойным лучше, чем мне...

Затем, поскольку Венсан все еще сидел не шевелясь, он продолжил:

— Послушайте, дорогой друг, мне не хотелось бы предстать в ваших глазах циником, но я терпеть не могу чувств по заказу. Когда-то я смастерил в своем сердце для отца сыновнюю любовь по мерке, но поскольку сразу же обнаружилось, что она получилась несколько великоватой, то мне пришлось ее габариты поубавить. На протяжении всей моей жизни я получал от старика одни лишь неприятности, мытарства и огорчения. Если у него в сердце и оставалось хоть сколько-нибудь нежности, то могу вас заверить, что доставалась она не мне. На первые мои порывы любви к нему во времена, когда мне еще не приходило в голову сдерживать ее, он реагировал столь грубо, что я вскоре прозрел. Да вы ведь и сами наверняка обратили внимание, когда ухаживали за ним... Хоть раз сказал он вам спасибо? Удостоил он вас хоть малейшего взгляда, хотя бы мимолетной улыбки? Он всегда принимал все хорошее как должное. О! Это был еще тот характерец. Я склонен полагать, что он причинил немало страданий моей матери, притом что он любил ее, если только он вообще был способен кого-либо по-настоящему любить. Мне кажется, что он доставлял страдания буквально всем, кто его окружал: своим близким, своим собакам, своим лошадям, своим любовницам, но только не своим друзьям, потому что у него таковых никогда не было. Так что, узнав о его смерти, все вздохнут с облегчением. Я полагаю, что «в своей партии», как это принято говорить, у него находили массу достоинств, но только вот понять, что это за партия, я так и не смог. Он был очень умен, в этом ему не откажешь. В сущности, я к нему испытывал, да и сейчас продолжаю испытывать нечто вроде восхищения. Но только вот прикладывать к глазам платок... выдавливать из себя рыдания... нет, увольте, из детского возраста я вышел. Поезжайте же! Быстро в путь, а через час встречаемся у Лилиан. Что? Вас смущает, что вы не в смокинге? Не валяйте дурака. Зачем? Мы ведь будем одни. Ладно, обещаю тоже остаться в пиджаке. Договорились. Прикурите перед выходом сигару. Сразу же отправьте машину обратно; потом она за вами заедет.

Он проводил взглядом Венсана, пожал плечами и на-

правился в спальню облачаться в уже приготовленный для него на софе фрак.

Старый граф лежит на смертном одре в одной из комнат второго этажа. Ему на грудь положили распятие, забыв, однако, сложить вместе руки. Очертания его волевого подбородка смягчились благодаря выросшей за последние дни щетине. Прорезающие лоб поперечные морщины под ежиком седых волос кажутся менее глубокими, чем обычно, и как бы сглаженными. Глаза закатились под густо поросшие волосами надбровные дуги. Я потому так внимательно вглядываюсь сейчас в лицо покойника, что мы его больше никогда не увидим. У изголовья кровати стоит кресло, где сидела Серафина, старая няня. Но она только что встала. Она приближается к столу, на котором *стоит старинная масляная лампа, едва-едва освещающая* комнату: нужно выдвинуть побольше фитиль. Абажур отбрасывает свет на книгу, которую читает юный Гонтран...

— Вы устали, господин Гонтран. Вам бы сейчас лучше пойти поспать.

Гонтран поднимает глаза и очень ласково смотрит на Серафину. Он убирает со лба прядь белокурых вьющихся на висках волос. Ему пятнадцать лет, и на его почти женском лице написаны лишь нежность да любовь.

— А как же ты?—спрашивает он.—Это тебе, моя бедная Фина, нужно пойти поспать в первую очередь. Всю прошлую ночь ты почти не присела.

— О! Я-то привыкла сидеть по ночам; кроме того, я выспалась днем, а вот вы...

— Нет, не надо. Я не чувствую усталости, и к тому же мне приятно сидеть здесь, размышлять и читать. Я ведь так мало видел папу; мне даже кажется, что я позабуду его вообще, если как следует не насмотрюсь на него теперь. Я посижу около него, пока не рассветет. С каких пор, Фина, ты служишь в нашем доме?

— Я сюда пришла за год до вашего рождения, а вам скоро исполнится шестнадцать лет.

— Ты хорошо помнишь маму?

— Еще бы мне не помнить вашу маму! Ну и вопрос! Это все равно, как если бы вы стали спрашивать, помню ли я, как меня зовут. Я очень даже хорошо помню вашу маму.

— Я тоже чуть-чуть ее помню, но плохо... мне ведь было всего пять лет, когда она умерла... А скажи... папа часто с ней разговаривал?

— По-разному. Разговорчивым ваш папа никогда не был; особенно не любил он, когда не он, а кто-то другой заговаривал первым. И все-таки раньше он говорил побольше, чем в последнее время. Ну да лучше не ворошить старого, лучше пусть Господь сам рассудит все, что было.

— И ты, милая Фина, действительно веришь, что Господь станет всем этим заниматься?

— Да ведь если не Господь, то кто же?

Гонтран прижался губами к красной руке Серафины.

— Знаешь, что ты должна сейчас сделать? Пойти поспать. Обещаю, что, как только рассветет, я тебя разбужу, а сам пойду спать. Ну прошу тебя.

Как только Серафина ушла и он остался один, Гонтран бросился на колени перед кроватью, вжался лбом в простыни и собрался было заплакать, но у него ничего не получилось — в сердце его царил полный покой. Глаза оставались безнадежно сухими. Тогда он встал. Всмотрелся в неподвижное лицо. Ему хотелось бы в такой торжественный момент ощутить в душе своей нечто возвышенное и необычайное, услышать какую-нибудь весть из другого мира, вознестись мыслью в эфирные сверхчувственные сферы, но она, его мысль, не оторвалась от земли ни на сантиметр. Посмотрев на бескровные руки покойника, он вдруг подумал о том, долго ли еще будут продолжать расти его ногти. Гонтрану становилось не по себе, когда его взгляд натыкался на несомкнутые руки. Ему захотелось сблизить их, соединить, заставить их держать распятие. Идея показалась ему хорошей. Он мысленно представил себе, каково будет удивление Серафины, когда она увидит соединившиеся руки покойника, и заранее порадовался ее удивлению, однако тут же осудил себя за свою радость. Тем не менее он встал и наклонился над кроватью. Сначала взял ту руку покойника, которая лежала от него подальше. Рука была окоченевшей и не поддавалась. Гонтран сделал усилие, чтобы ее согнуть, но вместе с рукой сдвинулось и тело. Он схватился за вторую руку, показавшуюся ему вроде бы немного более гибкой. Гонтрану почти удалось довести руку туда, куда было нужно, и он взял распятие, попытался просунуть и удержать его между большим и остальными пальцами, но от соприкосновения с холодной плотью вдруг лишился сил. Он решил, что сейчас ему станет плохо. Появилось желание позвать Серафину. Он выпустил все: распятие, упавшее на смятую простыню, руку, безжизненно вернувшуюся на прежнее место, и внезапно услышал разорвавшее тишину

грубое восклицание «черт побери», наполнившее душу его ужасом, словно кто-то другой... Он обернулся: нет, он по-прежнему один. Звонкое ругательство, первое в его жизни, вырвалось откуда-то из глубин его самого. Он снова сел и погрузился в чтение.

V

> То были душа и тело, начисто лишенные способности воспламеняться.
>
> *Сент-Бёв*

Лилиан, слегка выпрямившись, дотронулась кончиками пальцев до темно-русых волос Робера.

— Друг мой, вы начинаете лысеть. Примите к сведению: вам ведь едва-едва исполнилось тридцать лет. Лысина вас отнюдь не украсит. Слишком серьезно воспринимаете вы жизнь.

Робер поднял голову и, улыбаясь, посмотрел на нее.

— Только вдали от вас, клянусь вам.

— Вы сказали Молинье, чтобы он приехал к нам?

— Конечно, коль скоро вы меня об этом попросили.

— И... вы одолжили ему денег?

— Я же вам сказал, пять тысяч, которые он опять проиграет у Педро.

— Почему вам так хочется, чтобы он их проиграл?

— Это заранее известно. Я видел, как он играл в первый вечер. Он делает все наоборот.

— У него было время подучиться... Давайте поспорим, что сегодня он выиграет.

— Ну если вы хотите.

— О! Только прошу, чтобы с вашей стороны это не было чем-то вроде уступки моему капризу. Я люблю, когда то, что делается, делается не вопреки желанию.

— Не сердитесь. Договорились. Если он выиграет, то отдает взятые у меня деньги вам. А если проиграет, то вы мне возвратите его долг. Идет?

Она нажала кнопку звонка:

— Принесите нам токайского и три бокала.— Ну а если он вернется только с пятью тысячами франков, то мы ему их оставим, да? Если он не проиграет и не выиграет...

— Такого не бывает. Просто удивительно, как вы им вдруг заинтересовались.

— Удивительно скорее то, что вы не находите в нем ничего интересного.

— Он кажется вам интересным, потому что вы в него влюбились.

— Что верно, то верно, дорогой мой. Вам-то я могу признаться. И все же интересует он меня совсем не поэтому. Напротив: обычно когда я испытываю к кому-то головной интерес, то это меня расхолаживает.

Вновь появившийся слуга принес вино и бокалы.

— Сначала выпьем за пари, а потом продолжим вместе с победителем.

Слуга налил вина, и они чокнулись.

— Мне-то он, ваш Венсан, кажется скучным,— сказал Робер.

— О! Мой Венсан!.. Как будто не вы его ко мне привели! К тому же я бы вам посоветовала не повторять повсюду, что он кажется вам скучным. А то все быстро поймут, почему вы с ним дружите.

Робер, слегка повернувшись, коснулся губами обнаженной ноги Лилиан, которую она тут же подтянула под себя и закрыла веером.

— Мне следует покраснеть?

— Ну, со мной не стоит и пытаться. У вас бы не получилось.

Она выпила свое вино и продолжила:

— Знаете, что я вам скажу, мой дорогой. У вас есть все качества писателя: вы тщеславны, лицемерны, честолюбивы, непостоянны, эгоистичны...

— Я польщен.

— Да, все это прекрасно. И все же вы никогда не станете хорошим романистом.

— Почему бы это?

— Потому что вы не умеете слушать.

— Мне кажется, я вас слушаю весьма внимательно.

— Да? А вот он, хотя и не писатель, слушает меня куда внимательнее. Причем когда мы вдвоем, то слушаю скорее я.

— Да он же почти совсем не умеет говорить.

— Это потому, что вы без умолку говорите. Я ведь знаю вас: вы слова не даете ему сказать.

— Я заранее знаю все, что он способен сказать.

— Вы так думаете? Вы хорошо знаете его историю с этой женщиной?

— О! Сердечные дела, не знаю на свете ничего более скучного.

— А мне нравятся и его рассказы про биологию.

— Биология — это, пожалуй, еще скучнее, чем сердечные дела. Выходит, он прочитал вам лекцию?

— Если бы я могла пересказать вам все, что он говорил мне... Это безумно интересно, мой дорогой. Он рассказал массу разных вещей о морских животных. Меня всегда интересовали все обитатели морей. А вам известно, что в Америке строят теперь такие корабли с окнами по бокам, чтобы наблюдать все вокруг в глубине океана. Это, должно быть, просто восхитительно. Можно увидеть живые кораллы или... или... как это называется? — мадрепоры, губки, водоросли, стаи рыб. Венсан говорит, что есть такие породы рыб, которые погибают, когда вода становится более соленой или менее соленой, а есть и такие, которые, наоборот, приспосабливаются к любому уровню солености и даже стараются держаться на границе течений, там, где вода становится менее соленой, чтобы поедать тех, которые в такой воде ослабевают. Вам непременно нужно попросить его, чтобы он вам рассказал... Уверяю вас, это весьма интересно. Когда он об этом говорит, то становится каким-то необыкновенным. Вы бы не узнали его... Только вот вы не умеете его разговорить... И точно так же он рассказывает про свой роман с Лорой Дувье... Да, я вспомнила имя этой женщины... Вы знаете, как они познакомились?

— Он вам и это рассказал?

— Мне рассказывают все. И вам, жуткий человек, это известно! — Она пощекотала ему лицо перьями своего сложенного веера.— А знаете ли вы, что после того вечера, когда вы его сюда привели, он навещал меня каждый день?

— Каждый день! Вот уж действительно никогда бы не подумал.

— Уже на четвертый день не мог сдержаться и все рассказал. А потом каждый день добавлял какие-нибудь подробности.

— И вам это не надоедало! Вы неподражаемы.

— Я же тебе сказала, что люблю его.— И она патетичным жестом схватила его за руку.

— А он... он любит эту женщину?

Лилиан рассмеялась:

— Он любил ее. О! Сначала я вынуждена была притвориться, что принимаю близко к сердцу ее судьбу. Мне пришлось даже поплакать с ним за компанию. При том, что я страшно ревновала. Теперь прошло. Так слушай же, как все это началось: они оказались вместе в По, в санато-

рии, куда того и другого отправили врачи, предположив у них обоих туберкулез. В сущности, по-настоящему ни он, ни она больны не были. Однако оба считали себя очень больными. Раньше они не были знакомы. И впервые увидели друг друга в саду, на террасе, где оказались рядом в шезлонгах, посреди прочих больных, целыми днями принимавших воздушные ванны. Поскольку они считали себя обреченными, то решили, что, что бы они ни делали, не имеет уже никакого значения. Он ежеминутно повторял ей, что им обоим осталось жить не больше месяца, а происходило это все весной. Она там была одна-одинешенька. У мужа ее скромная должность учителя французского языка в Англии. Она рассталась с ним и отправилась лечиться в По. Они были женаты всего три месяца. Ему пришлось отдать буквально последнее, чтобы отправить ее туда. И писал он ей каждый день. Это молодая женщина из весьма приличной семьи, очень воспитанная, очень сдержанная, очень застенчивая. Но вот там... Не знаю уж, что такое Венсан сумел ей сказать, но на третий день она призналась ему, что когда спала со своим мужем и принадлежала ему, то настоящего наслаждения не получала.

— Ну а он, что он сказал?

— Он взял ее руку, свисавшую с шезлонга, и запечатлел на ней долгий поцелуй.

— А вы, что вы сказали, когда он все это рассказал вам?

— Я! Просто невероятно... представьте себе, меня разобрал безумный смех. Я не могла сдержаться, а потом никак не могла остановиться... Причем смеялась я не столько над тем, что он говорил, сколько над тем, что ради того, чтобы он продолжал свой рассказ, мне приходилось делать участливую и удрученную мину. Я боялась показать, что его рассказ меня очень развеселил. А ведь, по существу, история действительно очень красивая и очень грустная. Как он волновался, когда рассказывал ее мне! До этого он не говорил о ней никому и никогда. Его родители, разумеется, ничего не знают.

— Это вам бы нужно было романы писать.

— Не говорите, дорогой мой, знать бы вот только, на каком языке!.. Я так никогда и не смогу сделать выбор между русским, английским и французским. Так что на следующую ночь он явился в комнату своей новой подруги и приобщил ее ко всей той науке, которой не сумел ее научить муж, и, как мне кажется, справился с задачей отлич-

но. Да вот только поскольку они были убеждены, что жить им осталось совсем недолго, то они, естественно, не принимали никаких мер предосторожности и, естественно, благодаря своей любви вскоре оба стали поправляться. Когда она поняла, что забеременела, оба были в отчаянии. Это случилось в прошлом месяце. А уже начиналась жара. Летом в По жить невозможно. И они вернулись вместе в Париж. Муж пребывает в уверенности, что она находится у своих родителей, которые содержат пансионат около Люксембургского дворца, но она явиться к ним не посмела. Родители думают, что она все еще в По, но скоро все откроется. Венсан поначалу клялся, что не покинет ее, предлагал ей отправиться вместе куда угодно, хоть в Америку, хоть в Океанию. Но им нужны были деньги. И именно в этот момент он встретил вас и начал играть.

— А мне он ничего этого не рассказывал.

— Только, умоляю, не говорите ему, что я вам все передала!..— Она замолчала, прислушалась.

— Я подумала, что это он... Он сказал мне, что, когда они ехали из По в Париж, ему казалось, что она сходит с ума. Лора тогда только-только осознала, что забеременела. Она сидела напротив него в купе вагона; кроме них, никого не было. С самого утра она не сказала ему ни единого слова; всеми хлопотами по отъезду пришлось заниматься ему, а она только безропотно подчинялась; казалось, она перестала что-либо понимать. Он взял ее руки в свои, но она пристально бессмысленным взглядом смотрела перед собой, словно не видя его, и шевелила губами. Он наклонился к ней. Она говорила: «Любовник! Любовник. У меня есть любовник». Она повторяла это, не меняя гональности, повторяла все время одно и то же слово, как будто все остальные слова она позабыла... Уверяю вас, дорогой мой, когда он мне это рассказал, у меня не было ни малейшего желания смеяться. Никогда в жизни я не слышала ничего более патетического. Но тем не менее, по мере того как он говорил, у меня появлялось ощущение, что он отстраняется от всего этого. Его чувство как бы уходило вместе со словами. Он испытывал ко мне нечто вроде благодарности за то, что я, волнуясь, брала на себя часть его волнения.

— Не знаю, как бы вы выразили это по-русски или по-английски, но могу вас уверить, что по-французски получилось великолепно.

— Спасибо. Я это знала. И вот после такой истории он стал рассказывать мне про зоологию, ну а я попыталась убедить его, что пожертвовать своей карьерой ради любви было бы просто абсурдно.

— Другими словами, вы посоветовали ему пожертвовать любовью. И предлагаете себя в качестве замены той любви?

Лилиан не ответила.

— А вот теперь мне кажется, это он,— продолжал Робер, вставая...— Быстро, пока он не вошел, буквально одно слово. Сегодня умер мой отец.

— А!— сказала она просто.

— Интересно, как бы вы отнеслись к предложению стать графиней де Пассаван?

Лилиан моментально откинулась назад и залилась смехом.

— Но, дорогой мой... если память мне не изменяет, то у меня уже есть один муж, позабытый мною в Англии. Как! Неужели я вам не говорила?

— Вполне возможно, что нет.

— Но ведь не химера же лорд Гриффит.

Граф де Пассаван, никогда не веривший в подлинность титула своей подруги, улыбнулся. А та продолжала:

— Скажите-ка мне одну вещь. Вам пришла в голову идея предложить мне это, чтобы я служила прикрытием? Нет, дорогой мой, нет. Оставим все, как есть. Будем друзьями, да?— и она протянула ему руку, которую тот поцеловал.

— Черт побери, я так и знал!— вскричал появившийся в дверях Венсан.— Вероломный, он надел фрак.

— Да, я пообещал ему прийти в обыкновенном костюме, чтобы он не стыдился своего пиджака,— сказал Робер.— Прошу прощения, дорогой друг, но я неожиданно вспомнил, что у меня траур.

Венсан гордо вскинул голову; все в нем выражало триумф, радость. При его появлении Лилиан встрепенулась. Посмотрев на него быстрым внимательным взглядом, она весело набросилась на Робера, стала тыкать его кулаком в спину, приплясывать и выкрикивать (когда Лилиан вот так ребячится, она меня несколько раздражает):

— Он проиграл пари! Он проиграл пари!

— Что за пари?— спросил Венсан.

— Он спорил, что вы опять проиграете. Прекрасно! Говорите же быстро: сколько выиграли?

— Мне стоило нечеловеческих усилий и всей моей выдержки, чтобы остановиться на пятидесяти тысячах и прекратить игру.

Лилиан восторженно завопила.

— Браво! Браво! Браво! — кричала она. Потом она бросилась на шею Венсану, который ощутил всем своим телом ее горячее гибкое тело с непривычным ароматом сандала, и расцеловала его в лоб, в щеки, в губы. Венсан, пошатываясь, высвободился из ее объятий. Он вытащил из кармана пачку банковских билетов.

— Держите, вот ваши деньги,— сказал он, протягивая Роберу пять кредиток.

— Теперь вы должны их леди Лилиан.

Робер передал ей бумажки, а та бросила их на диван. Лилиан вся запыхалась. Чтобы отдышаться, она вышла на террасу. Было то неопределенное время суток, когда ночь заканчивается, а дьявол подсчитывает свои барыши. Снаружи не доносилось ни малейшего шороха. Венсан сел на диван. Лилиан повернулась и впервые обратилась к нему на «ты»:

— Ну и что ты теперь собираешься делать?

Он обхватил голову руками и «тяжело вздохнул».

— Даже и не знаю.

Лилиан подошла к нему и приложила руку к его лбу; он опять поднял голову: глаза его были сухие и пылающие.

— Что ж, пока давайте чокнемся втроем,— произнесла она и наполнила токайским три бокала.

Когда все выпили, она сказала:

— Теперь оставьте меня. Уже поздно, я очень устала.— Она проводила их до передней, где, пропустив Робера вперед, сунула Венсану в руку небольшой металлический предмет и шепнула:

— Выйди с ним, а через четверть часа возвращайся.

В передней она тряхнула за плечо клевавшего носом лакея.

— Посветите господам и проводите их вниз.

Лестница была темная, и было бы, конечно, проще зажечь электричество, но Лилиан всегда старалась сделать так, чтобы кто-нибудь из слуг видел, как выходят ее гости.

Лакей зажег свечи в большом канделябре и, высоко держа его над головой, стал спускаться по лестнице впере-

ди Робера и Венсана. Автомобиль Робера стоял у самого подъезда; лакей закрыл за ними дверь.

— Думаю, что мне лучше вернуться домой пешком. Мне нужно пройтись, чтобы немного успокоиться,— сказал Венсан, когда Робер открыл дверцу и знаком пригласил его сесть.

— Вы действительно не хотите, чтобы я отвез вас?— Робер резко схватил сжатую в кулак левую руку Венсана.— Разожмите-ка кулак! Ну же, смелее, покажите, что у вас там.

Венсан простодушно опасался ревности Робера. Он покраснел, и пальцы его разжались. На тротуар выпал маленький ключ. Робер немедленно поднял ключ, взглянул на него и со смехом вернул Венсану.

— Ну и дела!— сказал он, пожав плечами. Потом сел в автомобиль и, отклонившись назад, к сконфуженному Венсану, добавил:

— Сегодня четверг. Скажите своему брату, что я жду его после четырех.— Он быстро закрыл дверцу, не дав Венсану времени ответить.

Машина тронулась. Венсан прошелся немного по набережной, перебрался на другой берег Сены, дошел до неогражденной части Тюильри; там он приблизился к небольшому бассейну, смочил в воде носовой платок, приложил его ко лбу, к вискам. Затем медленным шагом вернулся к дому Лилиан. Расстанемся же с ним в тот момент, когда он под плутовским взглядом дьявола бесшумно всовывает в замочную скважину свой ключик...

В это же самое время Лора, его вчерашняя любовница, вдоволь наплакавшись и настонавшись в неуютном гостиничном номере, наконец начинала забываться сном. А Эдуар, стоя на палубе везущего его во Францию корабля, перечитывал при свете занимающейся зари полученное от нее письмо, жалобное письмо, где она звала его на помощь. Уже проступали мало-помалу сквозь туман мягкие очертания родных берегов, но различить их пока что мог лишь очень искушенный глаз. На небе, где вот-вот должен был зажечься ласковый взгляд Бога, не было видно ни единого облачка. Уже приоткрывалось веко порозовевшего горизонта. Что за знойный день ожидался в Париже! А нам пора вернуться к Бернару. Он как раз только что проснулся в кровати Оливье.

VI

We are all bastards,
And that most venerable man which I
Did call my father, was I know not
where When I was stamp'd [1].
Shakespeare

Бернару приснился какой-то несуразный сон. Ничего из этого сна в памяти не осталось. Впрочем, он и не пытался припоминать свой сон, напротив, стремился от него освободиться. Он вернулся в реальный мир и сразу ощутил тяжело давившее на него тело Оливье. Во время их сна, по крайней мере во время сна Бернара, его друг придвинулся к нему; на такой узкой кровати дистанция в любом случае могла быть лишь минимальной; Оливье повернулся на бок, и его горячее дыхание щекотало Бернару шею. На Бернаре была только короткая дневная рубашка, и тело его оказалось нескромно перехваченным вытянутой рукой Оливье. Бернар даже было засомневался, действительно ли его друг спит. Он осторожно высвободился из его объятий. Постаравшись не разбудить Оливье, встал, оделся и опять лег в постель. Четыре часа. Уходить было еще рано. Только-только начало светать. Нужен был еще час отдыха, чтобы набраться сил и отважно начать день. Но сна уже как не бывало. Бернар принялся разглядывать голубоватые оконные стекла, серые стены крошечной комнаты, железную кровать, на которой дергался во сне Жорж.

— Еще мгновение,— говорил он себе,— и я отправлюсь навстречу своей судьбе. Что за прекрасное слово: приключение! Ключ к будущему. Ко всему тому удивительному, что меня еще ожидает. Не знаю, как другие, а что касается меня, то стоит мне проснуться, как у меня сразу появляется искушение презирать тех, кто еще спит. Оливье, друг мой, я уйду, не попрощавшись с тобой. Вперед! Вставай, доблестный Бернар! Пора.

Он протер лицо краем смоченного полотенца, причесался, обулся. Открыл бесшумно дверь. В путь!

О! Каким благотворным кажется всем живущим на земле воздух, которым никто еще не дышал! Бернар двинулся вдоль ограды Люксембургского сада, спустился по улице Бонапарта, которая привела его к набережной,

[1] Да, мы все ублюдки!
И тот почтенный человек, кого
Отцом я звал, был неизвестно где,
В то время как какой-нибудь молодчина
Меня своим чеканил инструментом...
Шекспир. «Цимбелин» (*Пер. П Мелковой*)

перешел на другой берег Сены. Он вспомнил о своем новом, недавно сформулированном им жизненном правиле: «Если не сделаешь этого ты, то кто же сделает? Если не сделаешь этого немедленно, то когда же?» Он размышлял: «Великие дела, ждущие свершения», и ему казалось, что он сейчас приближается к ним. «Великие дела»,— повторял он на ходу. Если бы он знал, что это такое!.. Пока же он знал лишь то, что ему хочется есть; и вот он подошел к рынку. В кармане у него было всего-навсего четырнадцать су. Он зашел в бар, взял сдобную булочку и кофе с молоком. Заплатил десять су. Осталось четыре су; два из них он лихо оставил на стойке, а два других протянул какому-то нищему, рывшемуся в мусорном ящике. Милосердие? Вызов? Какое это имеет значение? Он вдруг почувствовал себя счастливым, как король. У него не оставалось больше ничего — значит, все принадлежало ему. «Я ожидаю всего от Провидения,— подумал он.— Вот если сегодня часов в двенадцать оно преподнесет мне что-нибудь вроде аппетитного кровавого ростбифа (ведь накануне вечером он не ужинал), то я поверю в него». Между тем солнце уже давно взошло. Бернар опять вышел на набережную. Во всем теле чувствовалась легкость; пустись он бежать, ему бы показалось, что он летит. А в голове его сладострастно резвились всякие мысли. Вот что он думал:

«В жизни самое трудное — это подолгу принимать всерьез одну и ту же вещь. Взять, например, любовь моей матери к человеку, которого я называл отцом,— я верил в эту любовь целых пятнадцать лет, верил в нее еще вчера. Да ведь и она тоже, увы! не очень-то долго принимала всерьез свою любовь. Интересно было бы разобраться, презираю я ее за то, что она сделала своего сына бастардом, или, наоборот, уважаю еще больше?.. Хотя, по сути дела, не так уж это мне и интересно. Чувства к родителям принадлежат к разряду таких вещей, которым яркий свет противопоказан. Что касается рогоносца, то здесь все просто: сколько себя помню, я всегда ненавидел его; сегодня я вынужден признаться, что в этом почти не было моей заслуги,— единственное, о чем не могу не сожалеть. Подумать только: не взломай я выдвижного ящика, и всю жизнь считал бы, будто я несправедливо жесток к родному отцу! Как же все-таки хорошо, что я узнал!.. Однако ящик я, собственно, и не взламывал; я даже открывать его и то не собирался... К тому же у меня есть смягчающие вину обстоятельства: во-первых, я вчера ужасно скучал. А во-

вторых — любопытство, то самое «роковое любопытство», о котором говорил Фенелон и которое я наверняка унаследовал от своего настоящего отца, поскольку в роду Профитандье этой черты нет и в помине. Менее любознательных людей, чем господин муж моей матери, я никогда не встречал; правда, если не считать рожденных ею от него же детей. О них стоит еще поразмышлять; надо только сначала поесть... Приподнять мраморную доску туалетного столика и обнаружить, что над ящиком разошлись деревянные пластинки, — это отнюдь не то же самое, что взломать замок. Я вовсе не взломщик. Приподнять доску туалетного столика — такое может случиться с каждым. Тесею, наверное, было столько же лет, сколько мне сейчас, когда он приподнимал свою скалу. Раньше мешали стоявшие на столе часы. Мне бы и в голову не пришло поднимать ту мраморную доску, если бы не захотелось отремонтировать часы... Вот только обнаружить там какой-нибудь пистолет или же письма, свидетельствующие об адюльтере, — такое случается далеко не с каждым. Ба! Важно было, чтобы я об этом узнал. Не всякий может позволить себе роскошь, подобно Гамлету, иметь обличающего призрака. Гамлет! Забавно, как все-таки зависит точка зрения от того, появился ли ты на свет в результате преступной любви или же являешься плодом законного брака. Когда я поем, то обязательно вернусь к этой проблеме... Дурно я поступил, прочитав эти письма, или нет? Если дурно... нет, тогда бы я мучился угрызениями совести. Если бы я не прочел этих писем, то так бы и продолжал жить в неведении, лжи и послушании. Глотнем же чистого воздуха. Выйдем в открытое море! «Бернар! Бернар, эта зеленая юность...» — как сказал бы Боссюэ; усади-ка ее, Бернар, вот на эту скамейку. Что за прелестное утро! Есть такие дни, когда смотришь и кажется, что солнце действительно ласкает землю. Если бы я мог слегка отвлечься от своих мыслей, то стал бы сочинять стихи».

Он прилег на скамейку и настолько успешно отвлекся от своих мыслей, что уснул.

VII

Солнце поднялось уже высоко и, проникнув через раскрытое окно, стало ласкать голую ногу Венсана, лежавшего на широкой кровати рядом с Лилиан. Не зная еще,

что он проснулся, та приподнялась, посмотрела на него и удивилась его озабоченному виду.

Быть может, леди Гриффит и любила Венсана, но любила она в нем успех. Венсан был высок, красив, строен, но не умел ни правильно держаться, ни встать, ни сесть. Лицо его было выразительно, но он не умел как следует причесываться. Больше всего она восхищалась его смелым и сильным умом; он был, несомненно, весьма образован, но казался ей неотесанным. В своем стремлении опекать и воспитывать этого большого ребенка она подчинялась инстинкту любовницы и матери. Она ваяла его, как статую, считала его своим творением. Учила его ухаживать за ногтями, посоветовала не отбрасывать волосы назад, как раньше, а делать сбоку пробор, отчего наполовину прикрытый лоб казался бледнее и выше. Наконец, вместо прежних непритязательных готовых узелков она подобрала ему красивые галстуки в тон костюму. Да, леди Гриффит, конечно же, любила Венсана, но терпеть не могла, когда он был молчаливым или, как она выражалась, «угрюмым».

Словно желая разгладить морщину, двойную вертикальную складку, начинающуюся у бровей, она нежно провела пальцем по лбу Венсана.

— Если, приходя ко мне, ты не желаешь расставаться со своими сожалениями, заботами и угрызениями совести, то лучше вообще не приходи,— прошептала она, наклоняясь к нему.

Венсан закрыл глаза, как от слишком яркого света. Ликующий взгляд Лилиан его ослеплял.

— Сюда нужно входить, как входят в мечети, снимая у порога обувь, чтобы не занести грязь с улицы. Думаешь, я не знаю, чем ты сейчас озабочен!—сказала она, капризно отбиваясь от руки Венсана, которую тот попытался приложить к ее губам.— Нет, я хочу сказать тебе серьезно. Я много размышляла над тем, что ты мне тогда рассказал. Обычно считают, будто женщины не способны размышлять, но ты сейчас увидишь, все зависит от того, какие это женщины... Помнишь, ты мне рассказывал о результатах скрещивания... о том, что ничего сколько-нибудь стоящего через смешение пород добиться нельзя, что надо скорее использовать селекцию... А! Хорошо усвоила я твой урок?.. Ну так вот: мне кажется, сейчас ты вскармливаешь некое чудовище, помесь святого духа и вакханки, весьма нелепое создание, которое добровольно от тебя уже не отвяжется. Я права?.. Ты коришь себя за то,

что бросил Лору: это написано на складке твоего лба. Если хочешь вернуться к ней, скажи мне это сразу и давай расстанемся; значит, я ошиблась в тебе и жалеть о твоем уходе не буду. Но если уж ты решаешь остаться со мной, то перестань делать такую траурную мину. Ты напоминаешь мне некоторых англичан: чем свободнее становится их мысль, тем сильнее они цепляются за мораль; до такой степени, что нет на свете больших пуритан, чем некоторые из их вольнодумцев... Ты что, считаешь меня совершенно бессердечной? И ошибаешься: твоя жалость к Лоре мне очень хорошо понятна. Но зачем тогда ты пришел сюда?

Венсан отвернулся, а она добавила:

— Послушай, иди в ванную и постарайся избавиться под душем от всех своих сожалений. Я заказываю чай, да? А когда ты выйдешь, я объясню тебе кое-какие вещи, которые ты, похоже, недопонимаешь.

Он встал с постели. Она вскочила вслед за ним и крикнула:

— Сразу после ванны не одевайся. В шкафу справа от нагревателя лежат бурнусы, халаты, пижамы... в общем, выбери сам.

Минут через двадцать Венсан вошел, облаченный в шелковую джеллабу фисташкового цвета.

— О! Подожди! — восторженно закричала Лилиан.— Подожди, я сейчас сделаю все как положено.— Из сундука в восточном стиле она вытащила два широких фиолетовых шарфа и более темным из них подпоясала его, а из другого сделала у него на голове тюрбан.

— У меня мысли всегда такого же цвета, как мое платье (она надела пурпурную с серебряной вышивкой пижаму). Я помню, как-то раз в Сан-Франциско, когда я была совсем маленькая, меня вздумали одеть в черное по случаю смерти одной из сестер моей матери, старой тетки, которой я никогда не видела. И я проплакала весь день; я была такая печальная; я вообразила, что у меня большое горе, что мне страшно жалко тетушку... и все это только потому, что на мне было черное платье. Современные мужчины серьезнее женщин из-за того, что у них более темная одежда. Я готова поспорить, что сейчас у тебя в голове уже совсем другие мысли. Садись вот сюда, на край кровати, и, когда ты выпьешь рюмку водки, чашку чаю и съешь два-три бутерброда, я поведаю тебе одну историю. Ты скажешь мне, когда можно будет начать...

Сама она расположилась на маленьком коврике у кровати, между ног Венсана, сжавшись в комок наподобие какой-нибудь египетской стелы и касаясь подбородком собственных коленей. Она перекусила, выпила чаю, а потом начала:

— Да будет тебе известно, в тот день, когда потерпела кораблекрушение «Бургундия», я находилась в числе ее пассажиров. Мне было семнадцать лет. Нетрудно сосчитать, сколько мне сейчас. Плавала я великолепно; и вот, дабы доказать тебе, что сердце у меня не слишком черствое, скажу тебе, что после первой мысли — спастись прежде всего самой — у меня появилась вторая мысль — спасти кого-нибудь еще. Я даже не совсем уверена, не возникла ли эта мысль раньше. Точнее, мне даже кажется, что я вообще ни о чем не думала; но что вызывает у меня самое большое отвращение, так это люди, которые в подобные минуты заботятся только о себе: те же самые орущие женщины. Первую спасательную шлюпку заполнили главным образом женщинами и детьми, причем некоторые из женщин так отчаянно вопили, что можно было просто сойти с ума. Маневр оказался проделан настолько плохо, что шлюпка вместо того, чтобы ровно опуститься на море, клюнула носом и освободилась от всего своего содержимого еще раньше, чем наполнилась водой. Все это происходило при свете факелов, фонарей и прожекторов. Ты не можешь себе даже представить, насколько это выглядело зловеще. Волна была довольно сильная, и все, что находилось вне освещенного пространства, пропадало в ночи по другую сторону водяного холма. Никогда, ни до, ни после, я не жила столь интенсивной жизнью, но вот размышлять-то, мне кажется, я способна была не в большей степени, чем бросающийся в воду ньюфаундленд. Сейчас даже уже не могу сказать, как все происходило, знаю только, что заметила я в шлюпке девочку лет пяти или шести, этакого ангелочка, а когда увидела, что шлюпка опрокинулась, решила, что спасать буду ее. Сначала она была рядом с матерью, но та плавала плохо, а кроме того, ей, как всегда в таких случаях, мешала юбка. Что касается меня, то я, вероятно, разделась машинально: меня пригласили занять место в следующей шлюпке. Я, скорее всего, села в нее, а потом с нее же и прыгнула в море; помню только, что довольно долго плыла с ребенком, уцепившимся мне за шею. Девочка страшно перепугалась и так сильно жала мне на горло, что я уже не могла дышать. К счастью, нас видели со шлюпки и подождали,

а может быть, и подплыли к нам. Только историю эту я рассказываю тебе совсем в другой связи. Ради одного воспоминания, которое запечатлелось наиболее ярко, которое ничто и никогда не изгладит из моего мозга и моего сердца: в ту шлюпку, после того как мы подобрали еще нескольких отчаявшихся пловцов, подобно тому как перед этим подобрали нас, набилось человек сорок. Вода едва не переливалась через борт. Я сидела на корме и прижимала к себе только что спасенную мною девочку, чтобы согреть ее и чтобы помешать ей увидеть то, чего не могла не видеть я сама: двух моряков, один из которых был вооружен топором, а другой кухонным ножом; и знаешь, чем они занимались?.. Отрубали пальцы и кисти рук тем пловцам, которые, цепляясь за снасти, пытались взобраться в нашу шлюпку. Я стучала зубами от холода, от ужаса, от отвращения, а один из этих моряков (другой был негр) обернулся ко мне и сказал: «Если залезет еще хотя бы один, мы все пропали. Шлюпка переполнена». Он добавил, что при кораблекрушениях всегда приходится поступать таким образом, но что об этом, естественно, не говорят.

И тогда я, похоже, потеряла сознание; во всяком случае, в памяти не осталось больше ничего; со мной получилось, как с теми людьми, которые надолго глохнут после сильного шума. А когда на борту подобравшего нас парохода я пришла в себя, то поняла, что я уже не та, что я уже никогда не смогу быть той сентиментальной девушкой, какой была прежде, поняла, что какая-то часть меня утонула вместе с «Бургундией», что отныне я буду обрубать пальцы и руки у многих нежных чувств, чтобы не позволить им забраться в мое сердце и увлечь его на дно.

Она взглянула на Венсана краем глаза, выпрямилась и сказала:

— Это своего рода привычка, и она вырабатывается.

Потом, поскольку ее наспех заколотые волосы рассыпались и упали на плечи, она подошла к зеркалу и, продолжая говорить, занялась прической.

— Когда вскоре после того случая я покинула Америку, мне казалось, что я стала золотым руном и отправилась на поиски своего завоевателя. Иногда мне случалось заблуждаться, иногда я совершала ошибки... возможно, и сегодня тоже я совершаю одну из таких ошибок, рассказывая тебе все это. Но только не воображай, пожалуйста, что раз я отдалась тебе, то значит, ты меня уже и завоевал. Запомни вот что: я ненавижу посредственностей и мо-

гу любить только победителя. Если я нужна тебе, то пусть это будет для того, чтобы помогать тебе побеждать. А если это для того, чтобы тебя жалеть, утешать, холить... то тогда я скажу тебе сразу: нет, дружище Венсан, не я тебе нужна, тебе нужна Лора.

Она изложила все это, не оборачиваясь и продолжая заниматься своими непокорными волосами, но Венсан встретил ее взгляд в зеркале.

— Ты позволишь мне повременить с ответом до вечера,— сказал он, вставая и снимая восточные одеяния, чтобы вновь надеть свой собственный костюм.— Я должен сейчас поскорее вернуться домой и поговорить об одном срочном деле с моим братом Оливье, прежде чем он успеет уйти.

Венсан произнес это, как бы прося у нее извинения, а также стремясь, чтобы прощание не выглядело слишком сухим; однако когда он подошел к Лилиан и та обернулась, улыбающаяся и невероятно прекрасная, то он заколебался:

— Я должен хотя бы оставить для него записку, чтобы он прочитал ее, когда придет на обед.

— Вы часто беседуете друг с другом?

— Практически никогда. Нет, это просто по поводу одного приглашения на вечер, которое меня попросили ему передать.

— От Робера... Oh! I see...— сказала она, как-то странно улыбаясь.— О нем нам тоже нужно поговорить... Ладно, тогда иди скорее. Но к шести возвращайся, потому что в семь часов за нами заедет его автомобиль и мы отправимся ужинать в Булонский лес.

Венсан шел домой и размышлял; он думал о том, что удовлетворение желаний способно породить нечто вроде отчаяния, возникающего одновременно с радостью и как бы скрывающегося в ее тени.

VIII

Нужно выбирать: либо любить женщин, либо знать их; среднего не дано.

Шамфор

В парижском экспрессе Эдуар читал недавно вышедшую и только что купленную им на дьеппском вокзале книгу Пассавана «Турник». Само собой, в Париже эта книга его уже ждала, но Эдуару не терпелось ознакомить-

ся с ней немедленно. О ней говорили повсюду. Его собственные книги никогда не удостаивались чести продаваться в привокзальных книжных киосках. Ему, конечно, объясняли, что нужно сделать, чтобы добиться таких же результатов, но он к этому не стремился. Он повторял себе, что ему мало дела до того, стоят ли его книги в привокзальных киосках или нет, но, обнаруживая там книги Пассавана, он всякий раз испытывал потребность повторить себе это снова. Ему действовало на нервы все, что делал сам Пассаван, и все, что делалось вокруг Пассавана, взять хотя бы те же самые статьи, где превозносилась до небес его книга. Действительно, три газеты, которые он купил, едва сойдя с парохода, словно сговорившись, напечатали хвалебные статьи о «Турнике». А в четвертой фигурировало письмо Пассавана, протестующего против несколько менее хвалебной статьи, появившейся раньше в этой же газете: Пассаван в нем защищал и комментировал свою книгу. Письмо вызвало у Эдуара еще большее раздражение, чем статьи. Заявляя, что хочет объяснить свое произведение, Пассаван на самом деле ловко манипулировал общественным мнением. Еще никогда ни одна книга Эдуара не становилась поводом для такого обилия статей; да он ведь и не предпринимал никогда никаких мер для того, чтобы снискать благоволение критиков. И их холодный прием его не волновал. Но вот когда он читал статьи, посвященные книгам своего соперника, то у него снова появлялась потребность повторить себе, что его это не волнует.

При этом нельзя было бы сказать, что он Пассавана ненавидит. Время от времени он встречал его и находил его обаятельным. Кстати, Пассаван с ним был всегда сама любезность. А книги Пассавана ему не нравились; тот казался ему не столько художником, сколько ремесленником. Впрочем, хватит о Пассаване...

Эдуар достал из кармана пиджака письмо Лоры, то самое, которое он читал на палубе, и принялся читать его снова:

«Дорогой друг,

Когда мы виделись с Вами в последний раз — это было, если помните, в Сент-Джеймском парке, второго апреля, перед самым моим отъездом на юг,— Вы взяли с меня слово написать Вам, если я вдруг окажусь в затруднительном положении. И вот я держу свое слово. К кому,

кроме Вас, могла бы я еще обратиться? Дело обстоит так, что я вынуждена скрывать свою боль от людей, на чью помощь я могла бы и хотела бы рассчитывать. Мой друг, у меня случилась большая беда. Когда-нибудь я, вероятно, расскажу вам, как протекала моя жизнь, после того как я рассталась с Феликсом. Он проводил меня до самого По, а потом вернулся один в Кембридж продолжать читать свои лекции. Когда-нибудь расскажу, что со мной произошло, когда я осталась там в одиночестве и оказалась предоставленной самой себе, выздоровлению и весне... Осмелюсь ли я признаться Вам в том, чего не могу открыть Феликсу? Сейчас я должна была бы вернуться к нему. Увы, теперь я уже недостойна видеть его. С некоторого времени мои письма к нему стали лживыми, а в тех, которые я получаю от него, говорится только о том, как он рад тому, что я выздоровела. А что за прок мне теперь в здоровье! Лучше бы мне там умереть!.. Мой друг, мне пришлось смириться с очевидностью: я беременна, причем ребенок, которого я жду, не от него. Я рассталась с Феликсом больше трех месяцев назад, так что уж его-то мне обмануть не удастся. Возвращаться к нему я не смею. Не могу. И не хочу. Он очень добрый. Конечно же, он простил бы меня, но я не заслуживаю того, я не хочу, чтобы он прощал меня. Не смею я возвращаться и к родителям, которые уверены, что я все еще в По. Отец, если он узнает, если он поймет, вполне может меня проклясть. Он оттолкнет меня. Как бы я предстала перед ним, таким добродетельным, так ненавидящим любое зло, ложь, всякую нечистоплотность? Я боюсь также расстроить мать и сестру. Что же касается того, кто... я не хочу его обвинять; в тот момент, когда он предложил помочь мне, он был в состоянии это сделать. Но, пожелав оказать мне более существенную помощь, он, к несчастью, стал играть. Он проиграл ту сумму, которая должна была бы пойти на мое содержание в клинике и на роды. Он проиграл все. Сначала я собиралась уехать с ним, уехать куда угодно, жить с ним, по крайней мере в течение какого-то времени, потому что стеснять его, превратиться для него в обузу я не хотела; рано или поздно я нашла бы возможность зарабатывать себе на жизнь; но сейчас это для меня невозможно. Я вижу, что он страдает оттого, что не может ничего сделать и вынужден покинуть меня, поэтому я не обвиняю его, но все же он покидает меня. Я здесь совер-

шенно без денег. Живу в долг в одной небольшой гостинице. Но так продолжаться не может. Не знаю, что и предпринять. Увы! Та тропинка сладостных утех могла вести только в пропасть. Пишу Вам на тот лондонский адрес, который Вы мне дали, но не знаю, когда это письмо дойдет до Вас. А ведь я так хотела иметь ребенка! Целыми днями только и делаю, что плачу. Посоветуйте мне, как быть; на Вас теперь вся моя надежда. Помогите мне, если можете, а если нет... Увы, в другой ситуации я вела бы себя более мужественно, но сейчас смерть грозит не мне одной. Если Вы не приедете, если Вы напишете мне: «Ничего не могу сделать», я не упрекну Вас ни словом. Прощаясь с Вами, я постараюсь не слишком сожалеть о жизни, но мне кажется, что Вы всегда недостаточно хорошо понимали, что Ваше дружеское расположение ко мне остается лучшим моим достоянием, недостаточно хорошо понимали, что то, что я называла дружбой к Вам, в сердце моем зовется совсем иначе.

Лора Феликс Дувье.

P. S. Прежде чем отнести это письмо на почту, я встречусь с ним в последний раз. Я дождусь его сегодня вечером у него дома. Если вы получите это письмо, то это будет означать, что я... прощайте, прощайте, я уже не знаю, что я пишу».

Эдуар получил письмо утром в день своего отъезда. То есть он решил ехать сразу же, как только получил его. Он в любом случае не собирался слишком затягивать свое пребывание в Англии. Я вовсе не хочу сказать, что он не стал бы возвращаться в Париж только ради того, чтобы прийти на помощь Лоре; я просто сообщаю, что возвращался он с радостью. Живя в Англии, он в последнее время остро ощущал недостаток удовольствий; первое, что он собирался сделать в Париже,— это отправиться в какое-нибудь злачное место; а поскольку он не хотел брать туда с собой никаких личных бумаг, то вынул из сетки свой чемодан, открыл его и положил в него письмо Лоры.

Такому письму место, конечно, было не между пиджаком и сорочками; он достал из-под них тетрадь в картонной обложке, наполовину заполненную его почерком; разыскал в самом начале ее несколько страниц, исписанных еще в прошлом году, перечитал их и положил между ними письмо Лоры.

Дневник Эдуара

«18 октября. Похоже, Лора и не подозревает о том, какую она имеет надо мной власть; от меня мое сердце не имеет секретов, и уж мне-то известно, что до сих пор я не написал буквально ни одной строки, которая не была бы прямо или косвенно внушена ею. Когда она находится рядом, я воспринимаю ее все еще как ребенка, и всей искусностью своей речи я обязан лишь постоянно присутствующему во мне желанию просветить ее, убедить и очаровать. Я не способен ничего ни увидеть, ни услышать, чтобы тотчас же не возникла у меня мысль: а что скажет об этом она? Я отказываюсь от своего собственного восприятия и пользуюсь только ее восприятием. Мне даже кажется, что, не будь ее рядом, моя индивидуальность утратила бы четкие очертания и контуры моей личности стали бы расплываться; я собираюсь воедино и получаю какую-то определенность лишь по отношению к ней. Что за иллюзия заставляла меня до сего дня считать, будто мне удается ваять ее по своему подобию? Напротив, это я приспосабливаюсь к ней, и только сейчас это заметил! Точнее, все обстоит так, что в результате какого-то странного скрещивания любовных влияний оба мы взаимно друг друга видоизменяли. Каждое из двух любящих существ невольно, бессознательно преобразуется в зависимости от требований, предъявляемых другим человеком, трудится, чтобы походить на кумира, которого он видит в сердце партнера... Тот, кто по-настоящему любит, отказывается от искренности.

Вот ведь на чем она меня провела. Ее мысль повсюду следовала за моей мыслью. Я восхищался ее вкусом, ее любознательностью, ее эрудицией и не предполагал, что она из-за любви ко мне так страстно интересовалась всем, что способно пробудить у меня симпатию. Открыть что-либо самостоятельно она не умела. Каждый из ее восторгов, как я теперь понимаю, был не более чем ложем, где ее мысль могла раскованно вытянуться рядом с моей мыслью; это отнюдь не было реакцией на какую-либо внутреннюю потребность ее натуры. «Лишь для тебя,— скажет она потом,— старалась я, наряжаясь и прихорашиваясь». Но я-то хотел как раз того, чтобы, делая это, она повиновалась своей собственной, глубоко личной потребности. Ведь из всего того, что она добавила к себе ради меня, не сохранится ничего — даже сожаления, даже

чувства утраты. Приходит рано или поздно день, и взору предстает человек, как он есть; время снимает с него все чужие одеяния, и в объятиях друга, который любил в нем именно их, остаются лишь пустая оболочка и воспоминания... лишь плач и отчаяние.

Ах! Сколькими добродетелями, сколькими совершенствами украшал я ее образ!

Как же все-таки раздражает эта проблема искренности! Искренность! Рассуждая о ней, я имею в виду лишь искренность Лоры. Направляя мысль на самого себя, я перестаю понимать смысл этого слова. Я всегда являюсь лишь тем, кем себя считаю, ну а представления мои о себе то и дело меняются, и нередко получается так, что если бы не мое присутствие, которое их сопрягает, то человек, живший во мне утром, не узнавал бы того, кто поселился во мне вечером. Ничто не может быть более непохожим на меня, чем я сам. Лишь в одиночестве мне порой случается видеть мой субстрат и достигать глубинной преемственности моих состояний, но тогда мне начинает казаться, что ход моей жизни замедляется, замирает и что я вот-вот перестану реально существовать. Мое сердце бьется лишь потому, что оно способно испытывать симпатию; я живу исключительно благодаря другим людям, по доверенности, благодаря своего рода симбиозу; самое интенсивное ощущение жизни у меня возникает как раз в тот момент, когда мне удается ускользнуть от самого себя и превратиться в кого-нибудь другого.

Эта антиэгоистическая сила децентрализации столь велика, что она уничтожает во мне чувство собственности, а значит, и чувство ответственности. За такого человека, как я, замуж не выходят. Как объяснить все это Лоре?

26 окт. В моем представлении возможно лишь поэтическое (во всех значениях этого слова) существование — сказанное относится в первую очередь ко мне самому. Порой мне кажется, что я не существую реально, а всего лишь воображаю, будто существую. Самые большие усилия я трачу на то, чтобы поверить в свою собственную реальность. Моя сущность то и дело ускользает от меня, и когда я наблюдаю за собственными действиями, то понимаю лишь смутно, что человек действующий составляет единое целое с человеком, который смотрит, удивляется и сомневается, как это он может и действовать, и созерцать одновременно.

Я утратил всякий интерес к психологическому анализу в тот день, когда обнаружил, что человек чувствует лишь то, что подсказывает ему его воображение. А отсюда до мысли, что он воображает, будто чувствует то, что чувствует... Это хорошо видно на примере моей любви: какой сверхчеловеческий разум смог бы провести четкую границу между моей любовью к Лоре и рожденным моей фантазией образом этой любви, между мыслью, что я люблю ее меньше, и уменьшением любви? В области чувств реальное не отличается от воображаемого. А если для того, чтобы любить, достаточно представить себе, что любишь, то, когда любишь, достаточно представить себе, будто любишь меньше, чтобы тотчас же обнаружить уменьшение любви и даже немного отдалиться от того, что любишь, либо отделить от предмета любви несколько кристаллов. Однако разве не необходимо для того, чтобы себе такое сказать, уже любить немного меньше?

С помощью вот такого рассуждения X в моем романе будет стараться отдалиться от Z, а главное, будет пытаться отдалить ее от себя.

28 октября. То и дело приходится слышать разговоры про внезапную кристаллизацию любви. Гораздо больше меня интересует психологический феномен медленной декристаллизации, о котором не хочет говорить никто. Я полагаю, что его можно наблюдать по прошествии более или менее продолжительного отрезка времени во всех браках по любви. Всего этого в случае с Лорой можно не опасаться, естественно, если она выйдет замуж за Феликса Дувье (так-то будет лучше), как ей подсказывают здравый смысл, семья и я сам. Дувье — весьма уважаемый учитель, достойнейший человек, в своей сфере он даже весьма талантлив (я припоминаю, что его очень ценят ученики). Лора откроет в нем со временем тем больше добродетелей, чем меньше у нее иллюзий сейчас; когда она говорит о нем, то мне даже кажется, что, расхваливая его, она делает это без особой уверенности. Все-таки она недооценивает Дувье.

Какой великолепный сюжет для романа: по прошествии пятнадцати-двадцати лет становится очевидной прогрессирующая декристаллизация супругов! Любящий человек, пока он любит и хочет быть любимым, не может явить свою истинную натуру, мало того, он не в состоянии увидеть и любимое существо: вместо него он видит

идола, которого приукрашивает, обожествляет, созидает. Я решил предостеречь Лору и в отношении ее самой, и в отношении меня. Я постарался убедить ее, что наша любовь не в состоянии обеспечить длительного счастья ни ей, ни мне. Надеюсь, я почти убедил ее».

Эдуар пожал плечами, закрыл дневник с лежащим в нем письмом и сунул его в чемодан. Туда же он положил и бумажник, предварительно взяв стофранковую бумажку, с расчетом, что этих денег ему хватит на то время, пока он не заберет свой чемодан из камеры хранения. К сожалению, чемодан не закрывался на ключ, точнее, Эдуар не мог его закрыть, потому что у него не было ключа. Он всегда терял ключи от своих чемоданов. Ну да ладно, днем у служащих камеры хранения слишком много дел, и они никогда не остаются одни. А часа в четыре он заберет чемодан, отнесет его к себе домой, потом отправится утешать и выручать Лору; нужно будет пригласить ее поужинать.

Эдуару захотелось спать; его мысли незаметно пошли в другом направлении. Он спросил себя, угадал ли бы он на основании одного прочитанного письма Лоры, что у нее темные волосы. Он подумал, что романисты, описывая слишком подробно своих персонажей, не помогают, а скорее мешают воображению и что они должны были бы давать возможность каждому читателю представлять себе персонажей такими, какими им хочется их видеть. Он подумал о романе, который собирался написать и который не должен был походить ни на что из написанного им до сего времени. Он пока еще не был уверен, хорошее это название «Фальшивомонетчики» или нет. Напрасно он о нем рассказал. Абсолютно нелепый обычай — сообщать о «готовящихся» книгах, дабы подзадорить читателей. Подзадоривать никого не подзадоривает, а тебя связывает... Столь же не был уверен и в том, правильно ли выбрал сюжет. Он думал о нем непрестанно, причем прошло уже немало времени, а он не написал ни строчки. Единственное, что ему удавалось,— это заносить в тетрадь заметки и размышления.

Он вытащил из чемодана тетрадь. Достал из кармана авторучку. И записал:

«Освободить роман от всех элементов, не принадлежащих собственно роману. Подобно тому как недавно фотография избавила живопись от заботы скрупулезно вос-

производить некоторые детали, фонограф завтра, несомненно, избавит роман от диалогов, пересказыванием которых нередко кичится реалист. Внешние события, происшествия, потрясения принадлежат кинематографу, и роман должен их ему уступить. Даже описание персонажей и то, как мне кажется, является в романе элементом чужеродным. Да, я в самом деле не убежден, что чистый роман (а в искусстве, как и во всем остальном, я уважаю только чистоту) должен этим заниматься. Ведь не занимается же этим драма. И пусть не говорят мне, что драматург не описывает своих персонажей, потому что зритель призван видеть их воплощенными на сцене: как часто, придя в театр, мы чувствовали себя неловко и страдали оттого, что актер столь мало походил на того героя, которого он изображал и которого до этого мы отчетливо себе представляли. Романист, как правило, слишком мало доверяет воображению читателя».

Что за станция стремительно пронеслась за окном? Аньер. Он снова положил тетрадь в чемодан. Однако ему никак не удавалось отделаться от мыслей о Пассаване. Он опять извлек тетрадь. И продолжил запись:

«Для Пассавана произведение искусства является не столько целью, сколько средством. Он вынужден с таким пылом говорить об афишируемых им художественных убеждениях лишь потому, что они неглубоки: они вызываются к жизни не какой-либо сокровенной потребностью личности, а пишутся под диктовку эпохи, и знаменем им служит оппортунизм.

«Турник». То, что поначалу казалось самым современным, скоро будет выглядеть наиболее дряхлым. И каждое потакание вкусам публики, каждое проявление лицемерия оказывается предвестником новой морщины. Но именно этим-то Пассаван и нравится молодежи. Будущее его не интересует. Он обращается к поколению, живущему сейчас (что, конечно же, лучше, чем обращаться к поколению, жившему вчера), но поскольку он обращается только к нему одному, то его книги рискуют умереть вместе с этим поколением. Ему это известно, и он не рассчитывает на жизнь в памяти потомков; вот потому-то он и защищается так ожесточенно, причем не только тогда, когда на него нападают, но и в связи с малейшим укором, услышанным в свой адрес от критиков. Если бы он надеялся на долгую жизнь своего творчества, он предоставил бы ему защищать самого себя и не старался бы бес-

престанно его оправдывать. Да что я говорю? Он радовался бы недопониманию и несправедливым упрекам. Ведь все это послужило бы пищей для грядущих критиков».

Он посмотрел на часы. Тридцать пять минут двенадцатого. По расписанию поезд должен бы быть уже в Париже. Интересно (хотя и абсолютно мало вероятно), встретит его Оливье на вокзале или нет? Эдуар на это совершенно не надеялся. Какова вероятность того, что Оливье вдруг прочитал открытку, в которой он сообщал его родителям о своем возвращении и где он внешне как бы вскользь, небрежно, рассеянно — словно устраивая из любви к препятствиям нечто вроде ловушки судьбе — уточнял день и час прибытия поезда.

Поезд остановился. Быстро носильщика! Нет, чемодан не такой уж тяжелый, а камера хранения находится совсем недалеко... Если предположить, что он все-таки пришел, то узнают ли они друг друга в толпе? Они же виделись всего ничего. Лишь бы он не слишком изменился!.. О! Боже мой! Неужели это он?

IX

Нам не пришлось бы сожалеть ни о чем из того, что случилось впоследствии, если бы Эдуар и Оливье меньше старались скрыть охватившую их при встрече радость; однако из-за странной и общей для них обоих неспособности в полной мере оценить их взаимную духовную и сердечную симпатию они застыли в нерешительности: получилось так, что каждый видел лишь свое собственное волнение, был занят лишь собственной радостью и, как бы стесняясь ее избыточности, заботился лишь о том, чтобы она не слишком бросалась в глаза.

Вот почему Оливье, вместо того чтобы поддержать радостный настрой Эдуара, рассказав ему, как горячо он стремился с ним встретиться, счел более уместным сослаться, едва не извиняясь, на некое дело, якобы случившееся у него утром именно в этом квартале. Ему, с его обостренно чувствительной душой, не составляло труда убедить себя в том, что Эдуару его присутствие должно казаться навязчивым. Едва успев соврать, он тут же покраснел. Эдуар заметил эту краску, а поскольку он только что с горячностью схватил Оливье за руку, то решил, и тоже из-за избытка деликатности, что как раз этот жест и явился причиной смущения юноши.

Увидев его, он сказал:

— Я настраивал себя на мысль, что ты не придешь, и все же в глубине души был уверен, что увижу тебя здесь.

Ему подумалось, что Оливье, чего доброго, расценит его слова как проявление самонадеянности. Когда он услышал, как тот непринужденно ответил: «Так совпало, что у меня в этом квартале оказалось одно дело», то выпустил руку Оливье и его возбуждение сразу спало. Он хотел было спросить Оливье, понял ли он, что открытка, посланная родителям, предназначалась на самом деле ему, но в последний момент ему не хватило духу. Оливье молчал, боясь показаться Эдуару скучным собеседником, боясь также, что, если он станет говорить о себе, у того создастся о нем превратное впечатление. Он смотрел на Эдуара и удивлялся какому-то странному подрагиванию его губы, потом быстро опускал глаза. Эдуару этот взгляд был приятен, но в то же время он боялся, что покажется Оливье слишком старым. Он нервно теребил пальцами клочок бумаги. Это была квитанция, только что выданная ему в камере хранения, но он совершенно об этом забыл.

«Если бы это была его багажная квитанция,— подумал Оливье, наблюдавший, как Эдуар смял ее, а потом рассеянно бросил,— он не выкинул бы ее таким вот образом». Он лишь мельком взглянул, обернувшись, на клочок бумаги, который тут же налетевший порыв ветра подхватил и отбросил на тротуар далеко позади них. Если бы он задержал на нем свой взгляд подольше, то увидел бы, что какой-то молодой человек нагнулся и подобрал его. Это был Бернар, следивший за ними от самого вокзала... Тем временем Оливье мучился оттого, что не может ничего сказать Эдуару, и молчание становилось все более невыносимым.

«Когда мы подойдем к лицею Кондорсе,— вертелось у него в голове,— я скажу ему: „Ну а теперь мне пора, до свидания“». Потом, перед лицеем, он дал себе отсрочку до угла улицы Прованс. Однако Эдуар, которого молчание тяготило нисколько не меньше, не хотел смириться с тем, что им придется расставаться таким вот образом. Он пригласил своего спутника заскочить в кафе. Может быть, хоть портвейн, который им тут же принесли, поможет преодолеть охватившее их смущение.

Они чокнулись.

— За твои успехи,— сказал Эдуар, поднимая рюмку.— Когда экзамен?

— Через десять дней.

— Есть ощущение, что подготовился?

Оливье пожал плечами.

— Никогда ведь нельзя сказать с уверенностью. Достаточно плохого настроения в день сдачи, и все.

Он не решился ответить «да», боясь показаться слишком самоуверенным. Была еще одна вещь, которая его смущала: ему очень хотелось обращаться к Эдуару на «ты», но он не осмеливался; поэтому старался так строить свои фразы, чтобы по меньшей мере не употреблять слова «вы», но тем самым лишал Эдуара возможности попросить его перейти на «ты», хотя он отчетливо помнил, что тогда, за несколько дней до отъезда, уже добился этой привилегии и говорил ему «ты».

— Хорошо потрудился?

— Да, неплохо. Но все-таки хуже, чем мог бы.

— У того, кто хорошо работает, всегда остается ощущение, что он мог бы работать еще лучше,— назидательным тоном сказал Эдуар.

Он произнес эту фразу совершенно непроизвольно, и она сразу же показалась ему смешной

— По-прежнему сочиняешь стихи?

— Время от времени... И очень нуждаюсь в советах.— Он поднял глаза на Эдуара; ему хотелось сказать «в ваших советах», «в твоих советах». Он не сказал так, но его взгляд выражал это столь отчетливо, что Эдуар решил, будто Оливье отдает лишь долг вежливости либо почтительности. Однако зачем же он поторопился ответить:

— О! Что касается советов, то их нужно искать в самом себе или спрашивать у товарищей! Советы старших абсолютно бесполезны.

Оливье подумал: «Я ведь даже еще не просил никаких советов; почему он сразу так реагирует?»

Оба злились на свою неспособность произнести что-либо, кроме сухих, безжизненных фраз, и оба, чувствуя смущение и раздражение собеседника, винили во всем себя. Подобные беседы, если не приходит помощь извне, ни к чему хорошему обычно не приводят. А помощь не пришла.

У Оливье было плохое настроение с самого утра. Проснувшись, он огорчился, когда увидел, что Бернар уже ушел и что не удалось с ним попрощаться, а потом эта печаль, лишь на миг заглушенная радостью встречи с Эдуаром, все время росла в нем, словно какая-то черная волна, заполняла все его мысли. Он хотел было поговорить с Эдуаром о Бернаре, рассказать ему все и что-то еще, вызвать интерес к своему другу.

Однако малейшая улыбка Эдуара больно кольнула бы его, рассказ мог показаться несоразмерным с действительностью, а речь наверняка выдала бы горячность и сумбур охвативших его эмоций. Он продолжал молчать, чувствуя, как лицо его становится более жестким, и ему захотелось броситься к Эдуару и расплакаться. Эдуар неверно истолковал и это молчание, и окаменелое выражение лица Оливье; он слишком сильно ему симпатизировал, чтобы не утратить естественность. Если бы он решился посмотреть на него, то ему захотелось бы обнять его и баюкать как ребенка, но, встречая его пасмурный взгляд, он думал: «Да, конечно. Ему скучно со мной. Я утомил его, надоел ему. Бедный мальчик! Он ждет только моего слова, чтобы уйти». И, жалея юношу, Эдуар наконец не удержался и произнес это слово:

— Ну а теперь пора расставаться. Я уверен, родители тебя уже ждут к обеду.

Оливье, думавший о том же, в свою очередь тоже неверно понял своего собеседника. Он поспешно встал и протянул руку. Ему очень хотелось сказать Эдуару: «Когда я теперь тебя увижу? Когда я теперь вас увижу? Когда мы встретимся?..» Эдуар ждал этой фразы. Однако услышал всего лишь банальное: «Прощайте».

X

Бернара разбудило солнце. Он встал со скамейки, на которой лежал, с сильнейшей головной болью. От утреннего боевого настроя не оставалось и следа. Он чувствовал себя страшно одиноким, а сердце его переполняла какая-то неопределенная солоноватая субстанция, из-за которой, хотя он и отказывался назвать ее грустью, к глазам подступали слезы. Что делать? И куда пойти?.. У вокзала Сен-Лазар как раз в тот момент, когда, как ему было известно, туда должен был подойти Оливье, он оказался совершенно непроизвольно, руководствуясь исключительно желанием встретиться с другом. Он упрекал себя за свой внезапный утренний уход: Оливье ведь мог из-за этого расстроиться. Разве не был он для Бернара самым дорогим человеком на свете?.. Когда он увидел его идущим под руку с Эдуаром, какое-то странное чувство заставило его последовать за ними, не обнаруживая своего присутствия. Он с горечью ощутил себя лишним, и тут же у него появилось желание проскользнуть в их компанию. Эдуар показался ему весьма милым; он был чуть повыше Оли-

вье, почти с такой же юной походкой. Он решил подойти именно к нему и стал дожидаться, когда они с Оливье распрощаются. Подойти, но вот только под каким предлогом?

И в этот момент он заметил небольшой клочок скомканной бумаги, выброшенный по рассеянности Эдуаром. Когда он подобрал его, когда увидел, что это квитанция из камеры хранения... черт побери, вот он, прекрасный предлог!

Он увидел, как приятели вошли в кафе, остановился на миг в нерешительности, а потом продолжил свой монолог: «Какой-нибудь нормальный остолоп тут же бросился бы и отдал ему эту бумажку»,— сказал он себе.

«How weary stale, flat and unprofitable
Seem to me all the uses of this world!» [1]

— Так ведь сказал Гамлет. Ах, Бернар, Бернар, что за мысли тебя посещают? Вчера ты уже забрался в ящик стола. На какой путь ты встаешь? Хорошенько подумай об этом, мой мальчик... Хорошенько подумай: ведь в двенадцать часов служащий камеры хранения, которому вручил свой чемодан Эдуар, пойдет обедать, и его сменит кто-то другой. А разве не ты пообещал своему другу не пасовать ни перед чем?

Однако он рассудил, что чрезмерная поспешность может все испортить. Служащий, если подойти к нему сразу после того, как он заступит на дежурство, мог бы счесть подобную торопливость подозрительной; проверив в книге регистрации, он мог усмотреть что-то неладное в том, что багаж, сданный без нескольких минут двенадцать, забирают почти сразу же. А кроме того, если кто-нибудь из прохожих, какой-нибудь осел, вдруг видел, как он подобрал бумажку... Бернар решил пройтись не спеша до площади Согласия: за такой промежуток времени человек может пообедать. Приезжие ведь часто оставляют свой чемодан в камере хранения, идут обедать, а после этого сразу забирают его, разве не так? Головной боли он уже не чувствовал. Проходя вдоль веранды какого-то ресторана, бесцеремонно взял на одном из столов зубочистку (пучки которых стояли повсюду), чтобы потом покусывать ее перед окошком камеры хранения с видом плотно поевшего человека. В его пользу говорило все: его прият-

[1] Каким докучным, тусклым и ненужным
Мне кажется все, что ни есть на свете!

Шекспир «Гамлет» (*Пер. М. Лозинского*)

ная наружность, элегантный костюм, изысканные манеры, обезоруживающая улыбка, открытый взгляд и, наконец, еще нечто такое, не поддающееся определению, по чему сразу узнают людей, выросших в достатке, ни в чем не нуждающихся. Однако же если спать на скамейках, то все это утрачивает свою первоначальную свежесть.

Ему пришлось пережить момент внезапного страха, когда служащий спросил у него десять сантимов за хранение. У него не оставалось ни единого су. Что делать? Чемодан был уже на стойке. Малейшее проявление неуверенности, равно как и отсутствие денег, могло вызвать подозрение. Однако его бес-хранитель был начеку: он сунул в нервно шарившие по карманам пальцы Бернара, вынужденного делать вид, что он ищет всерьез, маленькую монетку в десять су, забытую неведомо когда в карманчике жилета. Бернар протянул ее служащему. Он ничем не выдал своего волнения. Взял чемодан и легким, добропорядочным жестом положил сдачу в карман. Уф! Жарко. А куда идти? Ноги подкашивались, и чемодан казался невероятно тяжелым. Что с ним делать?.. Вдруг он подумал о том, что у него нет ключа от чемодана. И все же нет, нет и нет: замок ломать он не будет; не вор ведь он в конце концов!.. Хоть бы знать, что в нем такое лежит. Чемодан оттягивал руку. Бернар был весь в поту. Он на мгновение остановился, поставил свою ношу на тротуар. Разумеется, он собирался вернуть чемодан его владельцу, но, прежде чем сделать это, ему бы хотелось знать, что находится внутри. На всякий случай он нажал на замок. О! Не чудо ли? Крышка открылась, и он увидел эту драгоценность — бумажник с выглядывающими из него купюрами. Бернар овладел драгоценностью и тут же закрыл крышку.

А теперь, поскольку у него было чем заплатить, быстро в гостиницу! Он знал одну гостиницу совсем рядом, на Амстердамской улице. Он умирал от голода. Однако прежде, чем сесть за стол, нужно оставить чемодан в надежном месте. И вот уже коридорный несет чемодан по лестнице, а Бернар следует за ним. Три лестничных пролета, коридор... дверь, которую он, едва сокровище оказалось внутри, закрыл на ключ... И спустился в ресторан.

Сидя перед принесенным ему бифштексом, Бернар не решался вытащить бумажник из кармана (мало ли кто может в этот момент за тобой наблюдать), но время от времени любовно поглаживал его левой рукой там, во внутреннем кармане.

«Дать понять Эдуару, что я не вор,— говорил он себе,— вот в чем проблема. Что за человек этот Эдуар? Возможно, чемодан внесет какую-то ясность. Обаятельный — это несомненно. Однако многие обаятельные люди совершенно не понимают шуток. Если он будет думать, что чемодан у него украли, то, конечно же, ему будет приятно увидеть его вновь. Он будет мне благодарен, если я ему его принесу, в противном случае он просто осел. А уж привлечь к себе внимание я сумею. Так что быстро съедаем десерт и идем наверх анализировать ситуацию. Счет, и не будем экономить на чаевых».

Несколько мгновений спустя он уже был в номере.

— А теперь, чемодан, давай выяснять наши отношения!.. Так, костюм; мне, пожалуй, был бы чуть-чуть великоват. Цвет прекрасный, свидетельствует о хорошем вкусе. Белье, туалетные принадлежности. Не совсем уверен, возвращу я ему все это или нет. Однако доказательством того, что я не вор, может служить уже одно то, что бумаги меня интересуют больше, чем все остальное. Прочитаемка сначала вот это.

То была тетрадь, в которую Эдуар вложил грустное письмо Лоры. Первые страницы этой тетради нам уже известны; ну а вот их продолжение.

XI

Дневник Эдуара

«1 ноября. Это случилось две недели назад... Напрасно я не записал тогда сразу же. Я бы не сказал, что не хватило времени; просто в сердце моем ни на что не оставалось места, кроме Лоры, а если точнее, мне не хотелось отвлекаться от своих дум о ней; кроме того, я не люблю записывать здесь ничего эпизодического, случайного, а в ту пору мне еще не приходило в голову, что то, что я сейчас расскажу, могло бы иметь какое-то продолжение, или, как принято говорить, последствия; во всяком случае, я отказывался об этом думать и не говорил об этом в дневнике как раз для того, чтобы убедить себя в невозможности продолжения; однако сейчас я отчетливо осознаю, что, несмотря на мое сопротивление, образ Оливье концентрирует вокруг себя мои мысли, направляет их и что, отказываясь принимать его во внимание, я бы не смог ни выразить свои ощущения, ни понять себя в полной мере.

Я возвращался утром от Перрена, где мне пришлось заняться делами, связанными с рекламой одной моей старой книги, которую он решил переиздать. Погода была прекрасная, и, чтобы скоротать остававшееся до обеда время, я прогуливался по набережным Сены.

Немного не доходя до Вапье, я остановился перед выставленными прямо снаружи подержанными книгами. Меня заинтересовали не столько сами книги, сколько юный лицеист лет тринадцати, перебиравший на ветру содержимое полок под невозмутимым взглядом букиниста, пристроившегося на плетеном стуле в дверях своей лавки. Я притворился, что рассматриваю выставленные тома, а сам краем глаза стал тоже наблюдать за малышом. Одет он был в совсем изношенное пальто, из слишком коротких рукавов которого выглядывали рукава куртки. Большой боковой карман пальто сильно оттопыривался, хотя видно было, что в нем ничего нет; один угол его был надорван. У меня мелькнуло в голове, что пальто это уже носили до него несколько братьев и что братья, так же как и он, имели привычку класть в свои карманы слишком много всякой всячины. Я подумал еще, что мать мальчика, которая не зашила вовремя пальто, или очень нерадивая, или у нее слишком много дел. Но в этот момент малыш слегка повернулся, и я увидел, что другой карман был зашит — явно на скорую руку — толстой крепкой черной ниткой. И я тотчас явственно услышал материнские увещевания: «Сколько раз тебе говорить: не клади в карман по две книги сразу; ты же совсем порвешь пальто. Карман опять разодран. В следующий раз, я тебя предупреждаю, ничего не буду зашивать. Ты только посмотри, на кого ты похож!..» Все это говорила мне и моя бедная мать, и я тоже не обращал на ее слова ни малейшего внимания. Из-под его распахнутого пальто виднелась куртка, и мой взгляд упал на нечто вроде орденской ленточки или желтой розетки, торчавшей у него из петлицы. Все это я записываю ради того, чтобы соблюсти точность в деталях, да еще скуки ради.

В какой-то момент продавца позвали в помещение; он пробыл там самую малость и опять вернулся на свой стул, но мальчику этой малости оказалось достаточно, чтобы засунуть в карман пальто томик, который он держал в руках, а потом как ни в чем не бывало продолжить свои поиски на полках. Однако он явно нервничал; подняв голову, он заметил мой взгляд и понял, что я все видел. Во всяком случае, подумал, что я мог видеть; вероятно, он

не был в этом абсолютно уверен, но, засомневавшись, утратил уверенность в себе, покраснел и предпринял небольшой маневр, во время которого старался выглядеть как можно непринужденнее, отчего его смущение еще больше бросалось в глаза. Я не сводил с него глаз. Он вытащил было из кармана похищенную книгу, потом засунул ее обратно, отошел на несколько шагов, извлек из внутреннего кармана куртки жалкий потрепанный бумажник и сделал вид, что ищет деньги, которыми, как ему было прекрасно известно, там и не пахло, состроил предназначавшуюся, естественно, мне красноречивую, прямо театральную гримасу, где читалось: «Надо же, пусто» — с маленьким дополнительным нюансом: «Странно, а я и не предполагал, что у меня нет денег», причем все это было выполнено слегка утрированно, немного грубовато, как у актера, опасающегося, что его не поймут. Затем, я бы сказал под воздействием моего взгляда, он опять подошел к тому месту, где стоял раньше, вытащил наконец книгу из кармана и резким движением поставил ее туда, откуда взял. Сделал он это настолько естественно, что продавец ничего не заметил. Потом опять поднял голову, надеясь, что теперь-то все было в порядке. Вовсе нет, мой взгляд, как какое-нибудь каиново око, был по-прежнему устремлен на него, только теперь мои глаза улыбались. Мне захотелось поговорить с ним, и я ждал, когда он кончит рассматривать книги, чтобы подойти к нему, но он упорно стоял все там же, и я понял, что, пока я буду так на него смотреть, он не сдвинется с места. Тогда я поступил, совсем как поступают дети в игре «четыре угла», когда хотят заставить переместиться воображаемую дичь: я отошел на несколько шагов в сторону, словно вдоволь на все насмотревшись. Он пошел в другую сторону, но уйти далеко не успел: я его легко догнал.

— Что это была за книга? — спросил я его сразу, постаравшись, чтобы лицо мое и голос выражали всю любезность, на которую я только способен.

Он посмотрел мне прямо в лицо, и я почувствовал, что недоверие его пропало. Может быть, его трудно было бы назвать красивым, но зато какой прелестный у него был взгляд! Я видел, как там заволновались, заколыхались, словно водоросли на дне ручья, самые разные чувства.

— Путеводитель по Алжиру. Только он мне не по карману. Я не такой богатый.

— Сколько?

— Два франка пятьдесят.

— И тем не менее не заметь ты, что я за тобой наблюдаю, так бы и удрал с книгой в кармане.

Малыш сделал протестующее движение и стал возражать очень вульгарным тоном:

— Нет, вы это чего... вы за вора меня что ли принимаете?..— причем с такой убедительностью, что мне впору было засомневаться в том, что я видел своими собственными глазами. Я почувствовал, что если буду настаивать, то ничего не добьюсь. Тогда я вынул из кармана три монеты.

— Сходи купи ее. Я подожду тебя.

Через две минуты он уже выходил из лавки, листая предмет своего вожделения. Я взял у него книгу. Это был старый путеводитель Жоанна, изданный в 1871 году.

— Ну и что ты будешь делать с этой штукой? — спросил я, возвращая ему книгу.— Этот путеводитель совсем устарел. Им уже нельзя пользоваться.

Он стал уверять меня, что можно, что, помимо всего прочего, более современные путеводители стоят слишком дорого и что «для того, для чего ему это нужно», карты, которые приложены к путеводителю, вполне сойдут. Я не пытаюсь передать его слова, так как, будучи лишены той невероятной уличной интонации, с которой он их произносил и которая забавляла меня, тем более что фразы он строил не без изящества, они все равно бы утратили свой колорит.

. . . . . .

Этот эпизод нужно сильно сократить. Точности следует добиваться не с помощью деталей повествования, а с помощью двух-трех удачно разбросанных штрихов, благодаря которым включается в работу воображение читателя. Кстати, мне кажется, что имело бы смысл, чтобы все это рассказал сам мальчик: его точка зрения более выразительна, чем моя. Малыш одновременно и смущен, и польщен моим вниманием. Однако под воздействием моего взгляда его точка зрения претерпевает кое-какие искажения. Отличающаяся повышенной чувствительностью, еще не осознавшая себя вполне индивидуальность обычно прячется за какой-нибудь позой. Нет ничего более трудного, чем наблюдать за людьми, находящимися в стадии формирования. На них следовало бы смотреть не иначе как украдкой, в профиль.

Малыш неожиданно заявил, что «больше всего он любит географию». Я предположил, что за этой любовью скрывается инстинкт бродяжничества.

— Ты хотел бы поехать туда? — спросил я его.

— Что за вопрос! — сказал он, слегка пожав плечами.

У меня появилась мысль, что он не очень-то счастлив в семье. Я поинтересовался, с родителями он живет или нет. — Да. — Спросил еще о том, что, может быть, ему не очень нравится жить дома. Он неуверенно запротестовал. Он, похоже, забеспокоился, что уже и так слишком много о себе рассказал. Потом добавил:

— А зачем вы меня об этом спрашиваете?

— Просто так,— немедленно ответил я, а потом дотронулся кончиком пальца до желтой ленточки у него в петлице: — Что это такое?

— Ленточка, вы же видите.

Мои вопросы его явно тяготили. Неожиданно он повернулся ко мне, как бы демонстрируя свою враждебность, и насмешливо-наглым голосом, который никак не вязался со всем его обликом и который буквально меня обескуражил, спросил:

— А скажите-ка мне... часто вам случается поглядывать на лицеистов?

Потом, пока я бормотал какое-то невнятное подобие ответа, он раскрыл свой школьный портфель, который нес под мышкой, с намерением положить туда свое приобретение. В нем лежали учебники и несколько тетрадей, все обернутые синей бумагой. Я взял одну из них, как оказалось, по истории. Малыш написал на ней крупными буквами свое имя. Сердце мое учащенно забилось, когда я прочитал имя и фамилию моего племянника: Жорж Молинье. (Сердце Бернара тоже учащенно забилось, когда он прочитал эти строчки, и интерес его ко всей истории сразу возрос необычайно.)

В «Фальшивомонетчиках» будет трудно заставить читателя поверить в то, что персонаж, являющийся моим двойником, мог, пребывая в хороших отношениях со своей сестрой, не быть знаком с ее детьми. Мне всегда стоило больших трудов замаскировать истину. Даже поменять цвет волос и то мне кажется обманом, делающим в моих глазах реальность менее правдоподобной. Все настолько взаимосвязано, и между фактами, свидетелем которых я становлюсь в жизни, я ощущаю такие тончайшие узы, что, как мне представляется, изменение одного из фактов должно непременно повлечь за собой изменение всей совокупности. Но ведь не могу же я рассказать, что мать этого ребенка приходится мне не совсем родной сестрой, а является дочерью моего отца от первого брака

и что я впервые увидел ее лишь после смерти моих родителей, когда дела, связанные с получением наследства, подтолкнули развитие наших отношений... А между тем знание всего этого абсолютно необходимо, и я не вижу, что можно придумать взамен, чтобы не разглашать семейных секретов. Я знал, что у моей сводной сестры три сына, но знаком был только со старшим из них, студентом медицинского факультета; да и его-то видел лишь мельком, так как он заболел туберкулезом и вынужден был прервать учебу и отправиться лечиться куда-то на юг. Двоих других, когда я приходил к Полине, никогда не было дома; мой собеседник был, конечно же, самым юным из них. Я ничем не выдал своего удивления, но, узнав, что маленький Жорж возвращается домой обедать, быстро распрощался с ним, сел в такси и оказался на улице Нотр-Дам-де-Шан раньше него. Я подумал, что если приду в этот час, то Полина оставит меня обедать, что и произошло; а в качестве предлога для этого не совсем своевременного визита можно было подарить книгу, экземпляр которой я взял у Перрена.

В тот день я обедал у Полины впервые. Опасения мои относительно моего зятя оказались напрасными. Сомневаюсь, чтобы он был первоклассным юристом, но когда мы беседуем, то он умеет говорить о своей профессии не больше, чем я о своей, так что у нас получается полное взаимопонимание.

Появившись у них в то утро, я, естественно, ни словом не обмолвился о только что состоявшейся у меня встрече.

— Надеюсь, это позволит мне познакомиться с моими племянниками,— сказал я, когда Полина попросила меня остаться обедать.— Ведь, вы знаете, с двоими из них я все еще не знаком.

— Оливье,— сказала она,— возвратится немного позже, потому что у него сегодня репетиция; мы будем обедать без него. А Жорж, я только что слышала, как он вернулся. Сейчас позову его.— И, подбежав к двери в соседнюю комнату, она крикнула:

— Жорж! Иди поздоровайся со своим дядей.

Тот подошел, протянул мне руку; я поцеловал его... Не могу не восхищаться способностью детей к притворству: он не выразил ни малейшего удивления; можно было подумать, что он не узнал меня. Только сильно покраснел; но ведь это могло быть и от застенчивости. Я подумал, что, встретившись с человеком, который только что за ним следил, он, должно быть, все же смутился, так как

почти немедленно покинул нас и вернулся в соседнюю комнату; то была столовая, которая, как я понял, между трапезами служит детям классной комнатой. Однако весьма скоро, когда в гостиную вошел отец, он появился опять и в тот момент, когда все встали, чтобы перейти в столовую, приблизился ко мне и незаметно от родителей схватил меня за руку. Я увидел в этом сначала своеобразный знак дружеского расположения, и это меня позабавило; вовсе нет: он разжал мою руку, державшую его руку, и вложил туда крошечную записку, написанную, надо полагать, минуту назад, потом снова сложил мои пальцы и очень крепко сжал своими руками мой кулак. Я, естественно, принял эту игру и спрятал записку в карман, откуда мне удалось ее извлечь только после обеда. Вот что я там прочитал:

«Если Вы расскажете моим родителям историю с книгой, то я (он зачеркнул: возненавижу Вас) скажу, что Вы делали мне разные предложения».

А ниже было приписано:

«Я выхожу из лицея всегда в 10 ч.»

Вчера мою запись прервал визит г-на X. После разговора с ним на душе у меня остался неприятный осадок.

Много размышлял над тем, что мне сказал X. Он ничего не знает о моей жизни, но я ему долго объяснял свой план «Фальшивомонетчиков». Его советы мне всегда полезны, так как его позиция отличается от моей. Он опасается, как бы я не увлекся сверх меры умозрительными вещами и не пожертвовал бы истинным сюжетом ради той тени сюжета, которая зародилась у меня в мозгу. Меня не может не беспокоить то, как жизнь (моя собственная жизнь) отделяется здесь от моего творения, а мое творение отстраняется от моей жизни. Однако я не смог сказать ему об этом. До сего времени мои вкусы, чувства, личный опыт, как и полагается, питали мои сочинения, и даже в своих самых виртуозных фразах я ощущал биение моего сердца. И вот связь между тем, что я думаю, и тем, что я чувствую, отныне разорвана. Есть у меня такое подозрение, что отвлеченность и искусственность моей книге грозят как раз из-за того, что я не позволяю говорить своему сердцу. Размышляя об этом, я вдруг понял смысл мифа об Аполлоне и Дафне: счастлив, подумал я, тот, кто может обнять одновременно и лавр, и сам предмет своей любви.

Я так долго рассказывал про свою встречу с Жоржем, что в момент появления на сцене Оливье вынужден был

остановиться. Я начал этот рассказ только ради того, чтобы говорить о нем, а сумел рассказать только про Жоржа. Теперь, когда пришло время говорить об Оливье, мне стало понятно, что причиной моей медлительности было желание отдалить этот момент. Как только я его увидел тогда впервые, как только он сел за семейный стол, как только я взглянул на него, или, точнее, как только он посмотрел на меня, я почувствовал, что этот взгляд пленил меня и что моя жизнь больше мне не принадлежит.

Полина уговаривает меня приходить к ней почаще. Она настойчиво просит меня заняться немного ее детьми. И дает мне понять, что отец их не понимает. Чем больше я с ней разговариваю, тем очаровательнее она мне кажется. Ума не приложу, почему я раньше бывал у нее так редко. Дети воспитаны в католической религии, но она сама еще не совсем забыла свое протестантское воспитание, и, хотя она покинула наш общий дом одновременно с появлением там моей матери, я обнаруживаю у себя и у нее много общих черт. Она поместила своих детей в пансион родителей Лоры, где долгое время находился и я сам. Кстати, пансион Азаисов гордится тем, что не отдает предпочтения ни одному из вероисповеданий (в мое время там можно было встретить даже турок), хотя давний друг моего отца старик Азаис, который и основал его, и до сих пор управляет им, был раньше пастором.

Полина получает весьма утешительные вести из санатория, где заканчивает свое лечение Венсан. По ее словам, она пишет ему обо мне в своих письмах, и ей хотелось бы, чтобы я познакомился с ним поближе; я ведь видел его только мельком. Она возлагает на старшего сына большие надежды; семья ограничивает себя во всем, чтобы помочь ему устроиться по окончании факультета, то есть я хочу сказать, чтобы снять ему отдельную квартиру для приема пациентов. Пока же она сумела выделить ему часть своей маленькой квартиры, поселив Оливье и Жоржа в подвернувшуюся изолированную комнату, расположенную под их квартирой. Сейчас главная проблема у них заключается в том, не придется ли Венсану из-за болезни отказаться от практики в больнице.

По правде говоря, Венсан меня не слишком интересует, и я подолгу говорю о нем с его матерью лишь для того, чтобы сделать ей приятное и чтобы потом еще более обстоятельно поговорить об Оливье. Что касается Жоржа, то он со мной холоден; когда я обращаюсь к нему, он

едва отвечает мне, а когда мы встречаемся, бросает на меня какие-то неопределенно-подозрительные взгляды. Похоже, он сердится на меня за то, что я не пошел встречать его к лицею, либо ругает себя за свое приглашение.

Не чаще я вижу и Оливье. Когда я прихожу к его матери, то не решаюсь зайти в комнату, где, как мне известно, он занимается, а когда я встречаю его случайно, то оказываюсь таким неловким и так тушуюсь, что не нахожу, что сказать, и это настолько меня удручает, что я предпочитаю навещать его мать в часы, когда его точно не бывает дома».

XII

Дневник Эдуара

«2 ноября. Долгий разговор с Дувье, который вышел вместе со мной от родителей Лоры и проводил меня через Люксембургский сад до Одеона. Он пишет докторскую диссертацию о Вордсворте, но по нескольким его словам на эту тему я понял, что самое оригинальное в поэзии Вордсворта от него ускользает. Лучше бы он выбрал Теннисона. Какой-то он немного странный, этот Дувье, простоватый и лишенный чувства реальности. Ему и в голову не приходит, что внешняя оболочка людей и вещей порой бывает обманчива; вероятно, это происходит потому, что сам он никогда не пытается выглядеть иным, чем является на самом деле.

— Я знаю,— сказал он мне однажды,— что вы лучший друг Лоры. Мне, очевидно, следовало бы немного ревновать ее к вам. А я не могу. Даже наоборот, все, что она говорит мне о вас, помогает мне лучше ее понять и вызывает у меня желание стать вашим другом. Как-то раз я спросил ее, сильно ли вы рассердитесь, если я женюсь на ней. И она ответила мне, что вы, напротив, советовали ей выйти за меня замуж (кажется, именно так, без обиняков, он мне и сказал). Я хотел бы вас поблагодарить за это... и хотел бы,— добавил он, пытаясь улыбнуться, но голос его дрожал, а в глазах стояли слезы,— чтобы мои слова не показались вам смешными, потому что я говорю совершенно искренне.

Я не знал, что ему сказать, так как чувствовал себя гораздо менее взволнованным, чем полагается в таких случаях, и был совершенно не в состоянии ответить ему

взаимными излияниями. Скорее всего, я показался ему несколько сухим, но он меня раздражал. Тем не менее я как можно горячее пожал его протянутую руку. Подобные сцены, в которых люди предлагают вам больше своей сердечности, чем вам требуется, всегда тягостны. Очевидно, он добивался моей симпатии. Будь он человеком более проницательным, он непременно почувствовал бы, что ничего не получил; ну а Дувье, мне это сразу бросилось в глаза, был преисполнен благодарности к самому себе, за то, что произнес такие слова, отзвук которых ему послышался в моем сердце. Я ничего не ответил, и его, вероятно, смутило мое молчание.

— Я рассчитываю,— добавил он через некоторое время,— что переезд в Англию и жизнь в Кембридже лишат ее возможности делать сопоставления, которые были бы не в мою пользу.

Что он имел в виду? Я делал вид, что не понимаю. Возможно, он надеялся, что я начну протестовать; но ведь это только усугубило бы фальшивость нашего положения. Он принадлежит к той категории людей, которые из-за своей застенчивости совершенно не переносят молчания и считают своим долгом заполнять паузы чрезмерной любезностью, к той самой категории людей, которые потом вам говорят: «Я всегда был откровенен с вами». Боже мой, важно ведь не столько самому быть откровенным, сколько давать возможность другим тоже быть откровенными. Должен же был он понять, что как раз его откровенность и мешала мне ответить ему тем же.

Ладно, если уж я не могу стать его другом, то по крайней мере могу верить в то, что он станет прекрасным мужем для Лоры; ведь в конечном счете я здесь ставлю ему в упрек главным образом его достоинства. Потом мы поговорили о Кембридже, куда я пообещал приехать их навестить.

Что за нелепая идея пришла Лоре в голову говорить с ним обо мне?

Восхитительная склонность у женщины к преданности. Чаще всего мужчина, которого она любит, является для нее всего лишь чем-то вроде вешалки, на которую можно прицепить свою любовь. С какой неподдельной легкостью осуществляет Лора замену! Я понимаю, что она вот-вот выйдет замуж за Дувье, и даже сам одним из первых посоветовал ей сделать это. И все же я был вправе рассчитывать на некое подобие грусти с ее стороны. Свадьба состоится через три дня.

Несколько статей о моей книге. Меня охотнее всего хвалят как раз за те качества, которые я больше всего ненавижу... Стоило ли мне переиздавать это старье? Оно нисколько не отражает того, что мне нравится сейчас. Но заметил я это именно сейчас. Из этого вовсе не следует, что я стал другим; просто дело в том, что только теперь я осознал себя; до настоящего времени я не знал, кто я такой. Неужели же мне постоянно нужен кто-то посторонний, чтобы открывать мне меня самого! Кристаллизация этой книги осуществлялась вокруг образа Лоры; потому-то я и не хочу узнать себя в ней.

Неужели нам действительно заказана та рождающаяся из симпатии проницательность, благодаря которой мы смогли бы обгонять время. Какие проблемы будут завтра волновать тех, кто придет на смену нам? Я хочу писать именно для них. Хочу давать пищу еще не сформировавшейся любознательности, отвечать требованиям, пока еще лишенным контуров, так чтобы сегодняшний ребенок удивился бы завтра, встретив меня на своем пути.

Я с таким удовольствием обнаруживаю у Оливье огромные запасы любознательности и нетерпеливой неудовлетворенности прошлым...

Порой мне кажется, что его не интересует ничего на свете, кроме поэзии. И перечитывая его глазами наших поэтов, я чувствую, насколько же редко встречаются среди них такие, кто подчинялся не зову сердца или ума, а зову искусства. Удивительно то, что, когда Оскар Молинье показал мне стихи своего сына, я посоветовал юноше стараться не столько подчинять себе слова, сколько идти вслед за ними. А теперь мне кажется, что я сам научился этому именно с его помощью.

Какой же грустной, скучной и смешной кажется мне сегодня рассудочность всего того, что было написано мною раньше!

5 ноября. Церемония состоялась. В маленькой часовне на улице Мадам, куда я уже давно не заходил. Семья Веделей-Азаисов в полном составе: дед, отец и мать Лоры, ее сестры и юный брат, а также несколько дядюшек, тетушек, кузенов и кузин. Семья Дувье была представлена тремя тетками в глубоком трауре, которых католицизм не преминул бы сделать тремя монахинями; как мне сказали, они живут все вместе и с ними же после смерти своих родителей жил Дувье. На хорах разместились живущие в пансионе школьники. Остальную часть зала, в глубине

которого стоял и я, заполнили прочие друзья семьи; недалеко от себя я увидел мою сестру и Оливье; Жорж, должно быть, находился вместе со своими сверстниками на хорах. За клавир-гармоникой старик Лаперуз; его постаревшее лицо выглядело прекраснее и благороднее, чем когда бы то ни было в прошлом, но в глазах его уже не сияло то восхитительное пламя, от которого загорался и я во времена уроков музыки. Наши взгляды встретились, и я почувствовал в обращенной ко мне улыбке столько грусти, что мысленно пообещал себе найти его по окончании церемонии. В толпе присутствующих произошло движение, и около Полины оказалось свободное место. Оливье тут же сделал мне знак, попросил мать подвинуться, чтобы я мог сесть рядом с ним, потом взял мою руку и долго держал ее в своей руке. Так непринужденно он вел себя со мной впервые. На протяжении почти всей нескончаемой проповеди пастора он держал глаза закрытыми, и это дало мне возможность хорошо его рассмотреть; он похож на спящего пастуха, изображенного на одном барельефе из Неаполитанского музея, фотография которого стоит у меня на письменном столе. Я бы подумал, что и он тоже спит, если бы не подрагивание его пальцев; его рука, как птица, трепетала в моей руке.

Старый пастор счел своим долгом поведать присутствующим историю всей семьи, начиная с дедушки Азаиса, своего школьного товарища, вместе с которым он еще до войны учился в Страсбурге, а потом на богословском факультете. Мне показалось, что ему не удастся завершить сложную фразу, в которой он пытался объяснить, что, взявшись управлять пансионом и посвятив себя делу воспитания детей, его друг в некотором роде не совсем перестал быть пастором. Потом очередь дошла до следующего поколения. С воодушевлением говорил он и о семье Дувье, хотя в ходе рассказа становилось все очевиднее, что о ней он почти ничего не знает. Однако ораторские промахи искупались возвышенностью чувств, так что то один, то другой из присутствующих вынуждены были сморкаться в свои платки. Мне хотелось знать, что думал о происходящем Оливье; я исходил из того, что поскольку его воспитали в католической вере, то протестантский культ был ему внове, а в эту церковь он вообще, очевидно, попал впервые. Умение отстраняться от собственной личности, позволяющее мне испытывать чувства других людей, как свои, заставляло меня почти непроизвольно сопереживать ощущениям Оливье, тем ощущениям, во власти

которых, согласно моим представлениям, он должен был находиться; хотя он держал глаза закрытыми, а может быть, именно поэтому, мне казалось, что я видел в первый раз вместо него голые стены, тусклый нереальный свет, обволакивающий присутствующих, резко выделяющуюся на фоне белой стены кафедру, прямизну линий, суровость поддерживающих хоры колонн, сам дух этой угловатой и обесцвеченной архитектуры, отталкивающая неуклюжесть, нетерпимость и меркантильность которой вдруг бросились мне в глаза. Не замечать этого раньше я мог только потому, что видел это с самого детства... Мне вспомнились вдруг мое религиозное пробуждение и мой пыл неофита, вспомнилась Лора и та воскресная школа, где мы встречались на занятиях евангелического кружка; мы оба были преисполнены рвения, оба горели пламенем, поглощавшим в нас все нечистое, и потому плохо различали, что принадлежит Богу, а что — кому-то другому. И я не замедлил огорчиться из-за того, что Оливье не прошел через наш юношеский отказ от чувственности, который столь рискованно возносит душу над видимым миром, пожалел, что у него нет таких воспоминаний, как у меня, но, осознавая его чуждость всему этому, я сам легче освобождался от прошлого. Я горячо пожал его руку, все еще находившуюся в моей руке, но он неожиданно резко убрал ее. Он открыл глаза, посмотрел на меня, потом наклонился ко мне и с улыбкой, светящейся совершенно детской шаловливостью и резко контрастирующей с необыкновенной серьезностью его лба, шепнул как раз в тот момент, когда пастор, напоминал об обязанностях каждого христианина, расточал новобрачным советы, наставления и благочестивые предостережения:

— А мне плевать: я ведь католик.

Все в нем притягивает меня и остается для меня загадкой.

Я нашел старика Лаперуза у входа в ризницу. Он сказал мне с легкой грустью, но без малейшего упрека:

— Похоже, вы меня понемногу забываете.

Уже не помню, какие я придумал себе занятия, чтобы извиниться за то, что так долго к нему не заходил, и пообещал навестить его через день. Я попытался зазвать его к Азаисам, куда меня пригласили на чай, устраиваемый по окончании церемонии; однако он сказал мне, что пребывает сейчас в слишком мрачном настроении, а там рис-

кует встретить весьма многих людей, с которыми должен был бы, но не сможет поговорить.

Полина увела Жоржа, оставив меня с Оливье.

— Поручаю его вам,— сказала она мне, смеясь, что, похоже, не совсем понравилось отвернувшемуся в этот момент Оливье. Он увлек меня на улицу:

— Я и не знал, что вы так хорошо знакомы с Азаисами.

Я очень удивил его, сообщив, что в течение двух лет жил у них в пансионе.

— *Как могли вы предпочесть пансион любому* другому устройству независимой жизни?

— Мне казалось это довольно удобным,— ответил я неопределенно, поскольку был не в состоянии объяснить ему, что мысли мои были тогда заняты Лорой и что я согласился бы на какой угодно суровый режим в обмен на наслаждение терпеть его рядом с ней.

— И вы не задыхались в атмосфере этой лавочки?

Поскольку я ничего не ответил, он продолжил:

— Кстати, и я тоже не очень хорошо понимаю ни то, как я сам терплю, ни то, как я там оказался... Но я на полупансионе. Этого мне более чем достаточно.

Мне пришлось рассказать ему про дружбу, связывавшую с управляющим этой «лавочки» его деда, память о котором впоследствии и определила выбор его матери.

— Впрочем,— добавил он,— мне трудно сравнивать; очевидно, все эти теплицы одна другой стоят; если верить тому, что мне говорили, то я вполне готов допустить, что большинство других еще хуже. И все же я буду рад оттуда выйти. Я бы вообще не пошел туда, если бы не пришлось наверстывать время, которое я проболел. Уже давно я хожу туда только из-за дружеских чувств к Арману.

Я узнал тогда, что этот младший брат Лоры был его одноклассником. Я сказал Оливье, что я с ним почти совсем не знаком.

— А ведь он самый умный и самый интересный из всей семьи.

— То есть он тебя интересует больше всех остальных?

— Нет, нет, уверяю вас, он действительно очень занятен. Если хотите, можно сейчас пойти побеседовать с ним в его комнату. Надеюсь, он не будет стесняться вас.

Мы подошли к пансиону.

Ведели-Азаисы заменили традиционный свадебный обед менее накладным простым чаем. Для основной массы приглашенных отвели гостиную и кабинет пастора Ве-

деля. В маленький личный салон пасторши доступ был открыт лишь немногим близким друзьям; а чтобы преградить путь всем остальным, дверь между гостиной и этим салоном наглухо заколотили, так что на вопрос гостей о том, как пройти к его матери, Арману приходилось отвечать:

— Через камин.

Народу было много. Все задыхались от жары. Если не считать нескольких «членов преподавательского корпуса», коллег Дувье, общество почти исключительно протестантское. Весьма специфический пуританский душок. В католических и еврейских собраниях, едва присутствующие освоятся, атмосфера обычно бывает столь же тяжелая, а то и еще более удушливая; однако среди католиков чаще наблюдается избыток самомнения, а среди евреев — избыток самоуничижения, на что протестанты, похоже, бывают способны весьма и весьма редко. И если у евреев носы отличаются чрезмерной длиной, то для протестантов характерны носы, лишенные обоняния, такова бесспорная истина. Я и сам не отдавал себе отчета в особом составе окружающей их атмосферы на протяжении всего того времени, пока был в нее погружен. Что-то непередаваемо альпийское, райское и наивное.

В глубине зала — сервированный стол; Рашель, старшая сестра Лоры, и Сара, ее младшая сестра, вместе с несколькими девушками на выданье, их подругами, предлагали чай...

Лора, едва я вошел, сразу же увлекла меня в кабинет своего отца, где уже собрался настоящий синод. Укрывшись в оконной нише, мы могли разговаривать, не опасаясь, что нас подслушают. Там, на краю наличника, мы когда-то написали наши два имени.

— Взгляните-ка. Они по-прежнему здесь,— сказала она мне.— Думаю, они никому не бросились в глаза. Сколько лет было вам тогда?

Над именами мы пометили дату. Я высчитал:

— Двадцать восемь.

— А мне шестнадцать. Десять лет прошло.

Момент для того, чтобы ворошить воспоминания, был выбран не совсем удачно; я старался перевести наш разговор на что-нибудь другое, а она с беспокойной настойчивостью все возвращалась к ним и возвращалась; потом неожиданно, точно боясь растрогаться, спросила меня, помню ли я еще Струвилу.

Струвилу, у которого в пансионе был особый вольный

статус, доставлял в ту пору родителям Лоры немало хлопот. Считалось, что он посещает какие-то уроки, но, когда его спрашивали, какие именно или к каким экзаменам готовится, он небрежно отвечал:

— Разные.

Первое время все желали как-то сгладить его наглые выходки и делали вид, что принимают их за шутки, да и сам он сопровождал их громким смехом; однако его смех звучал все саркастичнее, а его выходки становились все более злыми, и я никак не мог понять, как и почему пастор терпит в своем пансионе такого жильца, предполагал, что либо по финансовым соображениям, либо из-за сохранявшейся у него к Струвилу своего рода привязанности, сочетавшейся с жалостью и еще, может быть, со смутной надеждой на то, что ему удастся его убедить, или, точнее, обратить в свою веру. Не понимал я также и того, почему сам Струвилу, имея возможность жить где угодно, не уходит из пансиона; его-то ведь, похоже, не удерживала там никакая сердечная склонность; правда, может быть, он получал большое наслаждение от перепалок с беднягой пастором, который так плохо отражал удары и всегда позволял своему противнику брать над собой верх.

— Помните, как однажды он спросил папу, оставляет он во время проповеди под облачением пиджак или нет?

— Еще бы! Он спросил это так ласково, что ваш бедный отец не заметил в его словах никакого подвоха. Мы сидели за столом; вижу эту сцену как сейчас...

— И папа простодушно ответил ему, что мантия сделана из тонкой материи и что, сняв пиджак, он рискует простудиться.

— Какую скорбную мину сделал тогда Струвилу! Как пришлось его упрашивать, чтобы он наконец заявил, что, «конечно, это не имеет почти никакого значения», но что все же когда ваш отец делает широкие жесты, то рукава его пиджака высовываются из-под мантии, оставляя неприятное впечатление у некоторых верующих.

— После чего мой бедный папа произнес целую проповедь, плотно прижав руки к туловищу, из-за чего все его красноречие пошло насмарку.

— А в следующее воскресенье он вернулся домой совершенно простуженный, потому что снял в церкви пиджак. Или тот спор о бесплодной смоковнице из Евангелия и о деревьях, не приносящих плодов... «Не фруктовое я дерево, и все тут. Вот тень, это я даю, господин пастор; я бросаю на вас тень».

— Это тоже было сказано за столом.

— Естественно; за столом его только и можно было увидеть.

— Причем сказал он это так зло. Именно тогда дедушка выставил его за дверь. Помните, как он вдруг встал, это он-то, всегда сидевший, уткнув нос в свою тарелку, вытянул руку и сказал: «Выйдите вон!»

— Он выглядел огромным, страшным; он был возмущен. Я совершенно уверен, что Струвилу перепугался.

— Он бросил свою салфетку на стол и выскочил из столовой. Он ушел, не заплатив, и с тех пор мы его больше никогда не видели.

— Интересно было бы узнать, как сложилась у него жизнь.

— Бедный дедушка,— продолжала Лора грустным голосом,— мне он показался в тот день таким красивым. Вы знаете, он вас очень любит. Вам нужно обязательно подняться хоть на минуту к нему в кабинет. Я уверена, что это доставит ему большое удовольствие.

Я записываю все это по свежим следам, уже по опыту зная, как трудно потом бывает воссоздать правильную тональность диалога. Однако начиная с этого момента я стал слушать Лору более рассеянно. Я заметил, правда, на довольно значительном расстоянии Оливье, которого я потерял из виду, когда Лора завела меня в кабинет своего отца. Глаза его блестели, а черты лица были необычайно оживлены. Позднее я узнал, что Сара в шутку заставила его выпить шесть бокалов шампанского подряд. Он был вместе с Арманом, и они вдвоем пробирались сквозь группы людей, догоняя Сару и одну юную англичанку, ровесницу Сары, уже больше года живущую в пансионе Азаисов. Сара и ее подруга выскочили наконец из комнаты, и я увидел через открытую дверь, как юноши бросились за ними вдогонку по лестнице. Я тоже собирался выйти, чтобы исполнить наказ Лоры, но она сделала шаг в мою сторону.

— Послушайте, Эдуар, мне хотелось бы сказать вам еще...—и тут голос ее вдруг стал очень серьезным,—мы теперь, может быть, встретимся не скоро. Мне хотелось бы, чтобы вы повторили... Мне хотелось бы знать, могу ли я рассчитывать на вас... как на друга.

Никогда еще я не испытывал такого желания расцеловать ее, как в этот момент, но я ограничился тем, что нежно и пылко поцеловал ее руку, прошептав:

— Что бы ни случилось.— И чтобы скрыть от нее сле-

зы, которые, я чувствовал, навертываются у меня на глаза, я поторопился отправиться на поиски Оливье.

Тот сидел на ступеньке лестницы рядом с Арманом и ждал, когда я выйду. Несомненно, он был слегка пьян. Он встал и потянул меня за руку.

— Пойдемте,— сказал он мне.— Выкурим по сигаретке у Сары в комнате. Она нас ждет.

— Чуть попозже. Мне нужно сначала зайти к Азаису. Только сам я потом ни за что не найду комнату.

— Боже мой, вы же знаете ее, раньше это была комната Лоры!— вскричал Арман.— Поскольку это одна из лучших комнат в доме, то ее отвели для англичанки, но так как платит она мало, то к ней поселили еще Сару. Для видимости им поставили две кровати, но это совершенно лишнее...

— Не слушайте его,— сказал Оливье, смеясь и толкая его,— он пьян.

— Поговори у меня,— ответил Арман.— Так вы придете, да? Мы вас ждем.

Я пообещал зайти.

С тех пор как старик Азаис начал коротко стричь волосы, он совсем перестал походить на Уитмена. Он предоставил в распоряжение зятя и его семьи второй и третий этажи дома. Из окна своего кабинета (красное дерево, репс, молескин) он видит весь двор и наблюдает за всеми передвижениями учеников.

— Видите, как меня балуют,— сказал он мне, показывая на стоящий на столе огромный букет хризантем, только что оставленный матерью одного из учеников, старинной знакомой семьи. В этой комнате аскетичным был даже сам воздух, и казалось, что цветы в ней должны тотчас увянуть.— Я на минутку покинул общество. Старею: шум разговоров меня утомляет. Решил побыть в компании цветов. Они ведь тоже по-своему умеют говорить; они рассказывают о славе Господней получше, чем люди (или что-то в этом роде).

Почтеннейший Азаис и представить себе не может, какую скуку нагоняет он на учеников такими речами; он так искренне все это говорит, что отбивает даже охоту иронизировать. Труднее всего дается мне понимание именно таких вот простых душ вроде Азаиса. Если ты хоть на малую толику менее простодушен, чем они, то, когда ты сталкиваешься с ними, тебе неизбежно приходится играть комедию; занятие не слишком благородное, ну а что де-

лать? Спорить, вместе искать решение с ними невозможно; приходится всегда соглашаться. Азаис вынуждает лицемерить буквально всех, кто не разделяет его убеждений. Общаясь с его семьей, я поначалу возмущался, когда видел, что внуки ему врут. Однако мне самому тоже пришлось последовать их примеру.

Пастор Проспер Ведель слишком занят; г-жа Ведель глуповата, погружена в поэтически-религиозную мечтательность и лишена какого бы то ни было чувства реальности; поэтому и воспитание, и образование молодых людей старик взял в свои руки. В те времена, когда я жил у них в пансионе, мне регулярно, раз в месяц, приходилось наблюдать сцену бурного выяснения отношений, заканчивавшуюся патетическими заявлениями:

— Отныне мы будем говорить друг другу все. Мы вступаем в новую эру откровенности и искренности. (Он нередко произносит сразу несколько слов, означающих одно и то же,— старая привычка, оставшаяся у него с тех пор, когда он был пастором.) Мы откажемся от задних мыслей, от тех нехороших мыслей, что возникают где-то у нас за спиной. Мы сможем смотреть друг другу прямо в лицо, прямо в глаза. Ведь так? Договорились.

После чего он погружался еще глубже в свою бесхитростность, а его дети — в ложь.

Эти речи бывали обращены главным образом к одному из братьев Лоры, который был на год ее моложе, страдал от избытка жизненных соков и пробовал себя в любви. (Потом он занимался коммерцией где-то в колониях, и я потерял его из виду.) Однажды вечером, когда старик снова повторил свою тираду, я отправился к нему в кабинет и попытался объяснить ему, что, добиваясь столь неукоснительно искренности от своего внука, он тем самым его от нее отвращает. Азаис тогда едва не вспылил:

— От него требуется только одно: не делать ничего такого, в чем ему стыдно признаваться! — вскричал он тоном, не допускающим возражений.

А между тем это прекраснейший человек, более того — образец нравственности и, что называется, золотое сердце; вот только суждения у него детские. Его большое уважение ко мне основывается на том, что у меня, по его сведениям, нет любовницы. Он не скрыл от меня, что предпочел бы, чтобы на Лоре женился я; он выразил сомнение в том, что Дувье — тот человек, который ей нужен, и несколько раз повторил мне: «Ее выбор меня удивляет», потом добавил: «Ну да, в конце концов, мне кажется, он

честный молодой человек... Как вы считаете?..» На что я ответил: «Несомненно».

По мере того как душа погружается в благочестие, она утрачивает чувство реальности, потребность в ней, склонность и любовь к реальности. То же самое я заметил и у Веделя во время наших редких встреч с ним. Ослепленные своею верой, они уже больше не видят ни окружающего их мира, ни самих себя. А поскольку для меня нет ничего дороже возможности видеть отчетливо то и другое, то я буквально цепенею, когда натыкаюсь на плотную завесу лжи, столь милую сердцу святош.

Мне хотелось поговорить с Азаисом об Оливье, но он больше всего интересуется маленьким Жоржем.

— Не показывайте вида, что вам известно то, что я сейчас вам расскажу,— начал он,— хотя, впрочем, все это только к его чести... Представьте себе, ваш юный племянник и некоторые из его друзей создали нечто вроде небольшой ассоциации, лигу взаимного соревнования; они допускают туда только тех, кто, по их мнению, достоин этого и кто доказал свою добродетель на деле; своего рода детский Почетный легион. Не очаровательно ли, как вам кажется? Каждый из них носит в петлице маленькую ленточку, правда не очень бросающуюся в глаза, но я ее все-таки заметил. Когда я пригласил мальчика к себе в кабинет и стал расспрашивать, что это за значок, то он поначалу смутился. Малыш ожидал какого-нибудь выговора. Потом он рассказал мне, очень сбивчиво и постоянно краснея, про то, как они организовали свой маленький клуб. Понимаете, это вещи, над которыми не следует смеяться, иначе вы рискуете неловко задеть какие-то весьма деликатные струны... Я спросил его, почему он и его друзья не делают этого совершенно открыто, на виду у всех. Я сказал ему, какой удивительный и сильный пример они могли бы показать другим, скольких людей могли бы направить на путь истинный, какую прекрасную роль они могли бы играть... Но в этом возрасте все ведь любят таинственность... Чтобы расположить его к себе, я рассказал ему, что в мое время, то есть когда мне было столько же лет, сколько ему сейчас, я тоже состоял в такого же рода обществе, все члены которого красиво назывались «рыцарями долга»; каждый из нас получал от президента лиги тетрадь и записывал туда с абсолютным чистосердечием свои проступки и оплошности. Он улыбнулся, и я понял, что эта история с тетрадками подсказала ему какую-то мысль; я не захотел настаивать, но не уди-

вился бы, если бы он ввел эту систему тетрадей среди своих соревнующихся. Видите ли, к детям нужно найти подход, а для этого важно показать, что понимаешь их. Я пообещал ему не проронить ни слова его родителям, но одновременно попытался убедить его самому все рассказать матери, которую все это очень бы порадовало. Только, похоже, они поклялись друг другу хранить тайну. Так что настаивать было бы неразумно. Но перед тем как расстаться, мы вместе помолились Господу, чтобы он благословил их общество.

Бедный славный старикан Азаис! Я совершенно убежден, что проказник обвел его вокруг пальца и не сказал ему ни слова правды. Да ведь разве мог Жорж поступить как-нибудь по-другому?.. Нужно попытаться выяснить, что там у них такое на самом деле.

Сначала я даже не узнал комнаты Лоры. Ее оклеили новыми обоями, и все в ней стало каким-то другим. Неузнаваемой мне показалась также и Сара. А ведь я-то считал, что хорошо ее знаю. Она всегда была со мною весьма откровенна. С самого начала я был для нее тем, кому можно сказать все. Однако со времени моего последнего визита к Веделям прошло уже много месяцев. Ее платье оставляло открытыми шею и руки. Сара выглядела повзрослевшей, более уверенной в себе. Она сидела на одной из двух кроватей рядом с Оливье, который небрежно разлегся и казался спящим. Конечно, он был пьян, и, конечно, мне было больно видеть его в таком состоянии, но все же в этот момент он показался мне еще более красивым, чем когда бы то ни было раньше. Ну а пьяными в той или иной степени они были все четверо. Малейькая англичанка безудержно смеялась, внимая абсурдным речам Армана, смеялась так пронзительно, что делалось больно ушам. А тот говорил что придет на ум, возбужденный и польщенный этим смехом, соревнуясь с ним в глупости и вульгарности; он притворялся, что хочет зажечь сигарету от пламенеющего румянца щек Сары и Оливье, или же делал вид, что обжег себе пальцы, когда пытался нахальным жестом сблизить и заставить соприкоснуться их лбы. Оливье и Сара с готовностью участвовали в этой игре, наблюдать за которой мне было крайне тягостно. Однако я забегаю вперед...

Оливье все еще притворялся спящим, когда Арман неожиданно спросил меня, что я думаю о Дувье. Я сидел в низком кресле, и меня забавляло, возбуждало и одно-

временно тревожило зрелище их опьянения и бесцеремонности; впрочем, то, что они пригласили меня в свою компанию именно тогда, когда мое присутствие в ней могло казаться совершенно неуместным, мне льстило.

— Вот эти присутствующие здесь барышни...— продолжил он, когда я не нашелся, что ответить, и, чтобы не выпадать из общей тональности, доброжелательно улыбнулся. В этот момент англичанка захотела помешать ему говорить и кинулась к нему, чтобы зажать ему рот рукой, но он вырвался и крикнул:

— Эти барышни выходят из себя при мысли, что Лоре придется с ним спать!

Англичанка выпустила его и сказала с деланным негодованием:

— О! Не верьте ни одному его слову. Он просто лгун.

— Я постарался объяснить им,— продолжал Арман более спокойным тоном,— что, имея всего двадцать тысяч франков приданого, рассчитывать найти что-нибудь получше было практически невозможно и что, будучи истинной христианкой, она должна была, как говорит наш папаша-пастор, принимать во внимание главным образом душевные качества. Да, дети мои. Ну а кроме того, что сталось бы с продолжением рода человеческого, если бы всех мужчин, не обладающих внешностью Адониса или, скажем, дабы перенестись в более позднюю эпоху, внешностью Оливье, приходилось бы обрекать на безбрачие.

— Что за идиот...— прошептала Сара.— Не слушайте его; он уже не соображает, что говорит.

— Я говорю правду.

Еще ни разу я не слышал, чтобы Арман высказывался в таком духе; я его считал, да и сейчас считаю человеком чутким и деликатным, и вульгарность его показалась мне явно напускной, связанной отчасти с опьянением, а еще больше — с потребностью повеселить англичанку. Ну а та, обладая, бесспорно, симпатичной внешностью, умом, должно быть, не блистала: иначе не воспринимала бы эти скабрезности с таким восторгом; вот только чем эта компания сумела привлечь Оливье?.. И я дал себе слово, что, как только останусь с ним наедине, выскажу свое неодобрение.

— А вот вы,— продолжил Арман, резко повернувшись ко мне,— человек, который деньгами не очень дорожит, имеет их столько, что хватает на все, вплоть до благородных чувств, скажите-ка нам, почему вы не женились

на Лоре, хотя и вы вроде бы любили ее, и она не скрывала своих нежных чувств к вам.

Оливье, который до этого момента притворялся спящим, открыл глаза; наши взгляды встретились, и не покраснел я лишь потому, что никто из присутствующих был не в состоянии наблюдать за мной.

— Арман, ты невыносим,— сказала Сара, как бы помогая мне выйти из затруднительного положения, так как я не находил, что ответить. Потом она прилегла на этой же кровати, на которой сидела, вытянулась рядом с Оливье, так что их головы соприкоснулись. Арман тотчас вскочил, схватил прислоненную к стене рядом с кроватью большую складную ширму и, паясничая, развернул ее, чтобы закрыть лежащую пару, потом наклонился ко мне и, продолжая клоунаду, громко сказал:

— А вы, наверное, и не знали, что у меня сестра шлюха?

Это было уж слишком. Я встал, опрокинув ширму, за которой Оливье и Сара тут же сели. У нее растрепались волосы. Оливье встал, подошел к раковине и смочил лицо водой.

— Идите-ка сюда. Я хочу вам кое-что показать,— сказала Сара, взяв меня за руку.

Она открыла дверь и увлекла меня на лестничную площадку.

— Я подумала, что писателю это может быть интересно. Мне тут случайно попала в руки одна записная книжка, папин личный дневник; не понимаю, как можно оставлять такую вещь где попало. Его мог прочитать вообще кто угодно. А я взяла его, чтобы он не попался на глаза Арману. Не говорите ему о нем. Это займет у вас совсем немного времени. Вы успеете его прочитать за десять минут и, уходя, отдадите мне обратно.

— Но, Сара,— сказал я, пристально глядя на нее,— ведь это же ужасно неэтично.

Она пожала плечами.

— О! Если вы так полагаете, то вам придется разочароваться. Здесь есть только одно интересное место, да и то... Вот, сейчас я вам покажу.

Она вытащила из-за пояса крошечную записную книжку четырехлетней давности, чуть полистала и протянула мне ее раскрытой, указывая на одно место.

— Читайте скорее.

Я увидел сначала дату и под ней в кавычках цитату из Евангелия: «Верный в малом будет верен в великом»,

а дальше: «Зачем постоянно откладывать на завтра свое решение бросить курить? Хотя бы ради Мелани (это ласторша); чтобы она перестала сокрушаться. Господи, дай мне сил сбросить бремя этого позорного рабства». (Кажется, я цитирую точно.) Затем речь шла о борениях, заклинаниях, мольбах, усилиях — естественно, тщетных,— так как они повторялись изо дня в день. Я перевернул еще одну страницу, и тема внезапно сменилась.

— Довольно трогательно, не правда ли? — произнесла Сара с едва заметной гримаской иронии, когда я закончил чтение.

— Все это гораздо интереснее, чем вы думаете,— не удержался я, хотя тут же упрекнул себя за то, что обсуждаю с ней это.— Представьте себе, всего неделю назад я спросил вашего отца, пробовал ли он когда-нибудь бросить курить. Мне стало казаться, что я сам слишком много курю, и вот... Короче, знаете, что он мне ответил? Сначала он мне сообщил, что вредное действие табака, по его мнению, сильно преувеличивают и что сам он этого действия никогда не ощущал, а потом, когда я повторил свой вопрос, наконец сказал: «Да, раза два или три я решал прекратить курение на некоторое время».— «И вам это удавалось?» — «Ну, естественно,— ответил он, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся,— коль скоро я решил...»

— Это просто удивительно! Скорей всего, у него вылетело из головы,— добавил я, не желая показывать перед Сарой свои подозрения в лицемерии.

— Можно еще предположить,— сказала Сара,— что слово «курить» употребляется здесь вместо какого-нибудь другого.

Право, Сара ли это сказала? Я был ошеломлен. Я смотрел на нее, стараясь и одновременно отказываясь понимать... В этот момент из комнаты вышел Оливье. Он причесался, привел в порядок свою одежду и выглядел теперь более спокойным.

— Может быть, пойдем? — сказал он, не боясь показаться невежливым по отношению к Саре.— Уже поздно.

Мы спустились по лестнице, и, когда оказались на улице, он заговорил.

— Боюсь, что у вас может сложиться не совсем правильное представление,— сказал он.— Вы можете подумать, что я влюблен в Сару. Отнюдь... О! Я бы не сказал, что она мне противна!.. Просто я не влюблен в нее.

Я взял его за руку и молча пожал ее.

— Об Армане тоже не нужно судить по тому, что он сегодня наговорил вам,— продолжил он.— Это у него нечто вроде роли... которую он играет совершенно непроизвольно. На самом деле он вовсе не такой. Мне трудно объяснить вам. Просто у него такая потребность — низвергать все, что ему наиболее дорого. Он стал таким совсем недавно. Мне кажется, он очень несчастен и занимается зубоскальством, чтобы скрыть это. Он очень гордый. Родители совсем его не понимают. Они собирались сделать из него пастора.

Эпиграф для одной из глав «Фальшивомонетчиков»:

«Семья... эта клетка общества»
Поль Бурже (в разных местах)

Название главы: Режим одиночного заключения.

Разумеется, нет такой тюрьмы (духовной), из которой не сумел бы вырваться на волю могучий интеллект; и ничто из того, что вызывает бунт, не является непременно опасным — хотя бунт может исказить характер (он его гнет, потрясает, поднимает на дыбы и подстрекает к неблаговидным уловкам), и к тому же ребенок, отказывающийся покоряться влиянию семьи, тратит на освобождение от этого влияния самые свежие свои силы. Однако то самое воспитание, которое неволит ребенка, одновременно помогает ему набирать силу. Наиболее жалкая судьба выпадает на долю заласканных детей. Ведь какой нужен сильный характер, чтобы возненавидеть того, кто вам льстит. Сколько я повидал родителей (особенно матерей), поощряющих у детей развитие самых что ни на есть нелепых страхов и антипатий, передающих им свои собственные недопонимания, заблуждения и предрассудки... Например, за столом: «Не ешь это, ты же видишь, здесь сплошное сало. Сними шкурку. А это недожарено...» Или вечером, на улице: «О! Летучая мышь... Быстро надень шляпу, не то мышь вцепится тебе в волосы». И так далее... Если им верить, то майские жуки кусаются, кузнечики жалят, а от дождевых червей бывают прыщи. Причем одна и та же глупость во всех областях: и в интеллектуальной, и в нравственной, везде.

Позавчера, когда я ехал в поезде по окружной железной дороге из Отея, я слышал, как одна молодая мамаша ласково шептала на ухо девочке лет десяти:

— Ты да я, я да ты, а на остальных нам наплевать.

(О, я прекрасно понимаю, что то были люди из наро-

да, но ведь и народ тоже имеет право на наше негодование. А муж — может быть, даже и не рогатый — сидел спокойненько в углу вагона и смиренно почитывал газетку.)

Можно ли себе представить более коварную отраву?

Будущее принадлежит незаконнорожденным. Правильнее было бы говорить не «незаконнорожденный» ребенок, а «естественнорожденный». Только он, по сути, и имеет право на естественность.

Семейный эгоизм... он почти столь же отвратителен, как и эгоизм индивидуальный.

6 ноября. Я никогда ничего не мог выдумать. Но зато я поступаю с действительностью так, как художник с натурщиком, когда он ему говорит: «Сделайте-ка вот такое движение» или «мне нужно, чтобы у вас было вот такое выражение лица». Коль скоро мне хорошо известны скрытые пружины натурщиков, поставляемых мне обществом, то я могу заставить их действовать по моему велению или же, на худой конец, могу поставить перед ними такие задачи, которые они, поколебавшись, как-то решат, а я благодаря их действиям узнаю что-то новое. Мучительная потребность влиять на их судьбы, вмешиваться в происходящее объясняется прежде всего тем, что я писатель. Будь у меня побольше воображения, интриги рождались бы в моей голове, а так мне приходится сначала провоцировать их и затем наблюдать за актерами, писать под их диктовку.

7 ноября. Все, что я вчера написал,— неправда. Не подлежит сомнению лишь то, что к действительности я подхожу как к пластическому материалу и что события, которые могли бы произойти, интересуют меня гораздо больше, чем те, которые уже произошли. У меня кружится голова от созерцания возможностей, таящихся в каждом человеке, и мне горько сознавать, что часть из них погибнет под колпаком моральных запретов».

Бернару пришлось прервать чтение. У него рябило в глазах. Ему стало вдруг не хватать воздуха, словно он забывал дышать все то время, пока читал,— настолько обострилось его внимание. Он открыл окно и, прежде чем снова погрузиться в чтение, наполнил легкие воздухом.

Естественно, он испытывал к Оливье самые горячие дружеские чувства; у него не было лучшего друга, чем он, и никого на свете он не любил так сильно, как его, потому

что любить своих родителей он не мог; пожалуй, временами его привязанность была даже какой-то чрезмерной; однако при этом он и Оливье понимали дружбу несколько по-разному. По мере того как он углублялся в чтение, Бернар все больше удивлялся и все больше восхищался — хотя к восхищению примешивалась какая-то горечь — многоликостью своего друга, которого, как ему до этого казалось, он так хорошо изучил. Дневник поведал ему о вещах, о которых Оливье никогда не рассказывал. Бернар едва-едва подозревал о существовании Армана и Сары. Насколько же по-разному вел себя Оливье по отношению к ним и к нему!.. Узнал ли бы он своего друга, доведись ему увидеть его там, на той кровати в комнате Сары? К непреодолимому любопытству, с которым он читал дневник, примешивалось какое-то смутное беспокойство: не то отвращение, не то досада. Нечто вроде досады, только что испытанной им, когда он увидел Оливье, идущим под руку с Эдуаром, досады от того, что он не с ними. Такого рода досада — как, впрочем, и любая другая досада — может завести человека весьма далеко, может стать причиной очень многих глупостей.

Ну да ладно. Все, что я здесь сказал, имело целью лишь немного проветрить мозги в промежутке между чтением страниц этого дневника. А теперь, когда Бернар глотнул хорошую порцию воздуха, вернемся к нашему занятию. Вот он снова погружается в чтение.

XIII

Дневник Эдуара

От стариков немного проку.

Вовенарг

«8 ноября. Престарелая чета Лаперузов снова сменила квартиру. Их новое жилье, где я еще ни разу не был, располагалось на антресолях одного из домов в закоулочке, образуемом улицей Фобур-Сент-Оноре перед ее пересечением с бульваром Осман. Я позвонил. Дверь открыл сам Лаперуз. Он был без пиджака, а на голове у него находилось нечто вроде белого с желтизной колпака, в котором я, присмотревшись, узнал старый чулок (должно быть, госпожи Лаперуз); завязанный узлом конец его болтался наподобие кисточки у его щеки. В руке он держал кочергу.

Он явно занимался печными делами, и поэтому, видя его легкое замешательство, я сказал:

— Может быть, мне лучше зайти попозже?

— Нет, нет... Входите вот сюда.— И он втолкнул меня в узкую, продолговатую комнату с двумя окнами, выходившими на улицу как раз на уровне уличного фонаря.— Ко мне должна была прийти именно сейчас (было шесть часов) одна ученица, но она мне телеграфировала, что не придет. Я очень счастлив видеть вас.

Он положил кочергу на стоявший рядом столик и, как бы извиняясь за свой наряд, сказал:

— Служанка госпожи де Лаперуз, когда уходила, оставила печку прогорать, а раз она теперь придет только утром, мне пришлось выгребать золу...

— Хотите, помогу вам растопить?

— Нет, нет... Вы можете испачкаться... Вот только позвольте мне сходить за пиджаком.

Он вышел, мелко-мелко перебирая ногами, и почти мгновенно вернулся, облаченный в тоненький альпаковый пиджачок с оборванными пуговицами, с протертыми локтями, до такой степени изношенный, что его стыдно было бы вручить даже нищему. Мы сели.

— Ну как, изменился я, да?

Я хотел было протестовать, но у меня просто не находилось слов — настолько тягостное впечатление производила страдальческая гримаса, застывшая на его когда-то таком красивом лице. Он продолжал:

— Да, в последнее время я очень постарел. Иногда случаются провалы в памяти. Когда я показываю, как нужно играть какую-нибудь баховскую фугу, мне даже в ноты приходится смотреть...

— Для многих молодых то, чем вы по-прежнему владеете, составляет предел мечтаний.

Он покачал головой и сказал:

— О! Если бы слабела одна только память. А то иду я вот по улице, и мне кажется, что довольно быстро иду, а меня все обгоняют...

— Дело в том,— возразил я ему,— что теперь люди ходят гораздо быстрее.

— А! Не правда ли?.. Причем то же самое на уроках, которые я даю: моим ученицам кажется, что мы продвигаемся слишком медленно; им хочется идти быстрее меня. И они меня покидают... Теперь все спешат.

Он добавил так тихо, что я еле расслышал:

— У меня их почти не осталось.

И такое в его голосе мне послышалось отчаяние, что расспрашивать его я не решился. А он продолжал:

— Госпожа де Лаперуз никак не хочет этого понять. Она говорит мне, что я делаю все не так, как надо, что я не предпринимаю ничего, чтобы их удержать, и еще меньше, чтобы привлекать новых.

— А эта ученица, которую вы ожидали?..— спросил я неловко.

— О! Эту я готовлю в консерваторию. Она приходит ко мне заниматься каждый день.

— То есть вы хотите сказать, что учите ее бесплатно?

— Госпожа де Лаперуз постоянно меня за это укоряет. Она не понимает, что как раз только такие уроки меня и интересуют, да, настоящее удовольствие получаешь лишь от уроков, которые... даешь даром. В последнее время я много думаю. Да... и вот что я хотел бы у вас спросить: почему в книгах так редко пишут о стариках?.. Это происходит, мне кажется, оттого, что старые люди уже бывают не способны о них писать, а когда человек молод, то ему до них нет дела. Старики никому не интересны... А ведь о них можно рассказать прелюбопытнейшие вещи. Взять, например, некоторые поступки из моей прошлой жизни, которые я начинаю понимать только сейчас. Да, я только сейчас начинаю понимать, что они имели совсем иной смысл, чем тот, который я им придавал, когда совершал их... Только теперь я понял, что всю свою жизнь *оказывался в дураках. Госпожа де Лаперуз меня околпачивала*, мой сын меня околпачивал, все меня околпачивали, и Бог тоже меня околпачивал...

Смеркалось. Я уже почти не различал лица моего старого учителя; но вот внезапно на улице зажегся фонарь, и я увидел, что щека его блестит от слез. Я было забеспокоился, заметив у него на виске странное пятно, похожее на впадину или на отверстие, но когда он слегка пошевелился, пятно переместилось, и я понял, что это была всего лишь тень одной розетки балюстрады. Я прикоснулся к его исхудалой руке — он дрожал.

— Вы простудитесь, — сказал я ему.— Вы действительно не хотите, чтобы я помог вам растопить печку?.. Давайте-ка попробуем.

— Нет... Нужно закаляться.

— Как так? Вы становитесь стоиком?

— В какой-то мере. Я никогда не носил шейного платка именно потому, что у меня было слабое горло. Я всегда боролся с самим собой.

— Это неплохо, если удается одержать победу, ну а вдруг тело не выдержит...

Он взял меня за руку и сказал серьезным тоном, словно сообщая мне какую-то тайну:

— Вот это-то и была бы настоящая победа.

Он отпустил мою руку и продолжал:

— Я боялся, что вы уедете, не повидавшись со мной.

— Куда уеду? — спросил я.

— Не знаю. Вы же так много путешествуете. Я хотел бы вам сказать одну вещь... Я ведь тоже скоро собираюсь отправиться в путь.

— Вот как! Вы хотите попутешествовать? — сказал я неловко, притворившись, что, несмотря на загадочную серьезность и торжественность его голоса, не догадался, что он имеет в виду. Он покачал головой:

— Вы прекрасно понимаете, что я хочу сказать... Да, да, я знаю, что это уже не за горами. Я сейчас начинаю зарабатывать меньше, чем расходую на то, чтобы жить, и это для меня невыносимо. Есть определенная граница, которую я дал себе слово не переступать.

Он говорил несколько взвинченным тоном, который встревожил меня:

— Неужели и вы тоже считаете, что это дурно? Я никогда не мог понять, почему религия запрещает нам это. Последнее время я очень много размышлял. Когда я был молод, то вел весьма суровый образ жизни, и всякий раз, как мне удавалось не поддаться очередному искушению, я радовался силе своего характера. Тогда мне было невдомек, что, стремясь к освобождению и веря в него, я все больше и больше превращался в раба собственной гордыни. Каждая из этих побед над собой означала новый поворот ключа в замке от моей темницы. Именно это я имел в виду, когда сказал вам сейчас, что меня околпачил Бог. Он сделал так, что я принял за добродетель свою гордыню. Бог посмеялся надо мной. Он развлекается. Мне кажется, он играет с нами, как кошка с мышью. Он посылает нам искушения, противиться которым, как ему известно, мы не в состоянии, а когда нам все-таки удается устоять, то он мстит нам еще сильнее. Почему он нас так невзлюбил? И почему... Но я вам уже надоел со своими стариковскими вопросами.

Он обхватил голову руками, как обидевшийся ребенок, и молчал так долго, что у меня даже закралось сомнение, не забыл ли он о моем присутствии. Он сидел неподвижно напротив меня, и я боялся нарушить ход его мыслей. Не-

смотря на врывавшийся с улицы шум, у меня было такое ощущение, что в комнате воцарилась необыкновенная тишина, и, несмотря на причудливо, наподобие театральной рампы, освещавший нас снизу вверх фонарь, мне стало казаться, что тени по обе стороны от окна становятся все гуще и гуще, а мрак вокруг нас застывает, словно стоячая вода на сильном морозе, застывает, проникая прямо в сердце. Мне захотелось стряхнуть наконец охватившую меня тоску, я шумно вздохнул и, подумывая о том, как бы уйти, готовый уже проститься с хозяином, спросил из вежливости и чтобы рассеять злые чары:

— Как поживает госпожа де Лаперуз?

Старик, казалось, очнулся от сна. Сначала он повторил с вопросительной интонацией:

— Госпожа де Лаперуз?..— Можно было подумать, что эти слоги утратили для него всякий смысл; потом, наклонившись ко мне, вдруг произнес:

— Госпожа де Лаперуз сейчас переживает ужасный кризис... и я из-за этого очень страдаю.

— Кризис чего?..— спросил я.

— О! Да ничего,— сказал он, пожимая плечами, как о чем-то само собой разумеющемся.— Она уже почти совсем сошла с ума. Не знает, что еще и придумать.

Я давно подозревал о существовании глубокой трещины, разделявшей эту старую чету, но узнать какие-либо подробности совершенно не надеялся.

— Бедный, бедный мой друг,— сказал я сочувственно.— И... уже давно?

Он на мгновение задумался, словно не совсем понял мой вопрос.

— О! Очень давно... с тех пор, как я ее знаю.— Однако тут же спохватился.— Нет, по правде сказать, все стало портиться после того, как у нас родился сын.

Я жестом выразил свое удивление, поскольку мне казалось, что у Лаперузов не было никаких детей. Он поднял голову, которую все еще держал в руках, и начал более спокойным тоном:

— Я никогда вам не говорил о своем сыне?.. Тогда послушайте, мне хочется вам рассказать. Настало время, когда вы должны узнать все. То, что вы сейчас услышите, я могу рассказать только вам, и никому другому... Да, все началось с воспитания моего сына; видите, как долго это тянется. Поначалу у нас была чудесная семейная жизнь. Я был весьма чист, когда женился на госпоже де Лаперуз. Я любил ее невинно... именно так, это самое подходящее

слово, и я не желал видеть в ней абсолютно никаких недостатков. Однако мы расходились в вопросе воспитания детей. Всякий раз, как я хотел наказать сына, госпожа Лаперуз брала его сторону против меня; послушать ее, так нужно было ему прощать буквально все. Они все время сговаривались между собой против меня. Она приучила его лгать... Едва ему исполнилось двадцать лет, как он завел себе любовницу. Это была одна моя ученица, молоденькая русская, очень хорошая музыкантша, к которой я сильно привязался. Госпожа де Лаперуз была в курсе, а от меня они по обыкновению все скрывали. Так что, естественно, я даже и не заметил, когда она забеременела. Честное слово, я не догадывался ни о чем. В один прекрасный день мне сообщили, что моей ученице нездоровится, что в течение некоторого времени она не будет заниматься. А когда я изъявил желание пойти проведать ее, то мне сказали, что она переехала на другую квартиру, что она отправилась путешествовать... Только гораздо позже мне стало известно, что она ездила в Польшу рожать. И мой сын отправился к ней... Они прожили вместе несколько лет, но он умер, не успев жениться на ней.

— А... ее, вы видели ее потом?

Он сделал такое движение, как будто уперся лбом в какое-то препятствие:

— Я не мог простить ей ее обмана. Госпожа де Лаперуз продолжает с ней переписываться. Когда мне стало известно, что она впала в крайнюю нужду, я послал ей денег... из-за малыша. Но госпожа де Лаперуз ничего об этом не знает. Да и та тоже получила деньги, не зная, что они от меня.

— Ну а ваш внук?..

По его лицу скользнула странная улыбка, он встал.

— Подождите минутку, я сейчас покажу его фотографию.— И он снова вышел, вытянув вперед голову и быстро семеня ногами. Когда он вернулся и стал отыскивать фотокарточку в большом бумажнике, пальцы его дрожали. Он наклонился ко мне и, протягивая мне ее, тихо-тихо произнес:

— Я взял ее у госпожи де Лаперуз так, чтобы она не заметила. Она думает, что потеряла ее.

— Сколько ему лет?—спросил я.

— Тринадцать. А кажется старше, не правда ли? Он очень хрупкий.

Его глаза опять наполнились слезами; он потянулся рукой к фотографии, как бы желая поскорее взять ее

обратно. Я склонился над ней, повернув к тускловатому свечению фонаря; мне показалось, что ребенок похож на моего собеседника; я узнал большой выпуклый лоб старого Лаперуза, его мечтательные глаза. Я сказал ему об этом, надеясь сделать приятное, но он запротестовал:

— Нет, нет, он похож на моего брата, на моего покойного брата...

На ребенке была странно смотревшаяся русская рубашка с вышитым воротником.

— Где он сейчас живет?

— Откуда же мне знать? — вскричал Лаперуз с каким-то отчаянием в голосе.— Я же вам сказал, что от меня все скрывают.

Он забрал у меня фотографию и, немного задержав на ней свой взгляд, снова положил ее в бумажник, который сунул себе в карман.

— Когда его мать бывает в Париже, она встречается только с госпожой де Лаперуз, которая, если я задаю ей такой вопрос, отвечает: «Вы можете спросить об этом у нее самой». Она так говорит, но в глубине души очень бы расстроилась, если бы я с ней встретился. Она всегда была ревнива. Как только я привязывался к чему-нибудь или к кому-нибудь, у нее сразу возникало желание у меня это отнять... Маленький Борис учится в Польше, если не ошибаюсь, в одной из варшавских гимназий. Но он часто путешествует со своей матерью.— Потом добавил с какой-то одержимостью: — Скажите, поверили бы вы, что можно любить ребенка, ни разу его не видев?.. Так вот, нет сейчас на свете существа более дорогого мне, чем этот малыш... А он об этом ничего не знает!

Его слова прерывались громкими рыданиями. Он привстал со своего стула и бросился, почти упал в мои объятия. Я сделал бы все, что угодно, лишь бы облегчить его страдания, но только что я мог сделать? Я встал, так как почувствовал, что его худое тело скользит вниз, и испугался, что он упадет на колени. Я поддержал его, прижал к себе и стал баюкать, как ребенка. Он пришел в себя. В соседней комнате послышался голос госпожи де Лаперуз.

— Она сейчас придет сюда... Вам ведь не очень хочется встречаться с ней, ведь нет?.. К тому же она совершенно оглохла. Уходите скорее.— Он проводил меня на лестничную площадку и, расставаясь, сказал: — Навещайте меня почаще (в голосе его слышалась мольба). Прощайте, прощайте.

9 ноября. Одна разновидность трагического, как мне кажется, почти совсем ускользнула от внимания литературы. Роман занимался превратностями судьбы, счастливыми либо неблагоприятными обстоятельствами, социальными отношениями, столкновением страстей, характерами, но отнюдь не исконной сущностью человека.

А ведь еще христианство пыталось перенести драму в область нравственности. Однако собственно христианских романов не существует. Есть, правда, такие, которые пишутся с целью преподнести урок морали, но это не имеет ничего общего с тем, о чем я говорю. Нравственный трагизм хорошо передан в евангельском выражении: «Если же соль станет пресной, как сделать ее соленой?» Меня интересует именно этот трагизм.

10 ноября. Оливье предстоит сдавать экзамены. Полине хотелось бы, чтобы он поступал потом в Эколь Нормаль. Вся его карьера расписана заранее... Ну почему бы ему не быть сиротой, у которого нет ни родителей, ни поддержки: я бы тогда взял его к себе секретарем. Только ему совсем нет до меня дела, он не замечает моего к нему интереса, а скажи я ему про это, иаверняка бы смутился. Именно поэтому, чтобы его не смущать, я напускаю на себя при нем безразличие и ироническую непринужденность. Я решаюсь спокойно смотреть на него только тогда, когда он меня не видит. Иногда мне случается идти украдкой за ним по улице. Например, вчера я шел так сзади него, а он вдруг резко повернулся и пошел в обратную сторону, и я даже не успел спрятаться.

— Куда это ты так спешишь?— спросил я его.

— О! Никуда. Самый деловой вид у меня почему-то как раз тогда, когда я брожу без цели.

Мы прошлись немного вместе, но так ничего и не сказали друг другу. Скорее всего, ему эта встреча со мной была неприятна.

12 ноября. У него есть родители, старший брат, товарищи... Я повторяю себе это целый день, осознавая, что я здесь совсем лишний. Если бы ему чего-то не хватало, я, очевидно, смог бы ему помочь, но у него есть все. Он не нуждается ни в чем, и, как ни очаровывает меня его любезность, заблуждаться мне не следует... Ах! Пишу помимо своей воли абсурдную фразу, которая выдает лукавство моего сердца... Завтра отправляюсь в Лондон. Решение уехать я принял внезапно. Пора.

Уехать лишь потому, что испытываешь слишком большое желание остаться!.. Определенное пристрастие к решительным мерам и неприятие снисходительности (разумеется, по отношению к самому себе) — это, возможно, и есть то самое устойчивое в моем пуританском воспитании, от чего мне труднее всего избавиться.

Купил вчера у Смита уже совсем английскую тетрадь, которая будет продолжать эту, где я не хочу больше писать ничего. Новая тетрадь...

Ах, если бы я мог никуда не уезжать!»

XIV

Иной раз жизнь преподносит нам такие приключения, что выпутаться из них можно, лишь будучи немного безумцем.

Ларошфуко

А напоследок Бернар прочитал вложенное в дневник Эдуара письмо Лоры. Его озарило: не могло быть никаких сомнений, что женщина, изливавшая здесь свои печали, как раз и была той самой неутешной возлюбленной, о которой рассказал ему накануне вечером Оливье, той самой покинутой любовницей Венсана Молинье. И он вдруг понял, что благодаря двойной информации, полученной из уст своего друга и из дневника Эдуара, он оказался единственным человеком, которому открылись обе стороны интриги. Сохранить такое преимущество в течение долгого времени невозможно, а значит, действовать нужно было быстро и четко. Бернар мгновенно принял решение: не выпуская из памяти ничего из прочитанного им вначале, все свое внимание он сосредоточил на Лоре.

«Еще сегодня утром, — подумал он, выбегая из комнаты, — я весьма смутно представлял себе, что буду делать дальше, и вот теперь все сомнения рассеялись. Императив у меня, как сказал философ, категорический: спасти Лору. Хотя мой долг, возможно, и не заключался в том, чтобы овладеть чемоданом, теперь, когда чемодан оказался в моих руках, не вызывает сомнения, что со дна его я извлек острое чувство долга. Важно застать Лору раньше, чем она увидится с Эдуаром, причем надо представиться и предстать перед ней так, чтобы ей и в голову не пришло,

что я могу оказаться каким-нибудь мошенником. А дальше все пойдет как по маслу. Сейчас в моем бумажнике достаточно средств, чтобы смягчать удары судьбы с ничуть не меньшим блеском, чем это сделал бы щедрейший и сострадательнейший из Эдуаров. Единственное, что меня сейчас волнует,— это как к ней подойти. Ведь будучи урожденной Ведель, Лора, несмотря на то что забеременела не от мужа, похоже, весьма щепетильна. Мне нетрудно представить себе, что она принадлежит, например, к категории тех женщин, которые артачатся, бросают вам в лицо свое презрение и рвут на мелкие клочки доброжелательно протянутые банкноты, если им вдруг покажется непритязательным конверт. Как предложить ей эти деньги? Как представиться самому? Вот в чем загвоздка. Стоит только свернуть немного в сторону с правильной, торной дороги, как сразу оказываешься в таких зарослях! Право, я еще слишком молод, чтобы участвовать в столь пикантных интригах. Однако же, черт побери! Именно это мне и поможет. Сочиним-ка искреннее признание, какую-нибудь историю, чтобы меня можно было пожалеть и заинтересоваться мною. Трудность заключается в том, что эта же история должна потом послужить мне и в разговоре с Эдуаром; важно не попасться на каких-нибудь противоречиях. Ладно! Что-нибудь сообразим. Положимся на вдохновение, осеняющее в нужный момент...»

Он добрался до улицы Бон, по адресу, который дала Лора. Гостиница оказалась весьма и весьма скромной, но опрятной и с виду приличной. Спросил у портье, куда идти, и поднялся на четвертый этаж. Перед дверью с номером 16 остановился, захотел было как-то подготовиться, стал сочинять фразы, но на ум ничего не приходило, и тогда, напрягши свою волю, он постучал. Голос, показавшийся ему нежным, как у послушницы, и немного робким, произнес:

— Войдите.

На Лоре было очень простое платье, все черное, и можно было подумать, что она в трауре. На протяжении тех нескольких дней, что она находилась в Париже, в ней постоянно жило смутное ожидание чего-то или кого-то, посланного, чтобы вывести ее из тупика. Сомневаться не приходилось: она выбрала не тот путь и в конце концов сбилась с дороги. У нее была нездоровая привычка рассчитывать не столько на самое себя, сколько на случай. Лора была не лишена нравственных устоев, но чувствовала

себя обессилевшей, покинутой. При появлении Бернара она подняла руку к лицу, как бы пытаясь удержать крик или защитить глаза от слишком яркого света. Она была на ногах; увидев его, она отступила на один шаг назад и, оказавшись рядом с окном, схватилась другой рукой за занавеску.

Бернар ждал, что она его о чем-нибудь спросит, а она молчала, ожидая, когда он заговорит. Сердце его бешено колотилось; он смотрел на нее и тщетно старался улыбнуться.

— Извините меня, мадам,— промолвил он наконец,— за то, что я нарушаю ваш покой. Сегодня в Париж приехал Эдуар Х., с которым, насколько мне известно, вы знакомы. Я должен срочно сообщить ему одну вещь и вот подумал, что вы могли бы дать мне его адрес, и... извините меня за то, что я так бесцеремонно пришел, чтобы спросить его у вас.

Будь Бернар не столь молод, Лора, очевидно, страшно перепугалась бы. Но перед ней стоял совсем еще ребенок с такими искренними глазами, с таким ясным лбом, с такими робкими жестами, с таким неуверенным голосом, что страх ее уступил место любопытству, интересу и той неодолимой симпатии, которую внушает всякий наивный и очень красивый человек. Впрочем, по мере того как Бернар говорил, к нему возвращалась уверенность.

— Но я не знаю его адреса,— сказала Лора.— Если он в Париже, то, я надеюсь, он навестит меня без промедления. Скажите, как вас зовут. Я ему передам.

Настал момент поставить на карту все, подумал Бернар. У него в глазах мелькнула какая-то безумная искорка. Он посмотрел Лоре прямо в глаза.

— Как меня зовут?.. Я друг Оливье Молинье...— Он заколебался, все еще оставаясь в плену сомнений, но, увидев, что при этом имени она побледнела, наконец осмелел.— Оливье, брата Венсана, вашего любовника, который так подло вас покидает...

Ему пришлось прервать свою речь: Лора покачнулась. Закинутыми назад руками она лихорадочно искала какую-нибудь опору. Однако что больше всего потрясло Бернара, так это ее стон, какая-то почти нечеловеческая жалоба, похожая скорее на крик раненой птицы (от которого становится стыдно вдруг почувствовавшему себя пачом охотнику), крик настолько странный, настолько отличный от всего, что мог ожидать Бернар, что он вздрогнул. Он внезапно осознал, что оказался здесь свидетелем

реальной жизни, подлинного страдания, тогда как все, что до сих пор происходило с ним самим, было всего лишь рисовкой и игрой. В груди его рождалось какое-то настолько непривычное для него чувство, что он не сумел с ним справиться: оно подступило к самому его горлу.... Что такое? Он рыдает? Возможно ли это? Он, Бернар!.. Он бросился, чтобы поддержать ее, стал перед ней на колени и прошептал сквозь рыдания:

— О! Простите... Простите, я причинил вам боль... я узнал, что вы оказались без средств и... хотел бы вам помочь.

Однако Лора задыхалась и чувствовала, что вот-вот упадет в обморок. Она искала глазами, куда бы сесть. Бернар, не отрывавший от нее взгляда, понял, что ей нужно. Он бросился к маленькому креслу, стоявшему около кровати, порывистым движением придвинул его к ней, и она тяжело упала в него.

Тут случилось одно нелепое происшествие, о котором я не стал бы даже рассказывать, если бы оно неожиданно не сыграло свою роль в налаживании отношений между Бернаром и Лорой и не помогло им выйти из замешательства. Так что я не буду искусственно приукрашивать этот эпизод.

За ту цену, которую Лора платила хозяину гостиницы (я хочу сказать — за ту цену, которую он ей назначил), рассчитывать на то, чтобы находящаяся в номере мебель была элегантной, конечно же, не приходилось, но можно было хотя бы надеяться на ее прочность. Увы, то маленькое, приземистое кресло, которое Бернар пододвинул к Лоре, несколько прихрамывало, то есть имело незаурядную способность подбирать под себя одну из своих ножек, наподобие птиц, подбирающих ногу под крыло; однако то, что естественно для птицы, может оказаться противоестественным и достойным сожаления, когда речь идет о кресле, и поэтому последнее прятало свой дефект под густой бахромой. Лора-то знала об этой особенности стоявшего в ее комнате кресла, знала, что обращаться с ним нужно крайне осторожно, но в своем волнении обо всем забыла и вспомнила только тогда, когда кресло под ней стало опрокидываться. Она издала слабый крик, совсем непохожий на недавнее протяжное стенание, свалилась с сиденья и тут же оказалась сидящей на ковре в объятиях поспешившего ей на помощь и вынужденного опуститься на колени Бернара. А тому было и неловко, и смешно одновременно. Лицо Лоры находилось совсем рядом с его

лицом, и он увидел, как она краснеет. Она попыталась подняться. Он ей помог.

— Вы не ушиблись?

— Нет, спасибо, вы меня спасли. Такое несуразное это кресло, один раз его уже чинили... Думаю, что если поставить ножку опять прямо, то оно будет стоять.

— Сейчас я его исправлю,— сказал Бернар.— Готово!.. Хотите проверить?— Но тут же поправился:— Или позвольте мне... Разумнее будет, если проверю сначала я. Видите, теперь оно стоит очень хорошо. Я могу даже шевелить ногами (что он и сделал, смеясь).— Потом, вставая, сказал:— Садитесь, и, если позволите мне задержаться еще на минуту, я присяду на стул. Я сакусь рядом с вами и не дам вам упасть, так что не бойтесь... Мне хотелось бы сделать для вас что-нибудь еще.

В его словах было столько пыла, в манерах — столько сдержанности, а в жестах — столько изящества, что Лора не смогла удержаться от улыбки.

— Вы мне еще не сказали своего имени.

— Бернар.

— Бернар, а фамилия?

— У меня нет фамилии.

— А как фамилия ваших родителей?

— У меня нет родителей. То есть я такой же, каким будет ребенок, которого вы ждете, я бастард.

Улыбка сразу исчезла с лица Лоры; ее покоробила настойчивость, с которой он пытался войти в ее личную жизнь и отнять у нее ее тайну.

— Это уж слишком, откуда вы знаете?.. Кто вам сказал?.. Вы не имеете права знать...

Бернара, однако, было уже не остановить; он говорил громко и непринужденно.

— Я знаю одновременно и то, что знает мой друг Оливье, и то, что знает ваш друг Эдуар. Но каждый из них знает только одну половину вашей тайны. А я, вероятно, являюсь единственным, кроме вас, человеком, который знает ее целиком... Так что вы понимаете: мы обязательно должны подружиться,— добавил он более ласковым голосом.

— Как все-таки мужчины несдержанны на язык,— с грустью прошептала Лора.— Но ведь... если вы не встречались с Эдуаром, то он никак не мог вам рассказать... Он что, написал вам?.. Это он вас прислал сюда?..

Бернар запутался в своих речах; он говорил слишком быстро, поддавшись искушению немного пофанфаро-

нить. Он отрицательно покачал головой. Лицо Лоры все больше и больше омрачалось. В этот момент послышался стук в дверь.

Хотят люди того или нет, но одновременно возникающие эмоции создают между ними незримую связь. Бернар чувствовал себя попавшим в западню, а Лора досадовала оттого, что ее застали в номере с посторонним. Они посмотрели друг на друга так, как посмотрели бы сообщники. Стук в дверь повторился. Они сказали в один голос:

— Войдите.

Между тем Эдуар, удивившись, что за дверью Лориного номера раздаются какие-то голоса, постоял немного и послушал. Последние фразы Бернара открыли ему глаза на многое. Сомневаться в их смысле не приходилось: ему стало ясно, что произнесший их человек и есть тот вор, который похитил его чемодан. Эдуар тотчас принял решение. Ведь он принадлежал к числу тех людей, чьи способности в монотонной обыденной жизни притупляются, но при столкновении с чем-то неожиданным мгновенно пробуждаются и обостряются. Стало быть, он открыл дверь, но задержался на пороге, улыбаясь и поглядывая то на Бернара, то на Лору, которые оба встали.

— Простите, моя дорогая,— сказал он Лоре, показывая жестом, что хотел бы на некоторое время отложить излияния.— Прежде всего мне нужно сказать несколько слов этому господину, если ему будет угодно выйти со мной на минутку в коридор.

Когда Бернар вышел к нему, улыбка Эдуара стала более ироничной.

— Я так и предполагал, что застану вас здесь.

Бернар понял, что он разоблачен. Ему не оставалось ничего иного, как только положиться на собственную смелость, и, чувствуя, что играет сейчас ва-банк, он сказал:

— Я шел сюда, надеясь здесь встретить вас.

— Ну тогда если вы еще этого не сделали (а мне хочется верить, что вы ради этого и пришли), то первым делом вы сейчас спуститесь вниз и оплатите по счету госпожи Дувье из тех денег, которые вы обнаружили в моем чемодане и которые должны быть при вас. Возвращайтесь сюда не раньше чем через десять минут.

Все это Эдуар произнес довольно строгим голосом, но без каких бы то ни было угрожающих интонаций. Между тем к Бернару возвращалась уверенность в себе.

— Я действительно ради этого и пришел. Вы не ошиблись. И я начинаю верить, что я тоже не ошибся.

— Что вы имеете в виду?

— То, что вы именно такой, каким я вас себе представлял.

Эдуар тщетно пытался принять суровый вид. Ему было страшно смешно. Он изобразил нечто вроде легкого шутливого приветствия:

— Очень тронут. Остается теперь проверить, насколько вы соответствуете моим представлениям. Полагаю, что раз вы здесь, то значит, вы прочитали мои бумаги?

Бернар выдержал, не моргая, взгляд Эдуара, в свою очередь улыбнулся смелой, насмешливой, дерзкой улыбкой и ответил с поклоном:

— Можете не сомневаться. Я к вашим услугам.

Потом, как эльф, устремился к лестнице.

Когда Эдуар вернулся в комнату, Лора рыдала. Он подошел к ней. Она прижалась лбом к его плечу. Внешние проявления чувств всегда смущали его, были ему почти невыносимы. Он поймал себя на том, что ласково похлопывает ее по спине, как закашлявшегося ребенка.

— Бедная моя Лора,— говорил он,— ну не надо, не надо... Будьте умницей.

— Ах! Дайте мне немного поплакать, слезы помогают.

— И все же нужно решить, что вам теперь делать.

— А что я могу делать? Куда я могу пойти? К кому мне обратиться?

— Ваши родители...

— Ну вы ведь знаете их... Это означало бы повергнуть их в отчаяние. Они так старались, чтобы я была счастлива.

— Дувье?

— Я никогда не осмелюсь посмотреть ему в глаза. Он такой добрый. Не думайте, что я не люблю его. Если б вы только знали... Если б вы только знали... О! Скажите мне, что вы меня не очень презираете.

— Напротив, моя маленькая Лора, напротив. Как можете вы так думать?— И он снова принялся похлопывать ее по спине.

— И правда: рядом с вами я больше совсем не чувствую стыда.

— Сколько дней вы уже здесь?

— Даже и не знаю. Я жила только ожиданием вашего

приезда. Временами было просто невмоготу. Сейчас мне кажется, что я не смогу здесь оставаться больше ни дня.

И она опять зарыдала, почти закричала каким-то сдавленным голосом:

— Увезите меня. Увезите меня.

Эдуар чувствовал себя все более и более неловко.

— Послушайте, Лора... Успокойтесь. Этот... ваш... я даже не знаю, как его зовут...

— Бернар,— прошептала Лора.

— Бернар сейчас придет сюда. Ну возьмите же себя в руки. Не нужно, чтобы он вас видел такой заплаканной. Крепитесь. Мы что-нибудь придумаем, я вам обещаю. Ну же! Вытрите глаза. Слезами делу не поможешь. Посмотрите-ка на себя в зеркало. Вы так раскраснелись. Сполосните немножко лицо водой. Когда я вижу, как вы плачете, я не могу ни о чем думать... Ну вот! Он уже идет, я слышу его шаги.

Он подошел к двери, открыл ее, впустил Бернара и в ожидании, пока повернувшаяся к ним спиной Лора приведет себя в порядок перед туалетным столиком, обратился к нему с вопросом:

— А теперь, сударь, могу я вас спросить, когда мне будет позволено вновь вступить во владение моими вещами?

Он сказал это с прежней иронической улыбкой, глядя Бернару прямо в лицо.

— Как только вам, сударь, будет угодно; однако должен вам признаться, что мне этих вещей будет не хватать гораздо больше, нежели вам. Вам стало бы это понятно, я уверен, если бы вы выслушали мою историю. Скажу пока лишь только, что начиная с сегодняшнего утра я оказался без крова над головой, без очага, без семьи, и, не случись эта встреча с вами, я уже готов был броситься в воду. Сегодня утром я долго шел за вами, когда вы беседовали с Оливье, моим другом. Он мне столько говорил о вас! Мне хотелось к вам подойти. И я искал только повода, возможности... Когда вы бросили свою багажную квитанцию, я благословил судьбу. О! Не принимайте меня за вора. Вашим чемоданом я завладел главным образом для того, чтобы познакомиться с вами.

Бернар выпалил все это почти на едином дыхании. И речь его, и его черты озарялись каким-то необыкновенным внутренним пламенем, которое можно было принять за пламя доброты. Судя по улыбке Эдуара, Бернар ему понравился.

— А теперь?..— спросил он.

Бернар понял, что его позиции укрепляются.

— А теперь... не нужен ли вам случайно секретарь? Я уверен, что смогу неплохо выполнять подобные функции, поскольку это было бы для меня огромное удовольствие.

Тут уж Эдуар не выдержал и рассмеялся. Лора с удивленной улыбкой наблюдала за ними.

— Ого!.. Что ж, над этим предложением нужно подумать. Приходите завтра в это же время сюда же, если позволит госпожа Дувье... так как мне придется решить кое-какие проблемы и в связи с ней тоже. Вы, я полагаю, остановились в гостинице? О! Я вовсе не стремлюсь узнать, в какой именно. Это мне безразлично. До завтра.

Он протянул ему руку.

— Сударь,— сказал Бернар,— прежде чем я уйду, вы, может быть, позволите мне напомнить вам, что на улице Фобур-Сент-Оноре проживает один несчастный старый учитель музыки по имени, кажется, Лаперуз, которому, если бы вы его навестили, вы доставили бы огромное удовольствие.

— Черт побери, не так уж плохо для начала, свои будущие обязанности вы понимаете правильно.

— Значит... Вы в самом деле согласились бы?

— Мы вернемся к этому завтра. Прощайте.

Побыв еще немного у Лоры, Эдуар отправился к Молинье. Он надеялся застать там Оливье, с которым ему хотелось бы поговорить о Бернаре. Однако, несмотря на то что он затянул свой визит сверх всякой меры, кроме Полины, ему никого не удалось увидеть.

Оливье, отвечая на переданное ему братом настоятельное приглашение, отправился в тот вечер к автору «Турника», к графу де Пассавану.

XV

— А я боялся, что ваш брат не выполнит моего поручения,— сказал Робер де Пассаван при виде входящего к нему Оливье.

— Разве я опоздал?— спросил тот, робко, почти на цыпочках приближаясь к нему. Он держал в руках шляпу, и Робер взял ее у него.

— Положите ее сюда. Располагайтесь, как вам нравится. Вот, садитесь в это кресло, по-моему здесь вам будет

удобно. Нет, судя по тому, что показывают стрелки часов, нисколько не опоздали; но мое желание увидеть вас опережало ход стрелок. Вы курите?

— Спасибо,— сказал Оливье, отстраняя протянутый ему графом де Пассаваном портсигар. Он отказался из-за своей застенчивости, хотя в глубине души ему очень хотелось отведать этих тонких, душистых, очевидно русских, сигарет, которые лежали в портсигаре.

— Да, я счастлив, что вы смогли прийти. Я опасался, что вы слишком загружены подготовкой к экзаменам. Когда вы сдаете?

— Письменный, через десять дней. Но теперь я стал мало заниматься. Мне кажется, я все уже выучил, и теперь боюсь главным образом, как бы не переутомиться.

— А заняться тем временем чем-нибудь другим вы бы не отказались?

— Нет... если только это не слишком обременительно.

— Сейчас я вам объясню, зачем я попросил вас прийти. Ну прежде всего, чтобы иметь удовольствие увидеть вас вновь. Когда мы встретились тогда вечером, во время антракта, в театральном фойе, у нас завязалась было беседа... Меня очень заинтересовало то, что вы мне сказали. Вы-то, должно быть, уже и не помните?

— Как же, помню,— сказал Оливье, которому казалось, что в тот вечер он говорил только глупости.

— И вот сегодня я могу вам сообщить уже нечто более конкретное... Вы вроде бы знаете некоего жидка по фамилии Дюрмер? Он случайно не из ваших приятелей?

— Я только что с ним расстался.

— А! Так значит, вы видитесь друг с другом?

— Да, нам нужно было встретиться в Лувре, чтобы поговорить об одном журнале, где он станет директором.

Робер разразился громким деланным смехом.

— Ха-ха-ха! Директором... Ну и силен! Ну и прыток... Он так прямо вам и сказал?

— Он уже давно мне об этом говорит.

— Да, я уже довольно давно вынашиваю этот проект. Как-то раз я спросил его между прочим, не согласился бы он читать вместе со мной рукописи, и он тут же назвал это: быть главным редактором; я тогда его не поправил, и вот отсюда все и пошло, и пошло... Весьма похоже на него, вы не находите? Ну что за тип! Надо немного сбить с него спесь... А вы действительно не курите?

— Пожалуй, все-таки да,— сказал Оливье, взяв на этот раз сигарету.— Спасибо.

— Позвольте мне сказать вам, Оливье... вы не против, что я называю вас Оливье? Я не могу называть вас «господин», поскольку вы очень молоды и мы слишком близкие друзья с вашим братом Венсаном, чтобы обращаться к вам «Молинье». Так вот, Оливье, позвольте мне сказать вам, что я в гораздо большей степени доверяю вашему вкусу, нежели вкусу Снди Дюрмера. Не согласились бы вы взять на себя эту должность главного редактора? Естественно, под небольшим наблюденнем с моей стороны? В первое время, во всяком случае. Однако я бы предпочел, чтобы мое имя на обложке не фигурировало. Я вам объясню почему несколько позже... Может быть, выпьете со мной рюмочку портвейна, а? Он у меня превосходный.

Он достал с находившегося на расстоянии вытянутой руки небольшого буфета бутылку с двумя рюмками и наполнил их.

— Ну как, каково ваше мнение?

— Действительно превосходный.

— Я спрашиваю вас не о портвейне,— смеясь, сказал Робер,— а о том, о чем я сейчас вам сказал.

Оливье притворился, что не понимает. Он боялся согласиться слишком быстро, боялся слишком явно выдать свою радость. Он слегка покраснел и смущенно пробормотал:

— Мои экзамены мне не...

— Вы же только что сказали, что они отнимают у вас не так уж много времени,— перебнл его Робер. А кроме того, журнал ведь выйдет не завтра. Я даже думаю, не лучше ли отложить появление первого номера до осени. Во всяком случае, мне важно было узнать ваше мнение. До октября нужно будет уже полностью подготовить несколько номеров, так что летом нам придется часто встречаться друг с другом, чтобы все это обсудить. Что вы собнраетесь делать во время каникул?

— О! Я плохо себе представляю. Мои родители, вероятно, как обычно, поедут в Нормандию.

— А вам придется их туда сопровождать?.. Не хотели бы вы на этот раз несколько оторваться от них?..

— Мама не согласится.

— Я сегодня ужинаю с вашим братом; вы позволите мне поговорить с ним об этом?

— О! Венсан с нами не едет.— Потом, осознав, что в его фразе не прозвучало ответа на вопрос, он добавил: — К тому же это совершенно бесполезно.

— Ну а если бы мы нашли веские причины, которые убедили бы вашу маму?

Оливье ничего не ответил. Он нежно любил свою мать, и насмешливый тон Робера в разговоре о ней ему не понравился. Робер понял, что он поторопился.

— Так вы, значит, оценили мой портвейн,— сказал он, меняя тему разговора.— Хотите еще рюмочку?

— Нет, нет, спасибо... Но он превосходный.

— Да, в тот вечер меня просто поразила зрелость и точность ваших суждений. Вы не собираетесь заняться литературной критикой?

— Нет.

— А поэзией?.. Насколько мне известно, вы пишете стихи.

Оливье снова покраснел.

— Да, ваш брат выдал вас. Вы, должно быть, знаете кого-то еще из молодых, кто захотел бы сотрудничать... Нужно, чтобы этот журнал стал платформой объединения молодежи. В этом его смысл. Я хотел бы, чтобы вы помогли мне написать нечто вроде проспекта-манифеста, который без чрезмерной конкретизации наметил бы новые тенденции. Мы об этом еще поговорим. Нужно будет подобрать два-три эпитета; только не неологизмы; возьмем самые что ни на есть употребительные старые слова, придадим им совершенно новый смысл и введем в обиход. После Флобера осталось: «благозвучный и ритмичный», после Леконта де Лиля: «иератический и определенный»... Послушайте, а что вы скажете об эпитете «жизненный»? А?.. «Бессознательный и жизненный»... Нет?.. «Элементарный, могучий и жизненный»?

— Мне кажется, что можно подобрать что-нибудь еще более интересное,— осмелел Оливье, который улыбался, но одобрять, похоже, не торопился.

— Ну, еще рюмочку портвейна...

— Только прошу вас, не полную.

— Видите ли, главная слабость символизма состояла в том, что он создал только эстетику; а ведь все великие школы создавали вместе с новым стилем и новую этику, новые задачи, новые заповеди, новое видение, новое представление о любви и о том, как вести себя в жизни. Символист был слишком прост: он не пытался участвовать в жизни, не пытался ее понять, отрицал ее, поворачивался к ней спиной. Это же было нелепо, разве не так? Они были людьми, лишенными и аппетита, и даже гурманства. Не то что мы... так ведь?

Оливье допил вторую рюмку портвейна и докурил вторую сигарету. Наполовину лежа в своем удобном кресле, он слегка прикрыл глаза и без слов покачивал головой в знак согласия. В этот момент раздался звонок, и почти тотчас же вошел лакей, протянувший Роберу визитную карточку. Робер взял карточку, взглянул на нее и положил на письменный стол рядом с собой.

— Хорошо. Попросите его подождать одну минуту.— Лакей вышел.— Послушайте, дорогой Оливье, вы мне очень нравитесь, и я думаю, что мы сможем друг с другом договориться. Но только сейчас пришел один человек, которого я непременно должен принять и который хочет поговорить со мной наедине.

Оливье встал.

— Если позволите, я провожу вас через сад... Ах, кстати, пока не забыл: вам приятно было бы иметь мою новую книгу? У меня как раз здесь есть один экземпляр на голландской бумаге...

— Я не стал дожидаться, пока вы мне ее подарите, и уже прочитал ее,— сказал Оливье, который остался отнюдь не в восторге от книги Пассавана и постарался выйти из положения так, чтобы обойтись без лести, оставаясь в то же время достаточно учтивым. Возможно, Пассаван уловил в тоне, которым была произнесена эта фраза, легкий оттенок пренебрежения. Во всяком случае, он тут же ответил:

— О! Не надо говорить мне о ней. Если бы вы сказали, что она вам понравилась, мне пришлось бы поставить под сомнение либо ваш вкус, либо вашу искренность. Нет, мне лучше, чем кому бы то ни было, известно, чего этой книге не хватает. Я написал ее слишком быстро. По правде говоря, на протяжении всего того времени, пока я ее писал, я думал о моей следующей книге. Да! Вот что касается этой книги, то она мне дорога. Очень дорога. Вот посмотрите, вот посмотрите... Мне очень жаль, но теперь пришло время, когда вы должны покинуть меня... Разве что... Впрочем, нет, нет; мы пока еще так мало знакомы, да и родители наверняка ждут вас к ужину. Так что до свидания. До скорого... Сейчас, только напишу на книге ваше имя, разрешите.

Он встал, подошел к письменному столу. Когда он наклонился, чтобы сделать надпись, Оливье сделал шаг назад и краем глаза взглянул на принесенную слугой визитную карточку:

Виктор Струвилу

Это имя ничего ему не говорило.

Пассаван протянул Оливье экземпляр «Турника» и в тот момент, когда тот приготовился читать дарственную надпись, сказал:

— Вы посмотрите потом,— и сунул книгу ему под мышку.

Так что Оливье удалось прочитать только на улице этот написанный рукой Пассавана и взятый из самой книги эпиграф, который украсил ее наподобие посвящения:

> «Умоляю, Орландо, еще несколько шагов. Я все еще не совсем уверен, что осмеливаюсь вас в полной мере понимать».

А чуть ниже автор приписал:

> «Оливье Молинье
> от его вероятного друга,
> графа Робера де Пассавана»

Оливье задумался, пытаясь расшифровать этот двусмысленный эпиграф; впрочем, он был волен толковать его по своему усмотрению.

Оливье вернулся домой вскоре после того, как Эдуар, отчаявшийся его дождаться, оттуда ушел.

XVI

Позитивистская эрудиция Венсана не позволяла ему верить в сверхъестественное, и это давало дьяволу большие преимущества. Дьявол не предпринимал против него лобовых атак, а нападал на него лукаво, исподтишка. Одна из его хитростей состоит в том, чтобы выдавать нам за победы наши поражения. Именно так и получилось с Венсаном, принявшим свое поведение в отношении Лоры за триумф своей воли над инстинктом привязанности; дело в том, что, будучи от природы добрым, он, дабы выглядеть суровым к ней, был вынужден делать над собой усилия, тужиться.

Пристально рассматривая эволюцию характера Венсана в этой интриге, я обнаруживаю в ней несколько стадий, на которые мне хотелось бы указать в назидание читателю.

1. Период добрых намерений. Честность. Благородная потребность исправнть совершенную ошибку. В данном случае: нравственное обязательство отдать Лоре сумму денег, ценой больших лишений накопленную родителями для покрытия первоначальных расходов, связанных с его будущей карьерой. Ну чем не самопожертвование? Вполне благопристойное, великодушное, милосердное побуждение, не правда ли?

2. Период обеспокоенности. Угрызения совести. Разве неуверенность в том, что жертвуемой суммы окажется достаточно, не является началом уступки черту, когда тот примется искушать Венсана возможностью увеличнть эту сумму?

3. Стойкость н душевная твердость. Потребность после утраты этой суммы ощущать себя «выше несчастья». Именно «душевная твердость» позволяет ему признаться Лоре в том, что он проиграл деньги; и она же позволяет ему порвать со своей любовницей.

4. Отказ от добрых намерений, признаваемых за заблуждение, в свете новой этикн, которую оказывается вынужденным изобрести для себя Венсан, дабы оправдать свое поведение; он ведь по-прежнему остается верен морали, и дьяволу удается одержать над ним победу, лишь предоставив ему доводы для самооправдания. Теория имманентности, тотальности, сконцентрированной в одном мгновении; бесцельной, незамедлительной и немотивированной радости.

5. Опьяненне вынгрышем. Презрение к осторожности. Сознание своей силы.

Начиная с этого момента можно считать, что черт выиграл партню.

Начиная с этого момента человек, принимающий себя за свободнейшего из людей, оказывается всего лишь орудием в руках лукавого. Ну а черг требует все новых н новых жертв; вот почему Венсан выдает его окаянному помощнику своего брата.

Венсан, однако, не является дурным человеком. Поэтому, как бы он себя ни оправдывал, в нем сохраняется чувство неудовлетворенности, какое-то внутреннее беспокойство. Добавим к сказанному еще несколько слов.

«Экзотикой», мне кажется, называют любую складку пестрого покрова Майи, созерцая которую наша душа ощущает себя чужой и лишается своих точек опоры. По-

рой та или иная добродетель устояла бы, но дьявол, прежде чем напасть на нее, переносит ее в какую-нибудь незнакомую страну. Возможно, если бы они не оказались под чужими небесами, вдали от родителей, от воспоминаний о своем прошлом, от того, что стояло на страже их душевного постоянства, то ни Лора не уступила бы Венсану, ни Венсан не попытался бы ее соблазнить. Возможно, им казалось, что их любовное приключение там, вдали, не имеет никакого отношения ко всему остальному... Обо всем этом можно было бы говорить еще долго, но и сказанного уже достаточно, чтобы помочь нам лучше понять Венсана.

Рядом с Лилиан он тоже чувствовал себя словно в другой стране.

— Только не смейся надо мной, Лилиан,— говорил он ей в тот же вечер.— Я знаю, что ты не поймешь меня, и все же испытываю потребность говорить тебе так, как если бы ты понимала меня, потому что обойтись без твоего присутствия в своих мыслях я уже не могу.

Он полулежал у ног Лилиан, вытянувшейся на низком диване; голова его нежно касалась коленей его любовницы, а та ласково ее поглаживала.

— Что меня больше всего беспокоило сегодня утром... да, вероятно, больше всего меня беспокоил страх. Можешь ты побыть серьезной хотя бы одну минутку? Можешь ты ради того, чтобы понять меня, забыть хотя бы на минуту не то, во что ты веришь, так как ты не веришь ни во что, а забыть как раз то, что ты ни во что не веришь? Я тоже ни во что не верил, ты ведь знаешь; я полагал, что я больше ни во что не верю; ни во что, за исключением нас самих: тебя, меня и того, чем я могу быть с тобой; за исключением того, чем я стану благодаря тебе...

— В семь часов приедет Робер,— перебила его Лилиан.— Я говорю тебе это не для того, чтобы поторопить тебя, но все же учти: если ты будешь рассказывать так медленно, то он прервет нас как раз в тот момент, когда ты подойдешь к самому интересному. Ведь не будешь же ты продолжать этот разговор при нем. Просто невероятно, сколько ты сегодня принимаешь предосторожностей. Ты похож на слепого, который, прежде чем сделать шаг, пробует место своей палкой. Ты же прекрасно видишь, что я и не думаю смеяться. Почему ты не веришь в себя?

— С тех пор как я познакомился с тобой, у меня появилась просто необыкновенная вера в себя. Я многое могу сделать, я это чувствую; и ты сама видишь: мне удается

все. Но именно это-то меня и пугает. Нет, не говори ничего... Я целый день сегодня думал о том, что ты рассказала мне утром про кораблекрушение «Бургундии» и про отрубленные руки тех, кто пытался забраться в шлюпку. Мне начинает казаться, что и в мою шлюпку тоже что-то хочет забраться — я пользуюсь созданным тобой же образом, чтобы ты меня поняла,— что-то, чему я хочу помешать туда забраться...

— И ты, старый трусишка, хочешь, чтобы я помогла тебе утопить это что-то!..

Он продолжал, не глядя на нее:

— Что-то, что я отталкиваю, но слышу его голос... голос, который тебе никогда не доводилось слышать, а мне доводилось, в детстве...

— И что он тебе говорит, этот голос? А, не смеешь повторить? Это меня не удивляет. Держу пари, что без катехизиса здесь дело не обошлось. Угадала?

— Но, Лилиан, пойми меня: для меня единственный способ освободиться от этих мыслей — высказать их тебе. А если ты будешь над ними смеяться, то они останутся со мной и отравят меня.

— Тогда говори,— сказала она, изображая покорность. Потом, поскольку он молчал и, как ребенок, спрятался лицом в ее юбку, добавила: — Ну что же ты? Чего ты ждешь?

Она схватила его за волосы и заставила приподнять голову.

— А ведь он, честное слово, принимает все это всерьез! Весь побледнел. Послушай-ка, милый мой, если ты будешь разыгрывать из себя ребенка, то дело дальше не пойдет. Нужно хотеть то, чего хочется. И потом ты знаешь: я не люблю тех, кто плутует в игре. А когда ты пытаешься помочь исподтишка забраться в твою лодку тому, что может забраться туда совершенно открыто, ты как раз плутуешь. Я согласна с тобой играть, но только в честную игру, причем я тебе объяснила, какая ставка в этой игре: твой успех. Я считаю, что ты можешь добиться весьма высокого, блестящего положения; я чувствую в тебе и большой ум, и большую силу. И хочу помочь тебе. Есть женщины, которые губят карьеру тех, в кого они влюбляются, а я хочу, чтобы все было наоборот. Ты мне уже рассказывал о своем желании бросить медицину и заняться наукой; тогда ты выражал сожаление, что у тебя для этого слишком мало денег... А тут, скажем, для начала твой выигрыш: пятьдесят тысяч — это уже кое-что. Толь-

ко обещай мне больше не играть. Я предоставлю в твое распоряжение столько денег, сколько потребуется, но при условии, что у тебя хватит силы пожать плечами, если начнут говорить, что ты находишься на содержании.

Венсан встал. Он подошел к окну. Лилиан между тем продолжала:

— Первым делом и чтобы раз и навсегда решить вопрос с Лорой, я считаю, что можно было бы послать ей те пять тысяч франков, которые ты ей обещал. Почему ты не держишь данного ей слова сейчас, когда у тебя есть деньги? Не из-за потребности ли чувствовать себя еще более виноватым по отношению к ней? Это мне совсем не нравится. Хамства я не переношу. Ты не умеешь отсекать руки с достоинством. Так что улаживай это дело, и мы отправимся на лето туда, где будут наиболее благоприятные условия для твоей работы. Ты говорил мне о Роскофе; я-то предпочла бы Монако, потому что я знаю князя; он мог бы повезти нас с собой в какой-нибудь круиз, мог бы устроить тебя в своем институте.

Венсан молчал. Ему было неприятно говорить сейчас об этом с Лилиан, и он рассказал ей лишь спустя некоторое время, что прежде, чем идти к ней, зашел в гостиницу, где в тоскливом ожидании коротала дни Лора. Ему хотелось ликвидировать наконец свою задолженность; он вложил в конверт те несколько банкнот, на которые она уже перестала рассчитывать. Вручив конверт коридорному, Венсан стал дожидаться в вестибюле подтверждения того, что деньги вручены лично кому следует. Через несколько минут коридорный спустился вниз и вернул ему конверт, поперек которого Лора написала: «Слишком поздно».

Лилиан позвонила и попросила, чтобы ей принесли ее пальто. Когда служанка вышла, она шепнула:

— Да, кстати, пока он не пришел, я хотела тебе сказать: если Робер предложит тебе поместить твои пятьдесят тысяч франков, лучше воздержись. Он очень богат, но постоянно нуждается в деньгах. Посмотри-ка: кажется, я слышала рожок его автомобиля. Он приехал на полчаса раньше, чем мы договаривались, но это даже и лучше... Для того, о чем мы говорили...

— Я приехал пораньше,— сказал, входя, Робер,— поскольку подумал, что было бы неплохо поехать ужинать в Версаль. Согласны?

— Нет,— сказала леди Гриффит,— я уже не могу видеть эти бассейны. Поедемте лучше в Рамбуйе; время еще

есть. Поедим там не так вкусно, но зато там приятнее беседовать. Мне хочется, чтобы Венсан рассказал тебе что-нибудь из своих историй про рыб. Они у него прелюбопытнейшие. Не знаю, насколько то, что он рассказывает, соответствует действительности, но это интереснее всех романов на свете.

— Романист, вероятно, придерживается иного мнения,— сказал Венсан.

В руках у Робера де Пассавана была вечерняя газета.

— Вам известно, что Брюньяр только что получил назначение на пост секретаря министра юстиции? Самый подходящий момент, чтобы добиться ордена для вашего отца,— сказал он, обращаясь к Венсану. Тот пожал плечами.

— Мой дорогой Венсан,— продолжал Пассаван,— позвольте мне сказать вам, что если вы не попросите у него об этом маленьком одолжении, в котором он будет столь счастлив вам отказать, то сильно его обидите.

— А почему бы вам не показать пример и не попросить сначала орден для себя?— возразил Венсан.

Робер изобразил на лице гримасу:

— Ну нет, мое кокетство заключается в том, чтобы не краснеть, не краснеть ни лицом, ни петлицей.— Потом, поворачиваясь к Лилиан, он добавил: — Как все мы знаем, в наши дни редко кому удается дожить до сорока лет и не заработать ни сифилиса, ни орденов!

Лилиан улыбнулась и пожала плечами:

— Ради остроты он готов даже прибавить себе лет!.. Скажите-ка: это цитата из следующей вашей книги? Прозвучит свежо... Ну вы спускайтесь; я надену пальто и догоню вас.

— А мне казалось, что вы решили больше с ним не встречаться?— спросил Венсан Робера на лестнице.

— С кем? С Брюньяром?

— Он всегда казался вам таким глупым...

— Дорогой друг,— медленно ответил Пассаван, остановившись на ступеньке и удерживая Молинье, который уже приподнял ногу, чтобы приближавшаяся леди Гриффит тоже могла его слышать,— да будет вам известно, что у меня еще не было ни одного друга, который рано или поздно не начинал демонстрировать свой кретинизм. Могу вас заверить, что Брюньяр это сделал менее поспешно, чем многие другие.

— Чем я, например?— спросил Венсан.

— Что, как вы видите, не мешает мне оставаться вашим лучшим другом.

— Это в Парнже называется остроумнем,—сказала прнсоеднившаяся к ним Лилиан.— Но только учтите, Робер: ничто не увядает так быстро, как остроты!

— Успокойтесь, моя дорогая: слова увядают только после того, как их напечатают!

Они сели в машину, и машина тронулась. Поскольку их беседа и далее продолжала оставаться столь же остроумной, то приводить ее здесь нет никакого смысла. Онн расположнлись на террасе одного отеля, напротив сада, который наполнялся тенью надвигавшейся ночи. С наступлением темноты беседа постепенно утрачивала свою легкость, причем говорил больше всех Венсан, а Лилиан и Робер лишь иногда подавали ему реплики.

XVII

— Если бы я немного поменьше интересовался людьми,—сказал Робер,—то непременно интересовался бы больше животными.

А Венсан отвечал:

— Вы, очевидно, считаете, что люди так уж сильно от них отличаются. Еще не было ни одного крупного открытия в зоотехнике, чтобы оно не способствовало в той или иной мере познанию человека. Тут все соприкасается и все оказывается взаимосвязанным, и мне кажется, что романист, который воображает себя психологом, но при этом отворачнвается от зрелища, предлагаемого ему природой, не хочет знать ее законов, никогда не остается безнаказанным. В «Дневнике» Гонкуров, который вы дали мне почитать, я наткнулся на рассказ о посещении естественнонаучных галерей Ботанического сада, где ваши милейшие авторы сетуют на недостаток воображенння у прнроды или же у Бога. В этом хилом святотатстве они продемонстрировали ограниченность и несостоятельность своих крошечных умишек. Напротив, что за разнообразие! Создается впечатление, что прнрода нспробовала поочередно буквально все возможности жнвой жизни, движения, воспользовалась всем богатством вариантов, заложенных в материн и ее законах. Какой урок можно извлечь из одного только постепенного отказа от некоторых нерациональных и лишенных изящества начинаний! Какая экономия обнаруживается в выживании некоторых форм! Глядя на них, понимаешь, почему отмирали дру-

гие. Даже ботаника оказывается очень поучительной. Когда я рассматриваю ветку дерева, то обнаруживаю у основания каждого листка почку, способную дать росток в следующем году. Когда я вижу, что из стольких почек распускаются самое большее две, обрекая самим своим развитием все остальные на атрофию, то я не могу не прийти к мысли, что у людей дело обстоит точно таким же образом. Естественно, развиваются почки, расположенные на кончиках веток, то есть те, которые наиболее удалены от семейного ствола. Только подрезая либо перевязывая ветку, из-за чего сок начинает течь в обратном направлении, можно оживить почки, расположенные вблизи ствола, которые в противном случае так и остались бы неразбуженными. Именно таким способом удается заставить плодоносить наиболее своевольные породы, которые, предоставь их самим себе, скорее всего, полностью ушли бы в листву. Ах! Ну что за прекрасная школа — какой-нибудь огород или сад! И какие бы хорошие педагоги получились из некоторых садовников! Если с толком наблюдать, то на птичьем дворе, на псарне, в аквариуме, кроличьем садке, хлеву зачастую можно почерпнуть гораздо больше знаний, чем из книг и даже, поверьте мне, чем из созерцания человеческого общества, где все в той или иной мере фальсифицировано.

Потом Венсан стал говорить о селекции. Он рассказал про обычный метод, используемый практиками для получения наилучших сеянцев, про отбор наиболее сильных экземпляров и про экспериментаторскую фантазию того смелого садовника, который из-за своей неприязни к рутине, можно было бы даже сказать — из чувства протеста, решил отбирать, напротив, наиболее немощные образцы, а в результате получил невероятнейшие соцветия.

Робер, который поначалу слушал лишь вполуха, поскольку не рассчитывал услышать ничего интересного, больше уже не перебивал. Его внимание приводило Лилиан в восторг, поскольку являлось чем-то вроде дани уважения ее любовнику.

— Ты должен рассказать нам, — обратилась она к нему,— то, что ты однажды рассказывал мне про рыб и про их умение приспосабливаться к различной солености моря... Так я говорю?

— За исключением некоторых областей,— начал Венсан,— степень солености в море везде приблизительно одинакова, и морская фауна обычно бывает в состоянии переносить лишь очень незначительные колебания плот-

ности. Впрочем, и те области тоже не являются необитаемыми; это либо области, подверженные сильным испарениям, которые уменьшают количество воды по отношению к количеству содержащейся в ней соли, либо области, где, напротив, постоянный приток пресной воды разбавляет соль, как бы обессоливает море,— обычно это происходит вблизи устьев больших рек или мощных морских течений, подобных Гольфстриму. В таких областях животные, называемые стеногалинными, чахнут и медленно погибают, а поскольку они оказываются тогда неспособными защищаться от животных, называемых эвригалинными, то они неизбежно становятся их добычей; поэтому эвригалинные, как правило, живут на периферии крупных течений, где плотность воды имеет обыкновение меняться и где агонизируют стеногалинные. Стало быть, вы теперь знаете, что стено — это те, которые нуждаются в постоянном сохранении одного и того же уровня солености. Тогда как эври — это...

— ...это любители ловить рыбу в малосольной воде,— прервал его Робер, который любую мысль соотносил с собой и из любой теории брал только то, чему мог найти применение.

— Большинство из них весьма свирепы,— добавил Венсан серьезным тоном.

— Ну разве я не говорила тебе, что это интереснее любого романа! — ликующе вскричала Лилиан.

Венсана как будто подменили: на свой успех он даже не обратил внимания. Он оставался необыкновенно серьезен и продолжал несколько более тихим голосом, словно разговаривал с самим собой:

— Самым удивительным открытием последнего времени — во всяком случае, открытием, которое оказалось для меня наиболее поучительным,— явилось открытие фотогенных аппаратов у глубоководных животных.

— О! Расскажи нам про это,— сказала Лилиан, у которой погасла сигарета и таяло только что принесенное мороженое.

— Вам, вероятно, известно, что дневной свет проникает не очень большой слой морской воды. На глубине царит мрак... долгое время беспредельные пучины считались необитаемыми, но потом, когда попытались проникнуть туда, извлекли тралами из этих преисподних немало странных животных. Поначалу думали, что эти животные совершенно слепые. Что за нужда в зрении при такой кромешной тьме? Глаз у них, конечно же, не оказалось;

они и не могли, и не должны были их иметь. Однако когда стали рассматривать внимательнее, то с удивлением обнаружили, что у некоторых из них глаза все-таки есть, что глаза есть почти у всех, а иногда сверх того есть еще и усики, обладающие необыкновенной чувствительностью. Несмотря на это, сомнения сохранялись; никак не могли понять: зачем нужны глаза, если ими нельзя ничего увидеть? Глаза чувствительные, но чувствительные к чему?.. И вот наконец выяснилось, что каждое из этих животных, которых зачислили было в разряд невидящих, излучает и проецирует впереди себя, вокруг себя свой собственный свет. Каждое из них светится, освещает, распространяет свет. Когда их извлекли ночью из океанских глубин и бросили на палубу корабля, ночь вся озарилась. Движущиеся, мерцающие, разноцветные огни, вращающиеся маяки, сверкание звезд и драгоценных камней; те, кто все это видел, утверждают, что ничто не может быть великолепнее этого зрелища.

Венсан замолчал. Они долго сидели, не произнося ни слова.

— Поедем домой, мне холодно,— сказала вдруг Лилиан.

Леди Лилиан сидела рядом с шофером, немного защищенная от ветра передним стеклом А мужчины на заднем сиденье открытого автомобиля возобновили разговор между собой. На протяжении почти всей трапезы Робер хранил молчание, слушая рассуждения Венсана; теперь настала его очередь.

— Такие рыбы, как мы, дружище Венсан, в стоячей воде гибнут,— сказал он, хлопнув приятеля по плечу. Сам он позволял себе кое-какую фамильярность в обращении с Венсаном, но не потерпел бы, если бы тот вздумал ответить тем же; впрочем, Венсан к этому не был расположен.— А знаете, вы просто великолепны! Какой бы из вас получился лектор! Честное слово, вам нужно бросать медицину. Я вас совершенно не представляю прописывающим слабительное и проводящим время в компании больных. Кафедра сравнительной биологии или что-нибудь в этом роде — вот что вам подошло бы больше всего...

— Я уже думал об этом,— сказал Венсан.

— Лилиан, очевидно, сможет помочь вам в этом вопросе, заинтересовав в ваших исследованиях своего друга, князя Монако, который, как мне кажется, в такого рода вещах разбирается... Мне нужно будет поговорить с ней.

— Она мне уже говорила об этом.

— Тогда получается,— сказал он, притворяясь рассерженным,— что у меня нет решительно никакой возможности оказать вам услугу, причем именно тогда, когда я сам хотел бы обратиться к вам за помощью.

— Просто это будет моя очередь оказаться вам полезным. Не думайте, что у меня короткая память.

— Как! Вы все еще вспоминаете о тех пяти тысячах франков? Милый мой, вы же мне их вернули! Вы мне больше не должны ничего... разве что, если хотите, немного дружбы.— Он добавил это почти нежным тоном, коснувшись руки Венсана.— Я взываю сейчас именно к ней.

— Я слушаю,— сказал Венсан.

Однако Пассаван тут же воскликнул, приписывая Венсану свое собственное нетерпение:

— Как вы торопитесь! Я полагаю, до Парижа у нас время еще есть.

Пассаван отличался незаурядной способностью перекладывать на других ответственность за свои собственные капризы и за все прочее, от чего он предпочитал открещиться. Потом, вроде бы переходя к другой теме, наподобие тех рыболовов, которые из страха спугнуть форель забрасывают приманку как можно дальше, а затем незаметно подводят ее к будущей добыче, Пассаван сказал:

— Да, кстати, благодарю вас за то, что вы направили ко мне своего брата. Я боялся, что вы забудете.

Венсан махнул рукой. Робер продолжал:

— Вы его видели потом?.. Не нашлось времени, да?.. Тогда несколько странно, что вы до сих пор не поинтересовались у меня, какой у нас был разговор. Это вам, в сущности, безразлично. Вы совершенно не интересуетесь делами своего брата. Вы не проявляете никакого внимания ни к мыслям Оливье, ни к его чувствам, ни к тому, что он представляет собой сейчас и кем хотел бы стать...

— Это упреки?

— Если хотите, да. Я не понимаю вашего равнодушия и не принимаю его. Еще куда ни шло, когда вы лежали больной в По; там вы должны были думать только о себе: эгоизм являлся одной из составных частей лечения. Но сейчас... Как? Рядом с вами находится это трепетное существо, этот пробуждающийся ум, столь многообещающий, который нуждается и в совете, и в поддержке...

В этот момент Пассаван уже не помнил, что и у него самого тоже есть брат.

Венсана, однако, провести было нелегко; чрезмерность

упреков подсказывала ему, что они не очень искренни, что за возмущением скрывается что-то другое. Он молчал и ждал, что Пассаван скажет дальше. Но Робер внезапно остановился; при свете сигареты, которой затянулся Венсан, он заметил у того на губах странную складку, показавшуюся ему иронической; ведь насмешки он боялся больше всего на свете. Но только ли в этом крылась причина, заставившая его переменить тон? А может быть, скорее в каком-то интуитивном ощущении, что между ним и Венсаном происходит нечто вроде тайного сговора... Во всяком случае, он продолжил уже как бы совершенно естественным тоном, в котором слышалось «с вами-то притворяться не нужно»:

— Так вот! У нас с юным Оливье получился приятнейший разговор. Мальчик мне очень нравится.

Пассаван попытался было поймать взгляд Венсана (ночь была не очень темная), но тот смотрел прямо перед собой.

— А теперь, мой дорогой Молинье, вот о каком маленьком одолжении я хотел вас просить...

Однако тут у него опять возникла потребность сделать паузу и, если можно так выразиться, расстаться на мгновение со своей ролью, подобно актеру, абсолютно уверенному, что публика находится в его власти, и желающему продемонстрировать эту власть и себе, и публике. Поэтому он наклонился вперед, к Лилиан, и очень громко, словно подчеркивая конфиденциальный характер того, что только что было им сказано, и того, что он собирался сказать, произнес:

— Вы уверены, дорогая, что не простудитесь? У нас здесь лежит плед, который нам совершенно не нужен...

Потом, не дожидаясь ответа, откинулся назад на сиденье к Венсану и опять тихим голосом сказал:

— Послушайте, мне хотелось бы этим летом взять с собой отдыхать вашего брата. Да, я говорю вам это без обиняков; зачем нам всякие вокруг да около?.. Я не имею чести быть знакомым с вашими родителями, и они, естественно, не позволят Оливье отправиться со мной, если вы не окажете мне активной поддержки. Вы-то уж, очевидно, найдете способ расположить их в мою пользу. Вы, я полагаю, хорошо их изучили и, вероятно, имеете к ним подход. Сделаете это для меня?

Он подождал немного, потом, так как Венсан молчал, продолжил:

— Послушайте, Венсан... Я скоро уезжаю из Парижа... пока не знаю куда. И мне совершенно необходимо иметь при себе секретаря... Вам ведь известно, что я основываю журнал. Я говорил об этом Оливье. Мне кажется, что у него есть все необходимые данные... Но я не хочу смотреть на все только с моей эгоистической точки зрения: я считаю, что все его ценные качества найдут там свое достойное применение. Я предложил ему место главного редактора... Быть главным редактором журнала в его возрасте!.. Согласитесь, возможность, из ряда вон выходящая.

— Настолько из ряда вон выходящая, что я опасаюсь, как бы мои родители не насторожились именно из-за этого,— сказал Венсан, повернувшись наконец к нему лицом и глядя прямо ему в глаза.

— Да, очевидно, вы правы. Возможно, об этом лучше не говорить. Вы можете в первую очередь просто указать на пользу путешествия, которое я могу ему организовать, на то, насколько оно будет интересным, а? Должны же ваши родители понимать, что в его возрасте есть потребность посмотреть белый свет. В общем, с ними вы уладите, да?

Он перевел дыхание, закурил новую сигарету, затем продолжил, не меняя тона:

— И поскольку вы любезно согласились сделать мне одолжение, то я постараюсь сделать кое-что для вас тоже. Думаю, что мне удастся помочь вам в одном весьма выгодном деле... куда один мой приятель, работающий в крупном банке, допускает лишь самых что ни на есть избранных. Только прошу вас, пусть это останется между нами; Лилиан — ни слова. Просто я располагаю очень ограниченным количеством акций и не могу предложить участвовать в деле и вам, и ей одновременно... Вот те выигранные вами вчера пятьдесят тысяч франков?..

— Я ими уже распорядился,— несколько сухо ответил Венсан, не забывший о предупреждении Лилиан.

— Что ж, хорошо, хорошо...— тут же отреагировал Робер как бы с обидой в голосе.— Я не настаиваю.— Потом продолжил на мотивчик «ну разве я могу на вас сердиться»: — Если вдруг передумаете, сообщите мне без промедления... потому что завтра, после пяти вечера, будет уже поздно.

Венсан, перестав воспринимать графа де Пассавана всерьез, восхищался им все больше и больше.

XVIII

Дневник Эдуара

«2 часа. Потерял чемодан. Так мне и надо. Из всего, что в нем находилось, я дорожил только дневником. Но дорожил очень. В сущности, это приключение меня весьма позабавило. И все же так хочется заполучить обратно свои бумаги. Кому попадутся они на глаза?.. Не исключено, что, лишившись дневника, я преувеличиваю его значение. Эта тетрадь прерывалась на эпизоде моего отъезда в Англию. Когда я жил там, то писал в другой тетради — возвращаясь во Францию, я отложил ее в сторону. С новой тетрадью, где я пишу сейчас, расстанусь, думаю, не скоро. Ведь это же зеркало, которое я всегда ношу с собой. Ни одно из событий моей жизни не кажется мне реальным до тех пор, пока я не увижу его отраженным в этом зеркале. Однако с момента моего возвращения во Францию меня не покидает ощущение, что я пребываю в каком-то сне. Насколько все-таки тягостной оказалась беседа с Оливье! А я-то рассчитывал получить от нее столько радости... Остается только надеяться, что он остался столь же неудовлетворенным и беседой, и собой, и мной, как и я. Мне, увы, не удалось ни самому разговориться, ни заставить говорить его. Ах, как трудно дается каждое, даже самое незначительное слово, когда оно требует вовлеченности всего существа! Как только к речи подключается сердце, мозг деревенеет, становится неповоротливым.

7 часов. Мой чемодан найден, во всяком случае, найден тот, кто у меня его взял. То, что он оказался ближайшим другом Оливье, образует между нами целую сеть взаимосвязей, укрепление которых зависит только от меня. Жаль вот только, что любое неожиданное событие вызывает у меня столь живой интерес, что я теряю из виду цель, поставленную накануне.

Видел Лору. Мое стремление оказывать помощь еще больше обостряется, когда оно встречает на своем пути какую-нибудь трудность, оказывается вынужденным бороться с условностями, с чем-нибудь пошлым и рутинным.

Визит к старому Лаперузу. Открыла мне госпожа де Лаперуз. Я не видел ее больше двух лет, но она узнала

меня сразу. (Не думаю, чтобы у них часто бывали гости.) Кстати, сама она почти не изменилась, вот только (не оттого ли, что я настроил себя против нее) черты ее мне показались более жесткими, взгляд более хищным, а улыбка более фальшивой, чем когда-либо в прошлом.

— Боюсь, что господин де Лаперуз принять вас окажется не в состоянии, — сказала она незамедлительно и с явным намерением сделать так, чтобы я общался с ней, а не с ним; потом, пользуясь своей глухотой, ответила, хотя я ни о чем ее не спрашивал: — Да нет же, нет, вы нисколько мне не помешали. Входите же.

Она ввела меня в комнату с двумя окнами во двор, где Лаперуз обычно давал свои уроки. Теперь я был в ее власти, и она начала:

— Я чрезвычайно счастлива, что смогу немного поговорить с вами наедине. Меня очень беспокоит состояние господина де Лаперуза, с которым, как мне известно, вас связывает давняя и верная дружба. Не могли бы вы убедить его, чтобы он полечился; вас он слушает. А то когда я ему это говорю, то мои слова производят на него такое же впечатление, как если бы я пела песенку о Мальбруке.

И тут упреки посыпались один за другим: старик отказывается лечиться с единственной целью помучить ее. Делает все, что не должен был бы делать, и не делает ничего из того, что нужно было бы сделать. Выходит на улицу в любую погоду, причем никогда не соглашается надеть на шею платок. Отказывается есть: не голоден, видите ли, и чего только не делает она, чтобы у него проснулся аппетит, а он встанет ночью, перероет все на кухне и что под руку попадется, то и съест.

Старуха явно ничего не выдумывала; слушая ее рассказ, я понимал, что только своеобразная подача мелких безобидных фактов сообщала им какой-то оскорбительный смысл, и поражался, какую все-таки чудовищную тень отбрасывала действительность на оболочку этого убогого мозга. Однако не толковал ли превратно и старик все заботы и знаки внимания старухи, воображавшей себя мученицей, в результате чего и сам он вдруг начинал казаться палачом. Я отказываюсь и судить их, и даже понимать, или, точнее, как обычно бывает, чем лучше я их понимаю, тем мягче становится мой суд. Так или иначе, но эти два существа, привязанные друг к другу на всю жизнь, причиняют друг другу ужасные страдания. Я часто замечал у супругов, какое жгучее раздражение вызывает у одного из них мельчайшая выпуклость характера другого,

потому что при «совместной жизни» эта выпуклость трет все время в одном и том же месте. И если трение взаимное, то супружеская жизнь превращается в сплошной ад.

Черты ее мертвенно-бледного лица казались особенно жесткими из-за парика с черными лентами, а длинные черные митенки, откуда, словно когти, торчали маленькие пальцы, делали госпожу де Лаперуз похожей на гарпию.

— Он упрекает меня, что я за ним шпионю,— продолжала она.— Он всегда нуждался в длительном сне; теперь же по ночам сначала делает вид, что ложится спать, а потом, думая, что я заснула, встает, роется в старых бумагах, иногда до самого утра читает, плача, письма, полученные давным-давно от своего покойного брата. И хочет еще, чтобы я все это сносила молча!

Затем она стала жаловаться на то, что старик хочет отправить ее в дом для престарелых, а это, добавила она, было бы ей тем тяжелее перенести, что он совершенно не способен жить один и обходиться без ее забот. Сказала она это жалостливым тоном, в котором так и сквозило лицемерие.

Пока она продолжала свои сетования, дверь гостиной мягко открылась за ее спиной и неслышно для нее появился Лаперуз. Когда она произносила последнюю фразу, он улыбнулся мне иронической улыбкой и поднес палец ко лбу, давая понять, что она сумасшедшая. Потом нетерпеливо и даже грубо, чего я никак от него не ожидал, и как бы подтверждая обвинения старухи (однако частично резкость его манер объяснялась необходимостью преодолевать барьер ее глухоты), сказал:

— Хватит, мадам! Поймите же, что вы утомляете гостя своими речами. Мой друг пришел не к вам. Оставьте нас.

На что старуха возразила, что кресло, на котором она сидит, принадлежит ей и что она с него не встанет.

— В таком случае,— сказал Лаперуз с усмешкой,— если позволите, то удалимся мы.— Он повернулся ко мне и совершенно другим, приветливым тоном произнес:— Пойдемте! Пусть остается.

Я немного нескладно попрощался с ней и пошел за ним в соседнюю комнату, где он принимал меня в прошлый раз.

— Я рад, что вам удалось послушать ее,— сказал он мне.— Вот! И так целый день.

— Из-за уличного шума ничего не слышно. Я трачу все свое время только на то, чтобы закрывать окна, а го-

спожа де Лаперуз тратит его на то, чтобы открывать их опять. Она утверждает, что задыхается. Она всегда все преувеличивает. Она не хочет понять, что снаружи жарче, чем внутри. А ведь у меня там даже есть маленький термометр, но, когда я ей его показываю, она отвечает, что цифры еще ни о чем не говорят. Она хочет быть правой даже тогда, когда знает, что явно не права. Самое главное для нее — противоречить мне.

Однако, когда он говорил, мне показалось, что уравновешенности не хватает и ему самому тоже; между тем он продолжал, все больше возбуждаясь:

— Во всем, что она делает в жизни шиворот-навыворот, она обвиняет меня. У нее все суждения не соответствуют действительности. Вот, послушайте, сейчас вы поймете. Известно, что образы внешнего мира приходят в наш мозг перевернутыми, и там специальный нервный аппарат исправляет их. Так вот, у госпожи де Лаперуз такого исправляющего аппарата нет. У нее все так и остается в перевернутом виде. Вы себе представить не можете, как все это гяжело.

Высказываясь, он явно чувствовал какое-то облегчение, и я его не прерывал. Он продолжал:

— Госпожа де Лаперуз всегда слишком много ела. Так вот, теперь она утверждает, будто слишком много ем я. Как только она видит у меня в руках плитку шоколада (это моя основная еда), сразу же начинает пришептывать: «А он знай себе грызет да грызет!..» Она за мной следит. Обвиняет меня, что я ночью встаю и тайком ем; и все только потому, что однажды действительно застала меня, когда я готовил себе на кухне чашку шоколада... А что я могу поделать? Когда посмотрю, как она за столом, сидя напротив меня, набрасывается на еду, у меня всякий аппетит пропадает. А она утверждает, будто я привередничаю, хочу помучить ее.

Он немного помолчал, потом продолжил с каким-то лирическим подъемом:

— Меня просто восхищают ее упреки в мой адрес!.. Например, когда она страдает от ишиаса, я ее жалею. А она обрывает меня, начинает пожимать плечами и говорит: «Только не надо притворяться, что у вас есть сердце». И что бы я ни делал, что бы ни говорил — все это лишь для того, чтобы помучить ее.

Мы оба сидели, но он, охваченный какой-то болезненной тревогой, то и дело вскакивал и снова садился.

— Пришло бы вам когда-нибудь в голову, что в каждой

из этих комнат есть мебель, которая принадлежит ей, и мебель, которая принадлежит мне? Вы только что были свидетелем разговора об этом кресле. Женщине, нанятой помогать по хозяйству, она, когда та убирается в квартире, говорит: «Нет, это не надо трогать, это принадлежит господину де Лаперузу». И когда я однажды нечаянно положил нотную тетрадь в переплете на ее столик, она взяла и швырнула ее на пол. Углы все поломались... О! Долго так продолжаться не может... Но послушайте...

Он схватил меня за руку и понизил голос:

— Я принял кое-какие меры. Она постоянно грозится, что «если я буду продолжать», то она отправится жить в дом для престарелых. Я отложил определенную сумму, которой должно хватить на ее содержание в Сент-Перине; говорят, что из всех заведений это самое лучшее. Те несколько уроков, что я все еще даю, не приносят мне уже почти никакого дохода. Через какое-то время мои ресурсы иссякнут, и мне пришлось бы начать тратить из этой суммы, а я не хочу. Поэтому я принял одно решение... Это произойдет через три месяца, даже немного позже. Да, я наметил дату. Если бы вы знали, какое облегчение я испытываю при мысли о том, что с каждым часом она все ближе и ближе.

Он сидел, наклонившись ко мне, а теперь наклонился еще сильнее.

— Еще я отложил одну бумагу на получение ренты. О! Весьма незначительной, но больше я просто не мог. Госпожа де Лаперуз про нее не знает. Она лежит в моем письменном столе, в конверте на ваше имя, со всеми необходимыми распоряжениями. Могу я рассчитывать на вашу помощь? Я ничего не смыслю в денежных делах, но нотариус, с которым я разговаривал, объяснил мне, что годовые поступления можно будет передавать прямо моему внуку до его совершеннолетия, до тех пор пока он не станет сам владельцем этой ренты. Я подумал, что не слишком обременю вас, если попрошу как старого друга проследить за тем, чтобы мое распоряжение было исполнено. У меня такое недоверие к нотариусам!.. И даже не могли бы вы ради моего спокойствия взять этот конверт себе уже сейчас?.. Возьмете, да? Я пойду схожу за ним.

Он вышел, семеня по своему обыкновению ногами, и вернулся с большим конвертом в руках.

— Извините меня за то, что я его запечатал; это просто для формы. Берите.

Я взглянул на него и прочел под моей фамилией кал-

лиграфическим почерком выведенные слова: «Вскрыть после моей смерти».

— Положите скорее в карман, чтобы я знал, что он в безопасности. Спасибо... Ах! Я так ждал вас!..

У меня часто возникало ощущение, что в такие вот торжественные моменты все присущие мне человеческие чувства могут уступить место своеобразному, почти мистическому трансу, некоему восторгу, благодаря которому все мое существо переживает состояние вознесения, или, точнее, освобождения от своих эгоистических побуждений, от самого себя, от своей индивидуальности. Тот, кому не довелось испытать подобного состояния, естественно, меня не поймет. Однако я чувствовал, что Лаперуз понимает. Любые возражения с моей стороны были бы неуместными, неподобающими, и я ограничился лишь крепким пожатием его руки, задержавшейся в моей ладони. Глаза его блестели каким-то странным блеском. В другой руке, державшей до этого конверт, я увидел еще одну бумагу.

— Я написал здесь его адрес. Я ведь теперь знаю, где он находится. В Саас-Фе. Вы знаете, где это? В Швейцарии. Я искал на карте, но не нашел.

— Да,— сказал я.— Это небольшая деревня около Сервена.

— Очень далеко отсюда?

— Ну, не настолько, чтобы не попытаться туда как-нибудь съездить.

— Неужели! Вы могли бы это сделать?.. О! Как вы добры,— сказал он. — Я-то уж для этого слишком стар. Да и к тому же не могу из-за матери... И все же мне кажется, что я...— он поколебался, подыскивая нужное слово, потом закончил: — что я с легкостью отправился бы туда, будь у меня надежда увидеть его.

— Бедный мой друг... Все, что в моих человеческих силах, я постараюсь сделать, чтобы привезти его к вам. Вы увидите маленького Бориса, обещаю вам.

— Спасибо... Спасибо...

Он порывисто сжал меня в своих объятиях.

— Но только обещайте мне больше не думать о...

— О! Это нечто совсем другое,— сказал он и, как бы стараясь переключить мое внимание и помешать мне настаивать, продолжил: — Представьте себе, как-то раз мать одной моей бывшей ученицы вздумала пригласить меня в театр! Приблизительно месяц тому назад. Это был утренний спектакль в «Комеди Франсез». Я уже больше

двадцати лет не ходил в театр. Давали «Эрнани» Виктора Гюго. Знаете, да? Похоже, играли очень хорошо. Все вокруг были в восторге. А я страдал просто невероятно. Если бы меня не удерживала моя вежливость, ни за что бы не остался... Сидели мы в ложе. Друзья старались меня успокоить. Еще бы немного, и я стал бы кричать в публику. О! Как это можно? Как это можно?..

Не понимая поначалу, что он имеет в виду, я спросил:

— Вам не понравились актеры?

— Ну разумеется. Как только люди осмеливаются выносить подобный срам на сцену?.. А публика еще и аплодировала! А ведь в зале были дети, дети, которых привели с собой родители, зная содержание пьесы... Это просто чудовищно. Причем происходит все это в театре, получающем субсидии от государства!

Негодование этого милейшего человека казалось комичным. Я чуть было не расхохотался. Стал возражать, говоря ему, что драматического искусства без изображения страстей не существует. В свою очередь он стал говорить, что изображение страстей, так или иначе, является дурным примером. Наш спор продолжался в таком духе некоторое время, и я решил сравнить этот патетический элемент с неистовством медных инструментов в какой-нибудь оркестровой пьесе:

— Возьмите, к примеру, это вступление тромбонов, которым вы так восхищаетесь в симфониях Бетховена...

— Вовсе я не восхищаюсь этим вступлением тромбонов! — вскричал он с неожиданной горячностью.— Почему я должен восхищаться тем, что меня будоражит?

Он дрожал всем телом. Послышавшаяся в его голосе нота возмущения, даже враждебности, удивила не только меня, но, кажется, и его самого тоже, потому что он немедленно перешел на более спокойный тон:

— Вы заметили, что современная музыка направила все свои усилия на то, чтобы сделать привычными и даже приятными для нашего слуха некоторые аккорды, которые раньше считались диссонирующими?

— Разумеется,— ответил я,— все должно наконец покориться гармонии, стать частью гармонии.

— Гармонии! — повторил он, пожимая плечами.— Я вижу в этом лишь привыкание к злу, к греху. Притупляется чувствительность, тускнеет чистота, менее живой становится реакция: мы становимся ко всему терпимыми и все принимаем...

— Послушать вас, так кто-то и детей от груди не решится отнимать.

Но он, не слыша меня, продолжал свое:

— Если бы можно было вновь обрести непримиримость юности, то наибольшее возмущение вызывало бы у нас то, во что мы превратились.

Было уже слишком поздно, чтобы пускаться в телеологические дискуссии, и я попытался вернуть его к более привычным для него темам:

— Не будете же вы стремиться свести всю музыку только к выражению безмятежности? В таком случае пришлось бы ограничиться одним-единственным аккордом, прекрасным нескончаемым аккордом.

Он взял обе мои руки и с закатившимися в благоговении глазами, словно в экстазе, повторил несколько раз:

— Прекрасный нескончаемый аккорд, да, именно так, прекрасный нескончаемый аккорд... Только вот мир-то наш,— с грустью в голосе добавил он,— весь оказался во власти диссонанса.

Я попрощался с ним. Он проводил меня до двери и, обнимая, прошептал:

— Ах! Как долго еще ждать разрешения аккорда!»

Вторая часть

СААС-ФЕ

I

ПИСЬМО БЕРНАРА К ОЛИВЬЕ

Понедельник

«Старина,

Позволь первым делом сообщить тебе, что экзамены я сдавать не стал. Ты, конечно, и сам это понял, когда увидел, что я не пришел. Буду сдавать в октябре. Мне представилась совершенно уникальная возможность отправиться в путешествие. Я воспользовался ею и не жалею. Решать нужно было немедленно; у меня не оставалось времени ни на размышления, ни даже на то, чтобы попрощаться с тобой. В этой связи мой спутник поручил мне выразить всяческие сожаления по поводу того, что он уехал, не повидавшись с тобой Поскольку, знаешь, с кем я уехал? Ты уже догадываешься... не с кем иным, как с Эдуаром, твоим славным дядюшкой, которого я встре-

тил вечером, в самый день его приезда в Париж, при весьма необычных и сенсационных обстоятельствах, о которых расскажу тебе позже. Впрочем, в этом приключении необычным оказалось буквально все; когда я вспоминаю, у меня начинает кружиться голова. Даже еще сейчас я отказываюсь верить, что это происходит наяву и что я пишу тебе эти строки, находясь здесь, в Швейцарии, с Эдуаром и... Так что я должен многое тебе рассказать, но только учти: письмо порви и никому ни о чем не рассказывай.

Представь себе: та бедная, покинутая твоим братом Венсаном женщина, чьи рыдания ты слышал ночью у дверей твоей комнаты (позволь мне сказать тебе, что, не открыв ей, ты поступил как последний идиот), оказалась большой приятельницей Эдуара и одновременно родной дочерью Веделя, сестрой твоего друга Армана. Мне не следовало бы тебе об этом рассказывать, поскольку речь идет о чести женщины, но если я никому не расскажу, то не выдержу и умру... Прошу еще раз: никому ни слова. Тебе уже известно, что она недавно вышла замуж; возможно, тебе известно также и то, что вскоре после свадьбы она заболела и поехала лечиться на юг. Именно там, в По, она и познакомилась с Венсаном. Возможно, это тебе тоже известно. Но вот чего ты наверняка не знаешь, так это того, что их встреча имела последствия. Да, старина! Твой чертов неуклюжий братец сделал ей ребенка. В Париж она вернулась беременной и не осмелилась ни предстать перед своими родителями, ни вернуться к семейному очагу. Тем временем твой брат ее бросил; тебе даже известно, как это произошло. Избавляю тебя от комментариев и могу только сказать, что Лора Дувье ни в чем его не упрекает, никакого зла на него не держит. Напротив, придумывает, что только может, чтобы оправдать его поведение. Одним словом, она очень хороший человек и очень милая женщина. И кто еще очень хорош, так это Эдуар. Поскольку она не знала ни что делать, ни куда направиться, он предложил ей поехать вместе в Швейцарию и одновременно предложил мне сопровождать их, потому что путешествовать наедине с ней при том, что он испытывает к ней лишь дружеские чувства, ему было бы неловко. Вот так втроем мы и отправились. Решилось это буквально в течение каких-нибудь пяти минут: потребовалось лишь собрать ее чемоданы да немного приодеть меня (ты же знаешь, что я ушел из дома совершенно без ничего). Ты не можешь себе представить, как мило повел себя в этой ситуации Эдуар; и в довершение еще все время повторял мне, что

одолжение оказывает не он мне, а я ему. Да, старина, ты мне нисколько не врал: твой дядя — потрясающий тип.

Путешествие получилось довольно тяжелым — и потому, что Лора очень уставала, и потому, что ее состояние (она на третьем месяце беременности) требовало всяческих мер предосторожности, и еще потому, что добираться до того места, куда мы решили поехать (по ряду причин, о которых сразу так не расскажешь), весьма тяжеловато. Нередко усложняла дело и сама Лора — отказывалась принимать какие-либо меры предосторожности, и беречься ее приходилось заставлять чуть ли не силой; она постоянно повторяла, что несчастный случай — лучшее из того, что может с ней произойти. Так что представь себе, насколько осторожно должны были мы с ней обращаться. Ах! Друг мой, ну что за изумительная женщина! Я чувствую сейчас себя совершенно иным, чем до встречи с ней, и есть такие мысли, которые отныне я не осмеливаюсь формулировать, есть такие движения сердца, которые я сдерживаю, так как мне было бы стыдно оказаться недостойным ее. Честное слово, мне кажется, что, когда находишься рядом с ней, в голову приходят одни только благородные мысли. При всем этом наши беседы втроем носят весьма вольный характер, так как Лора отнюдь не ханжа, и мы говорим абсолютно обо всем; однако я уверяю тебя, что есть множество вещей, над которыми в ее присутствии я уже ни за что не буду смеяться и которые теперь мне кажутся очень и очень серьезными.

Ты, должно быть, думаешь, что я в нее влюбился. Ну что ж, старина, ты весьма близок к истине. Безумие, не так ли? Ты можешь себе представить меня влюбленным в беременную женщину, которую я, естественно, уважаю и до которой я не осмелюсь дотронуться и кончиком пальца? Видишь, превратиться в распутника мне вроде бы не грозит...

Когда, преодолев массу трудностей (поскольку на коляске сюда не проехать, мы наняли для Лоры портшез), мы добрались до Саас-Фе, в гостинице для нас нашлось только две комнаты: одна большая с двумя кроватями и одна маленькая, о которой в присутствии хозяина гостиницы было сказано, что в ней буду жить я,— так как для того, чтобы скрыть настоящее имя Лоры, мы выдаем ее за жену Эдуара,— но, едва наступает ночь, она вселяется в маленькую комнату, а я перехожу к Эдуару в большую. Каждое утро, дабы сбить с толку прислугу, приходится

устраивать подвиги переселения. К счастью, комнаты сообщаются между собой, что упрощает дело.

Мы здесь уже шесть дней; я не написал тебе раньше, потому что сначала меня все это сильно выбило из колеи и нужно было привести в порядок свои мысли и чувства. Только сейчас начинаю приходить в себя.

Мы уже совершили вдвоем с Эдуаром несколько весьма занятных небольших прогулок в горы, хотя, по правде говоря, страна мне не очень нравится; как, впрочем, и Эдуару тоже. Он находит здешний пейзаж «высокопарным». Совершенно точное определение.

Что здесь есть самого лучшего, так это воздух, которым мы дышим, девственный, очищающий легкие воздух. Вообще же мы стараемся не оставлять слишком надолго Лору одну, а сопровождать нас она, разумеется, не может. Общество в гостинице собралось довольно занятное. Собрались представители буквально всех национальностей. Чаще всего мы встречаемся с одной польской докторшей, которая проводит здесь свой отпуск с дочкой и мальчиком, вверенным ее заботам. Точнее даже было бы сказать, что мы приехали сюда именно ради этого ребенка. Он страдает какой-то нервной болезнью, которую докторша лечит по изобретенной ею новой методике. Но самое благотворное воздействие на этого, честное слово, весьма симпатичного мальчишку оказывает его безумная влюбленность в дочку докторши; она на несколько лет старше его и является самым прелестным созданием, когда-либо встречавшимся в моей жизни. Они не расстаются друг с другом с утра до позднего вечера. Они так хорошо смотрятся вдвоем, что никто даже и не помышляет над ними подшучивать.

Занимаюсь я мало и ни разу со времени моего отъезда не удосужился раскрыть книгу, но зато много размышляю. Удивительно интересны беседы Эдуара. Со мной непосредственно он говорит не слишком много, хотя и называет меня своим секретарем; однако я слушаю его разговоры с другими, в первую очередь с Лорой, с которой он любит делиться своими проектами. Ты себе и представить не можешь, насколько все это полезно. Иногда я говорю себе, что мне следовало бы делать записи, но думаю, что и так все запоминаю. В некоторые дни очень хочу тебя видеть и говорю себе, что здесь должен был бы быть ты, а не я, но в то же время не могу ни сожалеть о том, что со мной происходит, ни желать, чтобы все было как-то иначе. Знай по крайней мере, что я все время

помню, что познакомился с Эдуаром благодаря тебе и что своим счастьем я обязан именно тебе. Думаю, что, когда мы вновь встретимся, ты найдешь меня сильно изменившимся, но, несмотря ни на что, я остаюсь твоим верным и преданным, как никогда, другом.

Среда

P. S. Мы только что вернулись из грандиозного похода. Восхождение на Аллален — проводники в одной связке с нами, ледники, ущелья, лавины и прочее... Спали посреди снегов в приюте вместе с другими туристами; теснотища жуткая, и мы, как сам можешь догадаться, всю ночь не сомкнули глаз. На следующее утро — отправление до восхода солнца... Нет, старина, я больше не буду говорить плохо о Швейцарии: когда ты там, наверху, и не видишь уже ни малейшего следа культуры, растительности — всего того, что напоминает о мелочности и глупости людей, то появляется желание петь, смеяться, плакать, летать, устремиться в небо или упасть на колени. Обнимаю.

Бернар».

Бернар был человеком слишком непосредственным, слишком естественным, слишком чистым, и он слишком плохо знал Оливье, чтобы предположить, какую волну отвратительных чувств — настоящее половодье из слившихся воедино досады, отчаяния, ярости — вызовет в душе у того это письмо. Оливье почувствовал себя вытесненным и из сердца Бернара, и из сердца Эдуара. Дружба двух его друзей подписывала приговор его дружбе. Особенно мучила его одна фраза из письма, которую Бернар никогда бы не написал, если бы мог предчувствовать, как отзовется она в сознании Оливье. «В одной комнате»,— повторял он, а в сердце его извивалась, корчилась мерзкая змея ревности. «Они спят в одной комнате!..» Чего только не рисовало ему его воображение! Мозг наполнялся нечистыми видениями, которые он даже и не пытался прогонять. Он ревновал не Эдуара и не Бернара, а их обоих вместе. Он представлял себе их поочередно либо вместе и завидовал им обоим одновременно. Письмо пришло к нему в двенадцать часов дня. И весь остаток дня он беспрестанно повторял: «Ах! Вот, значит, как...» Ночью его терзали бесы. Наутро он бросился к Роберу. Граф де Пассаван ждал его.

II

Дневник Эдуара

«Найти маленького Бориса оказалось нетрудно. На следующий день после нашего приезда он сам пришел на террасу гостинницы и принялся разглядывать горы через укрепленную на вращающемся штативе и предоставленную в распоряжение путешественников подзорную трубу. Я его сразу узнал. Вскоре к Борису присоединилась девочка немного повыше его ростом. Я находился рядом, в гостиной, застекленная дверь которой оставалась все время открытой, так что я не пропустил ни одного слова из их беседы. У меня было сильное желание заговорить с ним, но я счел более разумным познакомиться сначала с матерью девочки, польской докторшей, чьим заботам вверили Бориса и которая внимательно за ним наблюдает. Маленькая Броня просто очаровательна; ей, должно быть, лет пятнадцать. У нее спускающиеся до пояса, заплетенные в косы густые светлые волосы, а взгляд ее и звук ее голоса, кажется, принадлежат скорее ангелу, чем человеку. Разговор этих двух детей я запечатлел на бумаге:

— Борис, мама говорит, чтобы мы не трогали трубу. Давай пойдем погуляем.

— Да, давай. Нет, не хочу.

Две противоречащие друг другу фразы были произнесены на едином дыхании. Броня уловила только вторую и спросила:

— Почему?

— Сейчас очень жарко, сейчас очень холодно. (Он оставил трубу.)

— Ну Борис, будь хорошим. Ты же знаешь, что маме будет приятно, если мы пойдем вместе. Куда ты дел свою шляпу?

— Виброскоменопатоф. Блаф-блаф.

— Что это означает?

— Ничего.

— Тогда зачем ты это говоришь?

— Затем, чтобы ты не поняла.

— Если это ничего не означает, то я совсем и не хочу понимать.

— А если бы это что-нибудь означало, то ты все равно бы не поняла.

— Когда люди говорят, то делают это для того, чтобы друг друга понимать.

— А давай играть в такие слова, которые мы сами сочиним и только мы будем понимать.

— Сначала постарайся научиться хорошо говорить по-французски.

— А моя мама говорит по-французски, по-английски, по-романски, по-русски, по-турецки, по-польски, по-италоскопски, по-испански, по-перрюкски и по-ксикситуски.

Все это было произнесено очень быстро, в каком-то лирическом исступлении.

Броня рассмеялась.

— Борис, почему ты все время рассказываешь про какие-то вещи, которых вообще нет на свете?

— А почему ты никогда не веришь тому, что я говорю?

— Я верю тому, что ты говоришь, когда это правда.

— А как ты узнаешь, что правда, а что неправда? Я же ведь тебе поверил тогда, когда ты рассказывала мне про ангелов. Скажи, Броня, как ты думаешь: если я очень сильно помолюсь, то я тоже их увижу?

— Может быть, и увидишь, если перестанешь врать и если Бог захочет тебе их показать; но голько Бог тебе их не покажет, если ты будешь молиться только для того, чтобы увидеть их. Есть много очень красивых вещей, которые мы смогли бы увидеть, если бы были не такие злые.

— Броня, ты-то не злая, и поэтому ты можешь видеть ангелов. А я всегда буду злой.

— Почему ты не стараешься, чтобы больше не быть таким? Хочешь, мы пойдем вместе в (здесь она произнесла какое-то незнакомое мне название) и там оба помолимся Богу и Пресвятой Деве, чтобы они помогли тебе перестать быть злым.

— Хочу. Нет, послушай, давай возьмем палку, и ты будешь держать ее за один конец, а я за другой. Я закрою глаза и обещаю тебе не открывать их до тех пор, пока мы не придем туда.

Они немного отошли от меня, и, когда спускались по ступенькам террасы, до меня еще доносились некоторые слова Бориса:

— Да нет, не этот конец. Подожди, я его вытру.

— Зачем?

— Я дотронулся до него.

Госпожа Софроницкая подошла ко мне в тот момент, когда я, сидя один за столом и заканчивая завтракать, как

раз размышлял над тем, как бы завязать с ней знакомство. Я с удивлением увидел, что она держит в руке мою последнюю книгу: она спросила меня, очень приветливо улыбаясь, не с ее ли автором она имеет удовольствие разговаривать; потом тут же начала подробнейшим образом разбирать мою книгу. Ее суждения, похвалы и критические замечания показались мне более умными, чем те, которые я привык выслушивать, хотя подход у нее, надо сказать, совершенно не литературный. Она сказала мне, что интересуется почти исключительно вопросами психологии и тем, что может представить в новом свете человеческую душу. Только вот, добавила она, насколько же редко встречаются поэты, драматурги или романисты, которым дано не сводить все к уже готовой психологии (единственной, заметил я ей, способной удовлетворить читателей).

Заботиться о маленьком Борисе во время каникул ее попросила его мать. Я не стал раскрывать ей причины моего интереса к мальчику.

— Он очень впечатлительный,— сказала мне госпожа Софроницкая.— Общество матери действует на него отрицательно. Она собралась было ехать в Саас-Фе вместе с нами, но я согласилась заниматься ребенком только при условии, что она полностью вверит его моим заботам; в противном случае я бы никак не могла поручиться за успех лечения. Вы только представьте себе, сударь,— продолжала она,— она держит этого мальчика в состоянии постоянной экзальтации, что способствует развитию у него тяжелейших нервных расстройств. После смерти отца этой женщине приходится самой зарабатывать на жизнь. Она была только пианисткой, причем я должна сказать, бесподобной исполнительницей, но ее слишком изысканная игра не могла нравиться широкой публике. Тогда она решила петь на концертах, в казино, в театрах. И брала Бориса с собой в свои артистические уборные; мне думается, что неестественная атмосфера театра во многом способствовала нарушению психического равновесия ребенка. Мать очень любит его, но, по правде сказать, было бы лучше, если бы он жил отдельно от нее.

— А что, собственно, у него?— спросил я.

Она рассмеялась:

— Вы хотите знать название болезни? Ах! Много это вам даст, если я сообщу вам красивое научное название.

— Скажите мне просто, в чем выражается его недуг.

— Он состоит из целого ряда различных мелких расстройств, тиков, маний, позволяющих сказать, что он нерв-

ный ребенок; при лечении их обычно помогают покой, свежий воздух и здоровый образ жизни. Разумеется, крепкий организм не позволил бы возникнуть такого рода расстройствам. Однако, хотя физическая слабость и способствует их развитию, она не является первопричиной. Мне кажется, что источник их нужно искать в каком-то пережитом ребенком изначальном потрясении, связанном с каким-то событием, которое необходимо обнаружить. Как только больной начинает осознавать эту причину, его можно считать наполовину выздоровевшим. Однако чаще всего он оказывается не в состоянии вспомнить это событие; оно как бы скрывается в тени болезни; вот я и пытаюсь его обнаружить за этим укрытием, чтобы оно оказалось на свету, то есть чтобы попало в поле зрения. Я считаю, что ясное зрение очищает сознание, подобно тому как луч света очищает зараженную воду.

Я рассказал Софроницкой про разговор, подслушанный мной накануне и оставивший у меня впечатление, что Борису до выздоровления пока что далеко.

— Дело осложняется еще тем, что мне предстоит немало поработать, прежде чем удастся узнать о прошлом Бориса все, что мне необходимо знать. Я начала лечение совсем недавно.

— А в чем оно заключается?

— О! Просто в том, чтобы заставлять его говорить. Каждый день я разговариваю с ним от одного до двух часов. Задаю ему вопросы, хотя и не очень много. Главное — добиться его доверия. Многое мне уже удалось узнать, и многое еще предстоит узнать. Но малыш пока что упирается, стыдится; если же действовать слишком поспешно, настаивать, стараясь как можно скорее добиться от него откровенности, то есть риск, что вместо полного доверия получишь нечто совершенно противоположное. Тогда он стал бы упрямиться. Пока мне не удастся победить его сдержанность, его стыдливость...

Те методы дознания, о которых она мне говорила, показались мне до такой степени предосудительными, что я едва сдержал движение протеста, но любопытство во мне победило.

— Вы хотите сказать, что ожидаете от этого малыша каких-нибудь бесстыдных откровений?

Настал ее черед протестовать.

— Бесстыдных? Бесстыдства здесь не больше, чем при прослушивании грудной клетки. Мне необходимо знать все, и в первую очередь то, что обычно старательнее всего

скрывается. Я должна довести Бориса до полного признания; без этого я не смогу его вылечить.

— Так, значит, вы подозреваете, что он должен в чем-то вам признаться? А вы, простите, уверены, что те признания, которые вы желаете от него получить, не будут внушенными вами же?

— Эту опасность следует постоянно иметь в виду, и именно ею объясняется моя медлительность. Мне случалось видеть, как неловкие судебные следователи, сами того не желая, внушали детям совершенно фантастические показания, и те под нажимом допрашивающих с чистым сердцем лгали, веря в реальность воображаемых преступлений. Моя же роль заключается в том, чтобы выжидать и, главное, ничего не внушать. При этом необходимо иметь адское терпение.

— Мне думается, метод здесь находится в прямой зависимости от талантов врачующего.

— Я бы не взяла на себя смелость так утверждать. Уверяю вас, что, поработав какое-то время, приобретаешь удивительную сноровку, своего рода ясновидение, или, если вы предпочитаете другое слово, интуицию. Правда, порой случается пойти по ложному следу, и тогда важно не упорствовать. А знаете, с чего начинаются все наши беседы? Прежде всего Борис рассказывает мне, что ему снилось ночью.

— Но кто может поручиться, что он не сочиняет?

— Ну и что, что сочиняет?.. Любая выдумка болезненного воображения уже показательна.

Она чуть помолчала, потом продолжила:

— Выдумка, болезненное воображение... Нет! Нечто совсем другое. Слова искажают мысль. Борис при мне грезит вслух. Он соглашается оставаться по утрам на протяжении часа в том состоянии полусна, когда возникающие внутри нас образы ускользают от контроля нашего разума. Они группируются и сочетаются друг с другом не в соответствии с обычной логикой, а согласно какому-то неожиданному сродству, и, что самое важное, они подчиняются некоей таинственной внутренней потребности, той самой потребности, которую я как раз и должна обнаружить; так что все эти детские фантазии дают мне больше, чем мог бы дать самый глубокий анализ самого сознательного из моих пациентов. Многие вещи ускользают от рассудочного контроля, и тот, кто, желая понять жизнь, пользуется только разумом, похож на человека, вознамерившегося схватить каминными щипцами огонь. Перед

ним оказывается всего лишь кусок обугленного дерева, а пламя тут же пропадает.

Она снова замолчала и стала листать мою книгу.

— Как все-таки неглубоко проникаете вы в человеческую душу! — воскликнула она и тут же со смехом быстро добавила: — О! Я говорю не о вас конкретно; когда я говорю «вы», то подразумеваю романистов вообще. Почти все ваши персонажи кажутся воздвигнутыми на сваях: у них нет ни фундамента, ни подвала. Мне действительно кажется, что у поэтов истина встречается чаще; все созданное только умом несет на себе печать фальши. Впрочем, сейчас я говорю о вещах, от меня далеких... Знаете, что сбивает меня с толку в Борисе? То, что он кажется мне слишком чистым.

— Почему же это сбивает вас с толку?

— Потому что в этой ситуации я не знаю, где мне искать источник зла. В девяти случаях из десяти первопричиной подобного расстройства оказывается какая-нибудь большая постыдная тайна.

— Возможно, у каждого из нас есть такая тайна; но, слава Богу, болеем мы далеко не все.

В этот момент госпожа Софроницкая встала, увидев в окно проходившую мимо Броню.

— Вот, смотрите,— сказала она, показывая мне на нее,— вот он, настоящий врач Бориса. Она меня ищет, и мне придется вас покинуть, но я ведь еще увижу вас, не правда ли?

Я, впрочем, понимаю упреки Софроницкой в адрес обманывающего ее ожидания романа; однако от нее ускользают некоторые собственно художественные соображения, некоторые высшие соображения, позволяющие мне сделать вывод, что хорошему натуралисту не дано стать хорошим писателем.

Я познакомил госпожу Софроницкую с Лорой. Похоже, они нашли общий язык, чему я очень рад. Когда они болтают между собой, мне легче уединяться, не испытывая угрызений совести. Жалко, конечно, что у Бернара не нашлось здесь ни одного сверстника, но ему нужно готовиться к экзаменам, что занимает его по крайней мере на несколько часов в день. И теперь я могу вернуться к моему роману».

III

Вопреки первому благоприятному впечатлению и несмотря на то, что оба они, как говорят, «вносили свою лепту», полного взаимопонимания между дядей Эдуаром и Бернаром не складывалось. Не чувствовала себя удовлетворенной и Лора. Да и легко ли было ей почувствовать удовлетворение? Обстоятельства принудили ее взять на себя какую-то совершенно чуждую ей роль, и она ее стеснялась. Ведь она, подобно многим любящим и покорным созданиям, становящимся потом самыми преданными женами, нуждалась в условностях, разрушение которых буквально лишало ее сил. Ее положение по отношению к Эдуару казалось ей все более и более неестественным. Превыше всего она страдала — особенно остро тогда, когда задумывалась над этим,— оттого, что живет за счет этого покровителя, точнее, оттого, что не может дать ему ничего взамен, или, еще точнее, оттого, что сам Эдуар ничего не просит у нее взамен, хотя она-то чувствовала себя готовой отдать ему все. «Благодеяния, как сказал Монтень, цитируя Тацита, приятны только тогда, когда за них можно расплатиться» — эта мысль, очевидно, верна лишь в применении к благородным душам, но Лора, несомненно, принадлежала к их числу. Она хотела бы одаривать других, а вынуждена была только получать и из-за этого сердилась на Эдуара. Кроме того, когда она начинала припоминать прошлое, ей казалось, что Эдуар обманул ее, сначала пробудив в ней еще и до сих пор не окончательно угасшую любовь, а затем устранившись от этой любви, оставив ее без употребления. Не в этом ли заключалась тайная причина ее ошибок: прежде всего ее брака с Дувье, с которым она смирилась и до которого ее довел Эдуар, а затем, вскоре после того,— ее неспособности противостоять соблазнам весны? Ведь себе-то она могла признаться, что и в объятиях Венсана она все еще продолжала искать Эдуара. И, будучи не в состоянии понять причин такой холодности своего возлюбленного, она осыпала упреками себя, говорила себе, что будь она покрасивее или посмелее, то смогла бы покорить его; причем, оказываясь не в состоянии возненавидеть его, снова обвиняла себя, искала в себе всяческие изъяны, отказывалась видеть в себе какую-либо человеческую ценность, разрушала смысл своего существования и переставала верить в собственную добродетель.

Следует также сказать, что связанная с особенностями

расположения комнат кочевая жизнь, способная показаться ее компаньонам даже забавной, больно задевала струны ее стыдливости. Выносить эту ситуацию становилось все тяжелее и тяжелее, а никакого выхода Лора не видела.

Немного утешения и радости она черпала лишь в придумывании себе обязанностей крестной матери и старшей сестры по отношению к Бернару. Она не оставалась равнодушной к поклонению этого грациозного юноши; обожание, предметом которого она стала, не позволяло ей соскользнуть вниз по наклонной плоскости презрения и отвращения к себе, порой подталкивающих к крайним решениям даже самых нерешительных людей. Каждое утро, свободнос от начинавшихся еще до рассвета (он любил вставать рано) экскурсий в горы, Бернар проводил возле нее, читая английские тексты. Предстоявшие ему в октябре экзамены служили удобным предлогом.

Нельзя сказать, чтобы его обязанности секретаря отнимали у него слишком много времени. Они были весьма неопределенными. Принимая секретарские полномочия, Бернар уже представлял себя сидящим за рабочим столом, пишущим под диктовку Эдуара, переписывающим набело рукописи. Эдуар ничего не диктовал; рукописи, если такие и были, оставались запертыми в чемодане; Бернар на протяжении всего дня был предоставлен самому себе; однако, поскольку для более плодотворного использования рвения, только и ждущего, чтобы его применили, достаточно было малейшего желания Эдуара, Бернар не слишком терзался своей праздностью и тем, что ведет такую весьма привольную жизнь лишь благодаря великодушию Эдуара. Он твердо решил не обременять себя угрызениями совести. Он верил в провидение или, может быть, лучше сказать — в свою звезду и в то, что счастье в той или иной форме всегда будет наполнять его жизнь, подобно тому как воздух наполняет при дыхании легкие; Эдуар же выглядел в роли дарителя счастья не менее естественно, чем у Боссюэ церковные проповедники выглядят в роли дарителей божественной мудрости. Кроме того, Бернар рассматривал свой образ жизни как временный, надеясь, что в один прекрасный день, в тот день, когда предполагаемые сокровища его сердца превратятся в звонкую монету, он за все расплатится. Правда, он был слегка раздосадован тем, что Эдуар не пытается воспользоваться кое-какими талантами, которые он чувствовал

в себе и не обнаруживал у Эдуара. «Он не умеет применить мои силы»,— размышлял Бернар, уничтожая свое самолюбие, и тут же мудро добавлял: «Ну и ладно».

Откуда же в таком случае возникала напряженность в отношениях Эдуара и Бернара? Бернар кажется мне принадлежащим к той разновидности людей, которые утверждаются, протестуя. Ему было неприятно осознавать превосходство Эдуара над собой, и, не желая подчиняться его влиянию, он артачился. Эдуара, вовсе и не помышлявшего сгибать его, постоянная готовность Бернара отбиваться или заслоняться от ударов то раздражала, то огорчала. Поэтому порой его охватывало сомнение, не совершил ли он оплошность, когда взял с собой этих двух людей, которых он свел вместе словно лишь для того, чтобы они объединялись против него. Будучи не в состоянии проникнуть в тайны ощущений Лоры, он принимал ее сдержанность и недомолвки за холодность. Будь у него более отчетливое представление о ее чувствах, он испытал бы немалое замешательство, а поскольку Лора понимала это, вся сила ее отвергнутой любви уходила на то, чтобы таиться и ничем не выдавать себя.

Для чаепития они обычно собирались все втроем в большой комнате; нередко госпожа Софроницкая принимала их приглашение и присоединялась к ним — особенно в те дни, когда дети уходили на прогулку. Несмотря на юный возраст Брони и Бориса, она давала им большую свободу; она доверяла своей дочери, зная ее благоразумие, особенно проявлявшееся в поведении с Борисом, который был склонен во всем ее слушаться. Места кругом не внушали опасений, а о том, чтобы отправиться вдруг в горы или пытаться взбираться на расположенные вблизи отеля скалы, вопрос, естественно, не вставал. Однажды, когда дети получили разрешение сходить к подножию ледника при условии, что они не будут уходить в сторону от дороги, приглашенная на чай и подбиваемая Бернаром и Лорой госпожа Софроницкая набралась духу и попросила Эдуара рассказать им о своем будущем романе, если, конечно, это ему не неприятно.

— Нисколько; но рассказать вам его я не могу.

Одиако, когда Лора спросила его (вопрос, разумеется, неловкий), «на что эта книга будет походить», он чуть было не рассердился.

— Ни на что! — воскликнул он, и тут же, словно толь-

ко и ждал этого провокационного вопроса, добавил: — Зачем делать снова и снова то, что другие сделали до меня, или что уже сделал когда-то я сам, или, наконец, то, что мог бы сделать кто-нибудь еще, кроме меня?

Не успел Эдуар произнести эти слова, как тут же почувствовал их неуместность, запальчивость и нелепость; точнее, слова либо показались ему неуместными и нелепыми, либо он испугался, что таковыми они покажутся Бернару.

Эдуар отличался болезненной чувствительностью. Как только с ним заговаривали про его работу и особенно как только его самого просили рассказать о ней, им словно овладевало какое-то безумие.

Он с величайшим презрением относился к самомнению других писателей, беспощадно боролся с этим грехом, когда замечал его у себя, но нуждался для поддержания своей скромности в уважительном к себе отношении; едва он замечал отсутствие уважения, как тут же куда-то улетучивалась и его скромность. Ему было очень важно добиться уважения Бернара. Не по этой ли причине Эдуар в его присутствии всякий раз начинал настегивать своего Пегаса? Эдуар прекрасно понимал, что таким способом можно только утратить уважение, но никак не приобрести, неустанно повторял себе эту истину и тем не менее, несмотря на все принимаемые им решения, оказавшись в компании Бернара, сразу же начинал действовать вопреки своим намерениям и говорить в таком тоне, который сам же считал нелепым (каковым он на самом деле и являлся). Тут можно было бы сделать вывод, что Эдуар испытывал к Бернару какие-то особые чувства... Нет, не думаю. И большая любовь, и гримаса у нас на лице могут возникать по одной и той же причине, скажем, от легкого тщеславия.

— Не потому ли из всех литературных жанров,— рассуждал Эдуар,— роман является самым свободным, самым lowless[1]... не потому ли, не из-за этой ли самой свободы (так как те самые художники, которые громче всех вздыхают по свободе, часто, едва получив ее, оказываются в наибольшей растерянности) роман всегда так трусливо цеплялся за действительность? Причем я говорю отнюдь не только о французском романе. Так же как и английский роман, русский роман, хотя и не в пример более раскованный, оказывается в рабстве у правдоподобия. Единственный намечаемый им прогресс сводится

[1] *Здесь* — неподвластный законам (*англ.*).

к тому, чтобы еще сильнее приблизиться к реальности. Он, роман, никогда не знал того «великолепного размывания контуров», о котором говорит Ницше, как и того намеренного отстранения от жизни, которое сделало возможным возникновение стиля, например, в творениях греческих драматургов или во французских трагедиях семнадцатого века. Встречали ли вы что-либо более совершенное и в то же время более человечное, чем эти произведения? Но человечны они как раз потому, что глубоки; они не стремятся выглядеть таковыми или по крайней мере не стремятся выглядеть реальными. Они остаются произведениями искусства.

Не прекращая говорить, Эдуар, сильно опасавшийся, как бы у присутствующих не сложилось впечатление, что они слушают лекцию, встал, налил себе чаю, прошелся по комнате, выжал в стакан лимон.

— Коль скоро Бальзак был гением и коль скоро всегда создается впечатление, что гений в своем виде искусства изобретает окончательную и беспрекословную формулу созидания, то было провозглашено, что задача романа состоит в том, чтобы «соперничать с гражданским состоянием». Бальзак воздвиг свой архитектурный ансамбль, но кодировать жанр романа у него никогда и в мыслях не было, что ясно видно из его статьи о Стендале. Соперничать с гражданским состоянием! Словно без этого на земле не хватает всяких хамов и образин! Да какое мне дело до гражданского состояния! Состояние — это я, художник! И мое творчество, гражданское оно или нет, ни с чем соперничать не собирается.

Эдуар сел; он разгорячился, хотя, возможно, возбуждение его было несколько наигранным. Он делал вид, что не смотрит на Бернара, но на самом деле слова его были обращены именно к нему. Оказавшись наедине с ним, он ничего не смог бы сказать и поэтому был благодарен двум женщинам за то, что они как бы подтолкнули его.

— Порой мне кажется, что ничто в литературе не восхищает меня столь сильно, как, например, спор между Митридатом и его сыновьями в трагедии Расина; хотя мы прекрасно понимаем, что подобный разговор между отцом и сыновьями совершенно неправдоподобен, тем не менее (я должен был бы скорее сказать: благодаря этому) все отцы и все сыновья без труда узнают себя в них. Локализуя и конкретизируя, мы сужаем угол зрения. Психологическая истина имеет всегда частный характер, это вер-

но, но зато искусство ориентируется только на всеобщее. Задача сводится к тому, чтобы выразить общее через частное, сделать так, чтобы через частное выражалось общее. Вы позволите мне закурить мою трубку?

— Пожалуйста, пожалуйста,— сказала Софроницкая.

— Так вот! Я хотел бы написать такой роман, который был бы таким же правдоподобным и далеким от действительности, таким же частным и одновременно всеобщим, таким же погруженным в человеческую душу и отвлеченным, как «Гофолия», как «Тартюф» или «Цинна».

— А... что за сюжет у романа?

— У него нет сюжета,— резко ответил Эдуар,— и, может быть, именно в этом и заключается его своеобразие. У моего романа нет сюжета. Да, я прекрасно понимаю: это звучит глупо — то, что я сейчас говорю. Я могу выразиться иначе: у него не будет какого-то одного сюжета... Лозунгом натуралистической школы был «срез жизни». Большой ошибкой этой школы было то, что срез обычно делали в одном направлении, в направлении времени, в длину. А почему не в ширину? Или в глубину? Что касается меня, то я хотел бы вообще ничего не резать. Понимаете, я хотел бы, чтобы туда, в этот роман, вошло все. Чтобы не было никаких отрезаний, устанавливающих границы его в одном или другом месте. Я работаю над ним уже больше года, и все, что со мной происходит, в конечном счете оказывается там, причем нет ничего такого, что мне не хотелось бы туда включить: то, что я вижу, то, что я знаю, все, что я узнаю о жизни других людей и о моей собственной...

— И все это стилизовано?— спросила Софроницкая, изображая живейший интерес, очевидно не лишенный иронического подтекста. Лора не смогла удержаться от улыбки. Эдуар слегка пожал плечами и продолжал:

— Я, в общем-то, даже и не ставлю такой цели. Моя цель, с одной стороны, изобразить действительность, а с другой — изобразить направленное на стилизацию усилие, о котором я вам только что говорил.

— Бедный мой друг, ваши читатели умрут с тоски,— сказала Лора и, поняв, что от улыбки ей уже не удержаться, предпочла задорно рассмеяться.

— Отнюдь. Чтобы добиться необходимого мне результата, следите за мной, я придумал героя-романиста, которого сделал центральной фигурой; ну а сюжет книги — это, да будет вам угодно, и есть борьба между тем, что

предлагает ему действительность, и тем, как он намеревается ее подать.

— Да-да; теперь мне стало понятно,— вежливо сказала Софроницкая, вот-вот готовая рассмеяться вслед за Лорой.— Из этого может получиться нечто весьма любопытное. Только вы знаете, изображать в романах интеллигентов всегда очень опасно. Они удручающе действуют на публику: изрекают одни глупости и всему, к чему прикасаются, придают абстрактный вид.

— А кроме того, я прекрасно вижу, что должно произойти,— вскричала Лора.— Чтобы создать этот персонаж, вам придется рисовать себя.

С некоторых пор, обращаясь к Эдуару, она завела привычку говорить насмешливым тоном, удивлявшим даже ее саму и сбивавшим с толку Эдуара, тем более что отблеск этой насмешки мелькал и в лукавых взглядах Бернара. Эдуар возразил:

— А вот и нет: я должен буду изобразить его весьма неприятным.

Лора никак не могла остановиться:

— Вот-вот; и все сразу узнают в нем вас,— сказала она, разразившись таким искренним смехом, что остальные не могли к ней не присоединиться.

— А вы составили план книги?— спросила Софроницкая, пытаясь снова стать серьезной.

— Разумеется, нет.

— Как! Разумеется, нет?

— Вы же должны понимать, что о плане для книги такого рода не может быть и речи. Если бы я хоть что-нибудь стал решать заранее, печать фальши легла бы на все. Я жду, когда мне его продиктует действительность.

— Но мне-то казалось, что вы хотите отойти от действительности как можно дальше.

— Это мой романист будет пытаться отойти от нее, а я буду постоянно его к ней возвращать. По правде сказать, именно это и станет сюжетом: борьба между предлагаемыми действительностью фактами и идеальной действительностью.

Отсутствие логики в его речах резко бросалось в глаза, казалось просто вопиющим. Было очевидно, что в сознании Эдуара сосуществуют два несовместимых требования, которые он тщетно пытается примирить.

— И много уже сделано?— вежливо справилась Софроницкая.

— Это зависит от того, что вы имеете в виду. Честно

говоря, что касается самой книги, я пока не написал ни единой строчки. Но уже как следует поработал над ней. Я думаю о ней ежедневно и непрерывно. Работаю прелюбопытнейшим образом и могу вам сейчас об этом рассказать: изо дня в день я стараюсь описывать в своей записной книжке состояние романа в моем сознании; да, я веду нечто вроде дневника, подобного тем, которые ведут, наблюдая за ростом ребенка... То есть вместо того, чтобы преодолевать трудности по мере того, как они мне встречаются (а ведь любое произведение искусства — это всего лишь итог или результат преодоления определенного количества мелких, последовательно возникающих трудностей), я их выставляю на обозрение и изучаю. Можно сказать, что эта записная книжка содержит в себе непрерывное критическое исследование моего романа, а то и романа вообще. Подумайте, как интересно нам было бы почитать подобные записные книжки, принадлежащие Диккенсу или Бальзаку; вы только представьте себе, что мы располагаем дневником «Воспитания чувств» или «Братьев Карамазовых», историей произведения, что мы знаем, как оно вызревало! Ведь это же было бы такое увлекательное чтение... интереснее самого произведения...

Эдуар смутно надеялся, что его попросят почитать заметки. Однако никто из троих слушателей не обнаружил ни малейшего любопытства. Вместо этого Лора сказала с грустью в голосе:

— Бедный мой друг, мне совершенно ясно, что вы никогда его не напишете, этот свой роман.

— Ну и что! — запальчиво воскликнул Эдуар.— Могу вам сказать только одно: мне это совершенно безразлично. Просто если я не напишу эту книгу, то, значит, ее история интересовала меня больше, чем она сама, и заняла ее место: вот и прекрасно.

— А вы не боитесь, что, распрощавшись с реальностью, заблудитесь в гибельных областях абстракций и напишете такой роман, где персонажами будут не живые люди, а идеи? — опасливо спросила Софроницкая.

— А если даже и так! — вскричал еще более энергично Эдуар.— Неужели мы должны осуждать роман идей только за то, что у тех недотеп, которые попытались им заняться, ничего не получилось? Вместо романов идей нам до сих пор преподносили гнусные доктринальные романы. У меня, понимаете, нечто совершенно другое. Идеи... я должен вам признаться, идеи интересуют меня больше, чем люди, интересуют меня прежде всего. Они живут, бо-

рются и, подобно людям, умирают. Можно, конечно, сказать, что мы знаем их только благодаря людям — точно так же, как о ветре мы узнаем только благодаря гнущимся к земле камышам; но ветер все-таки важнее, чем камыши.

— Ветер существует независимо от камышей,— рискнул вмешаться в разговор Бернар.

Эдуар уже давно ждал, когда Бернар что-нибудь скажет, и, услышав эту реплику, оживился еще больше.

— Да, я знаю: идеи существуют лишь благодаря людям, но здесь есть один волнующий момент: они существуют за счет людей.

Бернар слушал все это очень внимательно; он был полон скептицизма и поначалу едва не принял рассуждения Эдуара за пустые химеры, но потом поддался обаянию его красноречия; он чувствовал, как от порывов этого красноречия начинают гнуться его мысли, но одновременно говорил себе, что мысли, подобно камышам, выпрямляются, когда ветер улетает прочь. Ему вспомнилось, как в школе их учили, что поступки людей определяются не идеями, а страстями. Между тем Эдуар продолжал:

— Поймите меня, я хотел бы написать нечто похожее на «Искусство фуги». И мне непонятно, почему то, что оказалось возможным в музыке, невозможно в литературе...

Софроницкая возразила, что музыка является искусством математическим и что, кроме того, увлекшись исключнтельно цифрами, пренебрегая пафосом и человеческим началом, Бах создал скучнейший абстрактный шедевр, нечто вроде астрономического храма, доступного лишь немногочисленным посвященным. Эдуар тут же ответил ей, что ему этот храм кажется восхитительным и что он видит в нем итог и вершину всего творчества Баха.

— После чего,— добавила Лора,— о фуге долго-долго не вспоминали. Человеческим чувствам стало в ней неуютно, и им пришлось искать себе другие прнстанища.

Спор принимал казуистическую направленность. Бернар, хранивший до этого момента молчание, начал нетерпеливо ерзать на стуле и наконец не выдержал; с крайней, пожалуй даже преувеличенной, почтительностью, как всегда, когда он обращался к Эдуару, но одновременно и с некоторой веселостью, как бы превращавшей эту почтительность в игру, он сказал:

— Прошу прощения, сударь, за то, что мне известно название вашей книги; виной тому моя нескромность, но

вы, похоже, согласились предать этот эпизод забвению. Однако это название вроде бы обещает какой-то сюжет?..

— О! Тогда скажите же нам это название,— попросила Лора.

— Ну если вы хотите, дорогая моя... Только предупреждаю, что оно может измениться. Я побаиваюсь, как бы оно не оказалось несколько обманчивым... Так что скажите им его, Бернар.

— Вы разрешаете?.. «Фальшивомонетчики»,— сказал Бернар.— Но тогда еще один вопрос к вам: эти фальшивомонетчики... кто они такие?

— Они-то! Да я и сам не знаю,— ответил Эдуар.

Бернар и Лора переглянулись, потом посмотрели на Софроницкую; кто-то протяжно вздохнул, кажется, это была Лора.

По правде сказать, мысль о фальшивомонетчиках пришла к Эдуару, когда он размышлял о некоторых из своих собратьев по перу, в частности о виконте де Пассаване. Однако вскоре это слово стало восприниматься им в гораздо более широком смысле: в зависимости от того, дул ли ветер из Рима или откуда-то еще, его герои превращались то в католических священников, то во франкмасонов. Едва он давал волю своим мыслям, как они тут же направлялись в сторону абстракций и резвились там на просторе. Его книга все больше заполнялась такими понятиями, как обмен, девальвация, инфляция, подобно тому как книга «Сартор Резартус» Карлейля заполнилась вытеснившими персонажей теориями одежды. Не имея возможности рассказать обо всем этом, Эдуар, словно пораженный отсутствием мыслей, надолго замолчал; затянувшееся молчание начало сильно тяготить его собеседников.

— Вам уже когда-нибудь случалось держать в руках фальшивую монету?— спросил он наконец.

— Да,— сказал Бернар, но «нет» обеих женщин заглушило его голос.

— Так вот! Представьте себе фальшивую золотую монету достоинством в десять франков. В действительности она стоит не больше двух су. Десять франков она будет стоить до тех пор, пока не узнают, что она поддельная. Стало быть, если я исхожу из идеи, что...

— Но почему же надо исходить из идеи?— не выдержав, прервал Бернар.— Если вы исходите из хорошо изложенного факта, идея в нем поселится сама. Если бы я писал «Фальшивомонетчиков», я начал бы с фальшивой мо-

неты, той небольшой монеты, о которой вы только что говорили... вот с нее.

Говоря это, он вынул из жилетного кармана маленькую десятифранковую монету и бросил ее на стол.

— Слышите, как хорошо она звенит. Звук почти как у любой другой. Можно было бы поклясться, что она из золота. Я попался на ней сегодня утром, когда получил ее от бакалейщика, так же как, по его словам, попался и он сам. Похоже, она чуть легче, чем нужно, но блестит и звенит, почти совсем как настоящая; покрытие у нее сделано из золота, так что стоит она все же немного больше двух су, а внутри стеклянная. Через какое-то время она станет прозрачной. Нет, только не трите, а то вы мне ее испортите. Она и так уже начинает просвечивать.

Эдуар взял монету в руки и принялся внимательно ее рассматривать.

— Но как она попала к бакалейщику?

— Этого он сказать не в состоянии. Он полагает, что она лежала у него в ящике уже несколько дней. Ему было очень интересно узнать, попадусь я или нет. И я собирался было ее взять, честное слово! Но он человек порядочный и вывел меня из заблуждения, а потом уступил мне ее за пять франков. Он хотел оставить ее у себя, чтобы показывать тем, кого он называет «любителямн». Ну а я подумал, что большего любителя, чем автор «Фальшивомонетчиков», ему не найти, и купил, чтобы показать ее вам. А теперь, когда вы ее рассмотрели, верните лучше мне! Увы! Я вижу, что действительность вас не интересует.

— Интересует,— ответил Эдуар,— но одновременно и смущает.

— Что ж, жаль,— сказал Бернар.

Дневник Эдуара

«Вечер того же дня. Софроницкая, Бернар и Лора расспрашивали меня о моем романе. Зачем я разговорился? Я нес сплошной вздор. К счастью, вернулись дети, и я вынужден был прерваться; они пришли раскрасневшиеся, запыхавшиеся, как после долгого бега. Броня, как только вошла, сразу бросилась к матери; мне показалось, что она вот-вот разрыдается.

— Мама,— закричала она,— ты поругай-ка Бориса. Он хотел лечь совсем голый в снег.

Софроницкая посмотрела на Бориса, который стоял на пороге, опустив голову, и смотрел исподлобья, почти

ненавидящим взглядом; она словно не замечала странного выражения лица мальчика и самым что ни на есть невозмутимым тоном сказала:

— Послушай, Борис, вечером этого делать не нужно. Если хочешь, то завтра утром мы сходим туда и для начала ты походишь там босиком...

Она нежно поглаживала девочку по голове, но та вдруг бросилась на пол и забилась в конвульсиях. Мы все забеспокоились. Софроницкая подняла ее и уложила на софу. Борис, не шевелясь, широко раскрытыми непонимающими глазами наблюдал эту сцену.

Мне кажется, воспитательские методы Софроницкой превосходны в теории, но она, вероятно, недооценивает сопротивления им со стороны детей.

— Вы действуете так, словно добро непременно должно восторжествовать над злом,— сказал я ей несколько позже, оказавшись с ней наедине. (После ужина я пошел справиться о состоянии Брони, которая вечером не пришла в столовую.)

— Совершенно точно,— сказала она мне.— Я твердо убеждена, что добро восторжествует. Я верю, что так будет.

— Однако из-за чрезмерной веры легко и ошибиться...

— Если я и ошибалась, то всегда из-за того, что вера моя была недостаточно сильна. Сегодня, отпуская детей гулять, я не сумела скрыть от них, что немного беспокоюсь; они почувствовали это — и вот результат.

Она взяла меня за руку.

— Вы, похоже, не очень верите в достоинства убеждений... я хочу сказать: в их действенность.

— И то верно,— ответил я смеясь,— я не мистик.

— Вот! А я,— воскликнула она с каким-то необыкновенным воодушевлением,— я всеми фибрами души верю в то, что без мистицизма на земле не свершается ничего великого, ничего прекрасного!

В списке турнстов мне попалось на глаза имя Виктора Струвилу. По сведениям хозяина гостиницы, он уехал из Саас-Фе как раз накануне нашего приезда, пробыв здесь около месяца. Любопытно было бы увндеть его вновь. Софроницкая, очевидно, встречалась с ним. Нужно будет порасспросить ее».

IV

— Лора, я хотел вас спросить,— сказал Бернар,— как вы думаете, есть на свете что-нибудь такое, в чем нельзя было бы усомниться?.. Сомнение овладевает мной до такой степени, что мне хочется взять его за точку опоры; ведь уж в чем-чем, а в нем-то, я думаю, мы никогда не будем испытывать недостатка. Я могу сомневаться в реальности чего угодно, но только не в реальности моего сомнения. Мне хотелось бы... Извините меня, если я выражаюсь, как педант; по натуре своей я не педант, но я только что окончил последний класс лицея, а вы даже представить себе не можете, какую печать оставляют в сознании постоянные сочинения на философские темы; клянусь вам, я исправлюсь.

— Зачем такие отступления? Вам хотелось бы?..

— Мне хотелось бы написать историю какого-нибудь человека, который, прежде чем что бы то ни было решать, сначала выслушивает каждого, с каждым консультируется наподобие Панурга; убедившись, что мнения всех и по всем вопросам противоречат друг другу, он принял бы решение больше никого, кроме себя, не слушать и сразу стал бы очень сильным.

— Замысел, достойный старика,— сказала Лора.

— У меня жизненный опыт богаче, чем вы думаете. Вот уже несколько дней я веду дневник, как Эдуар! На правой странице я записываю какое-нибудь мнение — так, чтобы напротив, на левой странице, можно было записать противоположное мнение. Например, в один из вечеров Софроницкая сказала нам, что, когда Борис и Броня спят, она широко открывает в их комнате окно. И все, что она говорила в защиту такого режима, казалось нам, помните, совершенно разумным и убедительным. А вчера в курительной комнате отеля я услышал, как тот немецкий профессор, который только что приехал, изложил диаметрально противоположную теорию, показавшуюся мне, не скрою, еще более разумной и еще лучше аргументированной. Во время сна, говорил он, важно, насколько это возможно, уменьшить расход энергии и всякого рода обмены, являющиеся выражением жизни; он называл это сгоранием; только в этом случае сон действительно восстанавливает силы. Он приводил в пример птиц, прячущих голову под крыло, всех животных, сворачивающихся так, чтобы во сне едва-едва дышать; точно так же, говорил он, и наиболее близкие к природе племена или наиме-

нее затронутые цивилизацией крестьяне прячутся в какие-нибудь ниши, а арабы, вынужденные спать под открытым небом, стараются спрятать лица в капюшоны своих бурнусов. Но когда я возвращаюсь к Софроницкой и к двум детям, которых она воспитывает, то прихожу к выводу, что и она тоже не совсем не права и что то, что является благом для одних, этим малышам пошло бы во вред, поскольку, как я понял, у них у обоих есть бациллы туберкулеза. Одним словом, я сказал себе... Впрочем, я нагоняю на вас тоску.

— Об этом не беспокойтесь. Вы сказали себе?..

— Я уже забыл.

— Ну вот! Уже надулся. Не нужно стыдиться своих мыслей.

— Я сказал себе, что нет таких вещей, которые были бы одинаково хороши для всех, и что все нужно рассматривать в конкретной взаимосвязи; что нет ничего истинного для всех, а есть лишь истина для тех, кто согласен ее считать таковой; что нет такой теории или такого метода, которые были бы применимы к кому угодно; что если, для того чтобы действовать, нужно выбирать, то пусть по крайней мере этот выбор будет свободным; что, когда мы оказываемся лишенными свободного выбора, все сильно упрощается и что истинным (конечно, не абсолютно истинным, а только для меня) тогда становится то, что обеспечивает наилучшее употребление моих сил, вовлечение в дело всех моих достоинств. Ведь выбрать все одновременно я не в состоянии, а пребывать в нерешительности мне просто противно. Монтеневская «мягкая и нежная подушка» сделана не для моей головы, потому что и спать мне не хочется, и в покое я пока что потребности не испытываю. Путь достаточно долог, и ведет он от того, кем я себя считал, к тому, кем я, может быть, являюсь. Иногда я начинаю бояться, что встал слишком рано.

— Вы начинаете бояться?

— Нет, я ничего не боюсь. Только, знаете, я уже сильно изменился; по крайней мере сейчас мой внутренний пейзаж уже не тот, каким он был тогда, когда я ушел из дому; за это время я встретил вас. И сразу же перестал ценить превыше всего свою свободу. Вы, может быть, и не поняли, что я весь к вашим услугам.

— Как следует это понимать?

— О! Вы же прекрасно знаете. Зачем заставлять меня говорить это? Вы ждете моих признаний?.. Нет, нет, не прячьте вашу улыбку, а то меня начинает знобить.

— Но, мой милый Бернар, не будете же вы утверждать, что начинаете меня любить.

— О! Я не начинаю,— сказал Бернар.— Это вы, может быть, начинаете это ощущать, но вы не сможете помешать мне.

— А я-то чувствовала себя так спокойно и не предполагала, что мне следует вас опасаться. Если теперь я должна буду, общаясь с вами, постоянно остерегаться, как с каким-нибудь горючим веществом... Ну да, подумайте, в какое бесформенное, раздутое существо я вскоре превращусь. Вас вылечит один мой внешний вид.

— Да, если бы я любил в вас только внешний вид. К тому же я вовсе не больной, или если любить вас — значит быть больным, то я предпочитаю не выздоравливать.

Он говорил все это с серьезным, почти печальным выражением лица и смотрел на нее столь нежно, как никогда не смотрели ни Эдуар, ни Дувье, но одновременно и столь почтительно, что сердиться на него у нее не было никаких оснований. Она держала на коленях английскую книгу, которую они только что читали, и рассеянно ее листала; можно было подумать, что она его даже и не слушает, так что он продолжал, даже не очень смущаясь:

— Я представлял себе любовь в виде некой вулканической страсти — во всяком случае, ту любовь, которую суждено было бы испытать мне. Да, я действительно считал, что могу любнть только жадно и мучительно, наподобие Байрона. Как же плохо я себя знал! Это вы, Лора, помогли мне познать самого себя, такого непохожего на того, кем я себя воображал! Я разыгрывал из себя некий демонический персонаж, старался быть во всем на него похожим. Когда я сейчас вспоминаю про письмо, написанное моему ненастоящему отцу перед уходом из дома, уверяю вас, мне становится страшно стыдно. Я принимал себя за бунтаря, за изгоя, преступающего через все, что мешает осуществлению моих желаний, и вот, оказавшись возле вас, я не испытываю больше никаких желаний. Я стремился к свободе как к высшему благу, а едва оказавшись на свободе, покорился вашим... Ах, знали бы вы, как меня бесят эти накопившиеся в голове фразы великих писателей, неизменно выскакивающие изо рта, когда хочется выразить искреннее чувство. Это чувство для меня настолько новое, что оно еще не сумело изобрести своего собственного языка. Предположим, что это не любовь, если уж вам так не нравится это слово, предположим, что

это благоговение. Я бы сказал, что ваши законы начертали границы для моей казавшейся мне ранее бесконечной свободы. Я бы сказал, что все, что бушевало во мне неугомонного, необузданного, теперь кружится в гармоничном хороводе вокруг вас. Если вдруг какая-то из моих мыслей уходит в сторону от вас, я расстаюсь с ней... Лора, я не прошу вас любить меня; я ведь пока еще всего лишь простой школьник и ничем не заслужил вашего внимания; но все, что я сейчас собираюсь делать, я буду делать для того, чтобы заслужить хоть немного вашего... (ах! что за противное слово)... вашего уважения.

Он стал перед ней на колени, и, хотя она немного отодвинулась назад вместе со своим стулом, Бернар, отбросив руки назад в знак поклонения, дотянулся лбом до ее платья; но когда он почувствовал на своем лбу руку Лоры, то схватил эту руку и прижался к ней губами.

— Бернар, какой вы все-таки еще ребенок! Я ведь тоже не свободна. Вот, прочтите это.

Она вытащила из-за пояса смятую бумажку и протянула ее Бернару.

Его взгляд упал прежде всего на подпись. Как он и опасался, это была подпись Феликса Дувье. Он подержал немного письмо в руке, не читая его; поднял глаза на Лору. Она плакала. В этот момент Бернар почувствовал, как в его сердце порвалась еще одна перемычка, одна из тех тайных нитей, которые привязывают каждого из нас к нам самим и к нашему былому эгоизму. Потом он прочитал:

«Моя любимая Лора,

Во имя того ребенка, который скоро у тебя родится и которого я обещаю любить так, как если бы он был моим собственным, я заклинаю тебя вернуться. Будь уверена, что, оказавшись дома, ты не услышишь ни единого упрека. Не вини себя чрезмерно, потому что больше всего я переживаю как раз из-за этого. Не теряй времени. Я жду тебя всей своей душой, обожающей тебя и простирающейся перед тобой ниц».

Бернар сидел на полу, перед Лорой; он спросил, не глядя на нее:

— Когда вы получили это письмо?

— Сегодня утром.

— А я думал, что он ничего не знает. Вы ему написали?

— Да, и во всем призналась.

— Эдуар уже в курсе?

— Пока что нет.

Бернар немного помолчал, сидя с низко опущенной головой, потом опять повернулся к ней и спросил:

— И... что вы собираетесь теперь делать?

— Вы всерьез спрашиваете меня?.. Вернуться к нему. Мое место рядом с ним. С ним я должна жить. И вы это понимаете.

— Да,— сказал Бернар.

Наступило очень долгое молчание. Потом Бернар спросил:

— Вы действительно верите в то, что можно любить ребенка, рожденного от другого, как своего собственного?

— Не знаю, верю ли, но надеюсь.

— А я вот верю. И напротив, не верю в то, что так поглупому называется «голосом крови». Да, я убежден, что этот пресловутый голос — всего лишь миф. Я читал, что у некоторых народностей островов Океании есть обычай усыновлять чужих детей и что часто этих усыновленных детей любят в семье сильнее, чем родных. В книге было написано, я хорошо это помню, что их «больше лелеют». Знаете, о чем я сейчас подумал?.. Я подумал, что тот, кто заменял мне отца, никогда не сказал и не сделал ничего такого, что позволило бы заподозрить, будто я не настоящий его сын; что, написав ему, как я это сделал, что я всегда чувствовал разницу, я солгал; что, напротив, он оказывал мне нечто вроде предпочтения, которое было мне приятно, и все это делает мою неблагодарность по отношению к нему еще более отвратительной; я подумал, что поступил по отношению к нему дурно. Лора, милая, я хотел бы у вас спросить... Как вы считаете, мне нужно попросить у него прощения, вернуться к нему?

— Нет,— сказала Лора.

— Почему? Вы-то, вы возвращаетесь к Дувье...

— Вы мне только что говорили, что истинное в отношении одного может оказаться ненастным в отношении другого. Я чувствую себя слабой, а вы сильный. Вероятно, господин Профитандье действительно вас любит, но, судя по тому, что вы мне о нем рассказали, вы не созданы для того, чтобы ладить друг с другом... Во всяком случае, лучше пока повременить. Не возвращайтесь к нему растерянным. Хотите, чтобы я высказала свою мысль до

конца? Вы сделали бы это не для него, а для меня, чтобы добиться того, что вы называете моим уважением. Вы получите его, Бернар, только тогда, когда я буду видеть, что вы не добиваетесь его. Я могу любить вас только естественно. Покаяние оставьте лучше мне; это занятие не для вас, Бернар.

— Я почти начинаю любить свое имя, когда слышу его из ваших уст. Знаете, к чему я испытывал там наибольшее отвращение? К роскоши. Столько комфорта, столько удобств... Я чувствовал, как становлюсь анархистом. Сейчас же мне, напротив, кажется, что я превращаюсь в консерватора. Я осознал это несколько дней назад, совершенно неожиданно, когда услышал, как один турист говорит о том, с каким удовольствием он обманул таможенников; меня охватил тогда приступ негодования. «Обкрадывать государство — это значит не обкрадывать никого»,— говорил он. Чувство протеста вдруг помогло мне понять, что такое государство. И я полюбил его, просто потому, что оно оказалось жертвой несправедливости. Я никогда над этим не задумывался. «Государство — это всего лишь взаимное соглашение»,— сказал он еще. Что за прекрасная это была бы вещь — соглашение, покоящееся на доброй воле каждого, если бы все люди были честные. И вот, спроси меня сегодня, какая добродетель представляется мне самой прекрасной, я бы ответил без колебания: честность. О Лора! Я хотел бы на протяжении всей своей жизни на малейший удар отвечать чистым, честным звуком, звуком, лишенным какой-либо фальши. Почти все люди, которых я знал, звучат фальшиво. Пусть моя внешняя ценность всегда совпадает с внутренней ценностью: никогда не казаться дороже, чем я стою в действительности... Ведь обычно стараешься ввести всех в заблуждение и так заботишься о внешнем облике, что перестаешь понимать, кто же ты есть на самом деле... Извините, что я вам все это говорю. Я делюсь с вами своими ночными размышлениями.

— Вы вспомнили о той маленькой монетке, которую показывали нам вчера. Когда я уеду...

Она не закончила фразу; глаза ее наполнились слезами, и Бернар увидел, как от усилий, предпринимаемых ею, чтобы не расплакаться, задрожали ее губы.

— Значит, Лора, вы уедете...— сказал он печально.— Я боюсь, что, когда вас не будет рядом со мной, я утрачу всякую ценность или же ее останется у меня совсем мало... Ну а все-таки скажите, мне хотелось бы знать: уехали бы

вы, написали бы мужу эти свои признания, если бы Эдуар... я не знаю, как сказать... (Лора залилась краской) если бы Эдуар стоил больше? О! Не протестуйте. Я же хорошо знаю, что вы *о* нем думаете.

— Вы говорите так, потому что заметили вчера мою улыбку, когда он рассказывал про свой роман; вы сразу решили, что наши мнения о нем совпадают. Но я хочу вас разубедить. Честно говоря, я даже не знаю, что я о нем думаю. Он недолго бывает одним и тем же. Он ни к чему не привязывается, но нет ничего более притягательного, чем его постоянное ускользанне. Вы знаете его слишком мало времени, чтобы составить о нем правильное представление. Он то и дело рассеивается в воздухе и вновь воссоздает себя. Порой кажется, что наконец-то начинаешь понимать его... это Протей. Он принимает форму того, что он любит. И чтобы понять его самого, нужно тоже его любить.

— Вы его любите. О! Лора, я чувствую в себе ревность не к Дувье и не к Венсану, а именно к Эдуару.

— Зачем ревновать? Я люблю Дувье и люблю Эдуара, но по-разному. Если мне случится полюбить вас, то это будет еще одно, совсем другое чувство.

— Лора, Лора, вы не любите Дувье. Вы испытываете к нему привязанность, жалость, уважение, но это нельзя назвать любовью. Мне кажется, что тайна вашей печали (*ведь вы печальны, Лора*) *состоит в том, что жизнь как бы* расколола вас и вашу любовь на отдельные части: то, что вы хотели бы отдать одному человеку, вы распределяете на нескольких людей. Вот я, например, я чувствую себя неделимым и могу отдать себя только целиком.

— Вы слишком молоды, чтобы говорить так, вы не можете знать заранее, не «расколет» ли, как вы говорите, жизнь и вас тоже на отдельные части. Я могу принять от вас только... это благоговение, которое вы мне предлагаете. Остальное же будет предъявлять свои требования, которые придется удовлетворять где-то еще.

— Неужели так и произойдет? Вы заранее заставляете меня испытывать отвращение и к самому себе, и к жизни.

— Ничего-то вы о жизни не знаете. Вы можете ждать от нее всего. Знаете, в чем состояла моя ошибка? В том, что я больше ничего от нее не ждала. Увы, я сдалась в тот момент, когда мне показалось, что мне нечего больше ждать. Я прожила эту весну в По так, как если бы она была у меня последняя, как если бы ничто уже не имело зна-

чения. Бернар, сейчас, когда я наказана, я могу вам сказать: никогда не теряйте веры в жизнь.

Какой смысл говорить такие вещи юному, полному огня существу? Поэтому слова Лоры были обращены вовсе не к Бернару. Откликнувшись на голос его симпатии, она помимо своей воли размышляла перед ним вслух. Она не умела ни притворяться, ни управлять своими чувствами. Вначале она поддалась тому порыву, который, едва она начинала думать об Эдуаре, увлекал ее, не позволяя ей скрыть своей любви, а потом пошла на поводу у своеобразной потребности читать проповеди, доставшейся ей, скорее всего, в наследство от отца. Однако Бернар терпеть не мог всяких рекомендаций и советов, даже тогда, когда они исходили от Лоры; Лора правильно истолковала его улыбку и сказала уже более спокойным голосом:

— Вы собираетесь остаться секретарем Эдуара по возвращении в Париж?

— Да, если он согласится поручать мне хоть какую-нибудь работу, а то до сих пор он мне ничего еще не давал. Знаете, чем мне было бы интересно заняться? Написанием вместе с ним этой книги, которую один он никогда не напишет; вы сами ему это вчера сказали. Мне этот метод работы, про который он нам вчера говорил, кажется абсурдным. Хороший роман требует более наивного подхода. И прежде всего нужно верить в то, что рассказываешь, не правда ли, и рассказывать просто. Сначала мне показалось, что я сумею ему помочь. Если бы он нуждался в сыщике, я, вероятно, справился бы с задачей. Он работал бы над фактами, предоставленными в его распоряжение моей полицией... А с идеологом нечего и пытаться — пустая затея. Рядом с ним я чувствую, как во мне пробуждается репортер. Если он будет упорствовать в своих заблуждениях, то я начну работать самостоятельно. Я должен зарабатывать себе на жизнь. Я предложу свои услуги какой-нибудь газете. А между делом буду сочинять стихи.

— Потому что рядом с репортерами вы будете чувствовать, как в вас пробуждается поэт.

— О! Только не смейтесь надо мной. Я и так знаю, что выгляжу смешно, и не нужно лишний раз напоминать мне об этом.

— Оставайтесь с Эдуаром; ваша помощь будет ему полезна, да и он сможет вам помочь. Он добрый.

Послышался звонок к обеду. Бернар встал. Лора взяла его за руку.

— И еще вот что: та маленькая монетка, которую вы нам вчера показывали... на память о вас, когда я уеду,— она сделала над собой усилие и наконец смогла закончить фразу,— вы мне ее не дадите?

— Вот она, берите,— сказал Бернар.

V

Дневник Эдуара

> Так случается почти со всеми недугами человеческого духа, которые мы полагаем исцеленными. Но, как говорят врачи, мы только загоняем их внутрь, заменяя их другими.
>
> *Сент-Бёв*
> *«Беседы по понедельникам»*

«Я начинаю понимать, что должно стать «глубинной темой» моей книги. Таковой будет, по всей вероятности, тема соперничества между реальным миром и нашим о нем представлением. Способ, с помощью которого мир видимостей входит в наше сознание и который после субъективной его интерпретации мы пытаемся предлагать внешнему миру, составляет драму нашей жизни. Из-за встречаемого нами сопротивления фактов мы вынуждены переносить свою идеальную конструкцию в сновидения, упования, в будущую жизнь, где наша вера питается разочарованиями, постигающими нас в этой жизни. Реалисты отправляются от фактов, приспосабливают свои идеи к фактам. Бернар реалист. И я опасаюсь, что найти с ним общий язык мне не удастся.

Как я мог согласиться с Софроницкой, когда она заявила, что во мне нет ничего от мистика? Я вполне готов признать вместе с ней, что без мистицизма человек не в состоянии создать ничего великого. Ведь разве не в мистицизме упрекает меня Лора, когда я говорю ей о своей книге?... Предоставим же им самим вести этот спор.

Софроницкая снова завела со мной разговор о Борисе, от которого, как она полагает, ей удалось добиться исчерпывающей исповеди. В сознании бедного ребенка не оста-

лось больше ни малейшего лесочка или кустарника, где бы он мог укрыться от взглядов докторши. Он весь на виду. Подобно часовому мастеру, разбирающему во время чистки часы, Софроницкая отделяет друг от друга и извлекает на свет самые сокровенные частицы духовного организма Бориса. И потом, когда мальчик все же показывает время не так, как нужно, она начинает теряться в догадках. Вот что она мне рассказала:

В девятилетнем возрасте Бориса отдали в одну варшавскую гимназию. Там он подружился с одноклассником по имени Баптистин Крафт, который был на год или на два старше его и который приобщил его к тайным занятиям, принимаемым наивно восхищенными детьми за «магию». Так называли они свой порок, поскольку где-то услышали или прочитали, что магия позволяет таинственным образом получать то, что желаешь, что она безгранично увеличивает силы и тому подобное. Они совершенно искренне верили, что открыли секрет, позволяющий компенсировать реальное отсутствие иллюзорным присутствием, и вволю предавались галлюцинациям, приходили в экстаз от пустоты, которую их взвинченное воображение населяло чудесами, значительно усиливая сладострастие. Само собой разумеется, что Софроницкая употребляла другие слова; мне-то хотелось бы, чтобы она точно привела мне высказывания Бориса, но она утверждает, будто ей удалось извлечь то, что я здесь записал — при этом она настаивает на достоверности своих выводов,— из груды умолчаний, увиливаний и неточностей.

— Я обнаружила здесь,— добавила она,— давно разыскиваемый мною ключ к загадке того клочка пергамента, который Борис постоянно носил с собой в ладанке, на груди, вместе с медальками-образками, повешенными ему на шею матерью, и на котором старательно, по-детски крупными буквами были выведены пять слов:

ГАЗ. ТЕЛЕФОН. СТО ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Сколько я ни пыталась получить объяснение их смысла, так он мне ничего и не сказал. Всегда, когда я пыталась его расспрашивать, он мне отвечал: «Но это же ничего не обозначает. Это магия». Вот и все, чего мне удалось добиться. Теперь-то я знаю, что эти загадочные слова написаны юным Баптистином, гроссмейстером и профессором магии, и что они, эти пять слов, служили детям своего рода заклинанием, неким «Сезамом», открывающим дверь постыдного рая и сладострастия. Борис называл

этот клочок пергамента своим талисманом. Мне стоило уже немалых трудов убедить его показать мне этот талисман, потом еще больших трудов — уговорить его расстаться с ним (в самом начале нашего пребывания здесь); я хотела, чтобы он избавился от него так же, как еще раньше — теперь я знаю это — он освободился от своих дурных привычек. У меня была надежда, что вместе с талисманом исчезнут мучающие его тики и мании. Но он цеплялся за него, как за последнее пристанище.

— Вы же сказали, что он избавился от своих дурных привычек...

— Нервная болезнь началась у него потом. Она, несомненно, явилась следствием того насилия над собой, которое он вынужден был совершать, когда боролся с этими привычками. Я узнала от него, что однажды мать застала его как раз тогда, когда, по его словам, он «занимался магией». Почему же она никогда не рассказывала мне об этом случае?.. Стыдилась?..

— И еще, очевидно, потому, что знала, что сын уже исправился.

— Но это же абсурд... ведь это-то и была та самая причина, которую я столько времени пыталась нащупать. Я на днях говорила вам, что считала Борнса абсолютно чистым.

— Вы даже сказали мне, что именно это и смущает вас.

— Видите, насколько я была права!.. Мать все-таки должна была предупредить меня. Если бы мне сразу удалось увидеть всю картину, Борис был бы уже здоров.

— Вы же сказали, что болезнь началась только потом...

— Я сказала, что она явилась следствием протеста. Я представляю себе: мать ругала его, умоляла, увещевала. А тут еще умер отец. Борис убедил себя, что пришло возмездие за его тайные занятия, которые строго осудила его мать; он почувствовал себя ответственным за смерть отца, почувствовал себя преступником, грешником. Он перепугался, и именно в этот момент его слабый организм, как какая-нибудь преследуемая зверушка, стал изобретать одну за другой мелкие уловки, в которых он находит утешение от своей внутренней тревоги и которые, в сущности, являются признаниями.

— Если я правильно вас понял, вы полагаете, что для Бориса было бы менее вредно продолжать спокойно заниматься своей «магией»?

— Я просто думаю, что не стоило его пугать. Уже сама перемена образа жизни в связи со смертью отца, оче-

видно, отвлекла бы его от вредной привычки, а отъезд из Варшавы освободил бы мальчика от влияния его приятеля. С помощью страха ничего хорошего не добьешься. Когда я поняла, в чем тут дело, то, обращаясь к прошлому и обсуждая все это с ним, я устыдила его за то, что он позволил себе отдать предпочтение химерам перед истинными благами, которые, как я ему объяснила, достаются в награду за усилие. Я вовсе не пыталась охаивать его порок, а просто рассказала ему, что он является одной из форм лени; я и действительно так считаю: формой наиболее утонченной, наиболее коварной...

Слушая ее, я вспомнил строки Ларошфуко, которые мне захотелось показать ей, и, хотя я мог бы процитировать их по памяти, я пошел и принес «*Максимы*», эту маленькую книжечку, которая сопровождает меня во всех моих путешествиях. Я прочитал ей:

«Из всех страстей наиболее непознанной нами является лень; она и самая жгучая, и самая вредная из всех, хотя неистовство ее незаметно, а причиняемый ею ущерб оказывается глубоко запрятанным... Даруемый ленью покой составляет сокровенную прелесть души, внезапно приостанавливающей свои самые бешеные погони и откладывающей осуществление самых неотложных решений. Чтобы дать наконец истинное представление об этой страсти, нужно сказать, что лень является чем-то вроде блаженства души, утешающей ее во всех ее утратах и заменяющей ей все блага».

— Не станете ли вы утверждать,— сказала мне Софроницкая,— что Ларошфуко, когда писал эти строки, желал намекнуть именно на то, о чем мы сейчас говорили?

— Вполне возможно, но я все же не думаю. Наши классики предоставляют богатые возможности для любых толкований их текстов. Точность их изречений вызывает тем большее восхищение, что она не стремится быть догматичной.

Я попросил ее показать мне этот знаменитый талисман Бориса. Она ответила, что его у нее теперь уже нет, потому что она отдала его одному человеку, проявившему интерес к Борису и попросившему у нее пергамент на память. «Некий господин Струвилу,— пояснила она,— которого я встретила здесь незадолго до вашего приезда».

Я сказал Софроницкой, что видел эту фамилию в списках клиентов отеля, что в свое время я знал одного Струвилу и что мне было бы интересно узнать, тот ли это са-

мый. Когда она описала мне его, сомнения мои окончательно рассеялись, но удовлетворить мое любопытство в том, что касается интересовавших меня деталей, она не смогла. Я узнал лишь, что он был весьма любезен, весьма услужлив, что он показался ей очень умным, хотя и несколько леннвым, «позволю я себе,— добавила она смеясь,— еще раз употребить это слово». Я в свою очередь рассказал ей то, что знал о Струвилу, и поэтому мне пришлось рассказать также о пансионе, где мы с ним встретились, о родителях Лоры (та со своей стороны тоже не преминула поведать ей кое-какие вещи), наконец, о старом Лаперузе, о его родственных связях с маленьким Борисом и о данном миою ему при расставании обещании привезти ему мальчика. Поскольку раньше Софроницкая говорила мне, что считает нежелательным, чтобы Борис продолжал жить вместе с матерью, то я спросил ее: «А почему бы вам не поместить его в пансион к Азаисам?» Подсказывая ей эту идею, я думал прежде всего об огромной радости деда мальчика, который знал бы, что Борис находится совсем рядом с ним, у друзей, где он может видеть его, когда ему захочется; но в то же время я думал и о том, что мальчику будет там хорошо. Софроницкая, очень и очень заинтересовавшаяся всем, что я ей только что сообщил, обещала поразмыслить над моим предложением.

Софроницкая то и дело повторяет, что маленькнй Борис выздоровел; проведенный ею курс лечения должен подтверждать правильность ее метода; однако я опасаюсь, что она несколько предвосхищает события. Я, естественно, не собираюсь ей противоречить и признаю, что тики, жесты-покаяния и болезненные недомолвки при разговоре у него сейчас почти совсем исчезли, но только мне кажется, что болезнь просто укрылась в более глубоких слоях его существа, словно для того, чтобы спрятаться от испытующего взгляда врача, и что теперь недуг проник в саму душу ребенка. Подобно тому как раньше на смену онанизму пришли нервные движения, теперь они уступают место непонятно каким невидимым страхам. Правда, Софроницкая не скрывает беспокойства, когда видит, как Борис вслед за Броней устремляется в какой-то детский мистицизм; она слишком умна, чтобы не понимать, что это новое «блаженство души», которого сейчас хочет достичь Борис, в сущности, не так уж сильно отличается от блаженства, достигавшегося им когда-то с помощью иллюзий, и что будучи менее разрушительным для организма,

требующим от него меньшей затраты сил, оно тем не менее отвлекает его от целенаправленных, плодотворных усилий. Однако, когда я пытаюсь ей об этом говорить, она мне отвечает, что души таких детей, как Борис и Броня, не в состоянии обойтись без какой-нибудь химерической пищи и что если ее у них отнять, то они не вынесут: Броня рискует погрузиться в отчаяние, а Борис впадет в простейший материализм; кроме того, она считает себя не вправе обманывать доверие детей и, хотя и рассматривает их веру как иллюзорную, склонна видеть в ней сублимацию низменных инстинктов, предвосхищение духовности, защитный барьер и я уж не знаю, что еще... Отказываясь верить в церковные догмы, она верит в эффективность религии. С волнением рассуждает о набожности этих двух детей, которые вместе читают Апокалипсис и, вдохновляясь, ведут беседы с ангелами и облачают свои души в белые одежды. Как все женщины, она полна противоречий. Однако она была права: я явно не мистик... и не ленивец тоже. Я очень надеюсь, что климат пансиона Азаисов и Парижа поможет Борису стать тружеником, поможет наконец вылечить его от тяги к «воображаемым благам». В этом его спасение. Софроницкая, похоже, склоняется к мысли доверить заботу о нем мне, но в Париж она, по-видимому, отвезет его все же сама; она хочет посмотреть, как он устроится у Азаисов, и успокоить также этим жестом его мать, от которой она берется получить согласие».

VI

Встречаются порой такие пороки, которые при правильном их употреблении сияют ярче самой добродетели.

Ларошфуко

ОЛИВЬЕ БЕРНАРУ

«Старина,

Сообщаю тебе прежде всего, что выпускные экзамены сдал хорошо. Хотя это и не столь важно. Мне представилась исключительная возможность отправиться в путешествие. Я какое-то время колебался, но, прочитав твое письмо, сразу же решил ею воспользоваться. Было, правда, поначалу легкое сопротивление со стороны матери, но его

удалось быстро сломить благодаря помощи Венсана, который повел себя как нельзя лучше, чего я даже не ожидал от него. Не могу поверить, чтобы в тех обстоятельствах, на которые намекает твое письмо, он повел себя как негодяй. В нашем возрасте мы имеем скверную привычку судить людей слишком строго и поспешно выносить приговор. Многие поступки кажутся нам неблаговидными, даже отвратительными просто из-за того, что мы недостаточно хорошо знаем обусловившие их мотивы. Венсан не... Впрочем, это завело бы меня слишком далеко, а мне слишком многое нужно тебе сказать.

Да будет тебе известно, что это письмо тебе пишет главный редактор нового журнала «Авангард». После некоторых раздумий я согласился занять эту должность, которую счел возможным предложить мне граф Робер де Пассаван. Он является издателем журнала, но не слишком стремится к тому, чтобы об этом все знали, так что на обложке будет фигурировать только одна моя фамилия. Мы начнем издаваться в октябре; постарайся прислать мне что-нибудь для первого номера; я по-настоящему расстроюсь, если твоя фамилия не будет украшать первое же оглавление рядом с моей. Пассавану хотелось бы, чтобы в первом номере появилось что-нибудь очень вольное, с перчиком, поскольку он полагает, что самым жестоким упреком в адрес молодого журнала оказался бы упрек в застенчивости, и я с ним совершенно согласен. Мы много говорнм обо всем этом. Он попросил меня выразить эту нашу позицию и предложил мне один весьма щекотливый сюжет для небольшой новеллы; мне будет несколько неловко перед матерью, но ничего не поделаешь. Как говорит Пассаван: чем ты моложе, тем меньше тебя компрометирует скандал.

Пишу я тебе из Виццавоны. Виццавона — это крошечная деревушка, спрятавшаяся в густом лесу на склоне одной из самых высоких гор Корсики. Гостиница, в которой мы живем, расположена довольно далеко от самой деревни и служит туристам отправным пунктом их экскурсий. Мы здесь всего несколько дней. Сначала мы было остановились в другой гостинице, недалеко от чудесной и абсолютно пустынной бухты Порто, куда мы спускались по утрам купаться и где можно ходить голым на протяжении всего дня. Это было чудесно, но стояла сильная жара, и нам пришлось подняться в горы.

Пассаван — милейший компаньон; он совершенно равнодушен к своему титулу; он хочет, чтобы я называл его

Робером, а мне придумал сокращенное имя Олив. Ну не мило ли с его стороны? Он делает все, чтобы я забыл его возраст, и, уверяю тебя, ему это удается. Моя мать была немного напугана этим моим отъездом с ним, потому что она практически совсем его не знала. И колебался я как раз из опасения расстроить ее. До получения твоего письма я даже почти уже отказался. Ее удалось убедить Венсану, а мне придало храбрости твое письмо. Последние дни перед отъездом мы провели в беготне по магазинам. Пассаван такой щедрый: он то и дело хотел что-нибудь мне подарить, и я постоянно его останавливал. Но он находил мое бедное тряпье ужасным; рубашки, галстуки, носки — все, что у меня было, ему не нравилось, и он повторял, что коль скоро я должен какое-то время жить вместе с ним, то он будет страдать, видя меня одетым не так, как следует, то есть не так, как ему нравится. Естественно, все эти покупки — из опасения, как бы они не встревожили маму,— отсылались к нему. Самого его отличает изысканнейшая элегантность, но, что самое главное, у него превосходный вкус, и многие мои вещи, которые раньше представлялись мне вполне сносными, теперь кажутся мне отвратительными. Ты и вообразить себе не можешь, как весело он может шутить в магазинах. Он такой остроумный! Я могу привести тебе один пример: мы находились у Брентано, где он отдал в починку свою авторучку. Позади него стоял здоровенный англичанин, который вознамерился пройти без очереди и который, поскольку Робер несколько резко его оттолкнул, начал что-то бормотать в его адрес; Робер оборачивается к нему и очень спокойно говорит:

— Зря стараетесь. Я не понимаю по-английски.

Тогда тот, весь разъяренный, переходит на чистейший французский:

— А должны были бы понимать, сударь.

На что Робер, улыбаясь, очень вежливо отвечает:

— Ну вот, видите: вы зря старались.

Англичанин весь кипел от негодования, но так и не нашелся, что еще сказать. Было невероятно смешно.

В другой раз мы были в «Олимпии». Во время антракта мы прогуливались в холле, где нам на пути то и дело попадались шлюхи. Две из них, весьма невзрачные с виду, прицепились к нему:

— Дружочек, угостишь кружкой пива?

Мы сели с ними за столик.

— Официант! Кружку пива для этих дам.

— А для этих господ?

— Для нас?.. О! Мы выпьем шампанского,— ответил он небрежно. И заказал бутылку «Моэта», которую мы опорожнили вдвоем. Видел бы ты, как на нас смотрели эти несчастные девицы!.. Мне кажется, он терпеть не может шлюх... Он поведал мне, что ни разу не был в борделе, и дал понять, что очень рассердился бы на меня, если бы я туда пошел. Видишь, это человек весьма чистоплотный, несмотря на его вызывающий вид и циничные речи — например, он говорит, что во время путешествий обычно называет унылым такой день, когда ему *before lunch* не попались по крайней мере пять «объектов», с которыми он желал бы переспать. Кстати, должен тебе сказать, что с тех пор я не возобновлял... ты меня понимаешь.

У него такая забавная и своеобразная манера излагать свои нравственные принципы. Однажды он сказал мне:

— Видишь ли, мой мальчик, главное в жизни — не позволять себе увлекаться. За одним следует другое, а потом оказывается, что уже не знаешь, куда тебя несет. Я когда-то знал одного молодого человека из очень хорошей семьи, которому пришлось жениться на дочери моей кухарки. Как-то раз ночью он зашел случайно к одному мелкому ювелиру. Убил его. Потом обокрал. А потом скрыл все это. Видишь, куда это ведет. Когда я встретил его в последний раз, он превратился в лжеца. Имей это в виду.

Причем он всегда такой. Так что, как ты понимаешь, я не скучаю. Мы отправились сюда с намерением хорошо поработать, но до настоящего времени только тем и занимались, что купались, грелись на солнце и болтали. У него на любой случай жизни есть свое оригинальное мнение и оригинальная мысль. Я всячески стараюсь убедить его записать недавно изложенные им совершенно новые теории о глубинных морских животных и о том, что он называет их «собственным светом», позволяющим им обходиться без солнечного света, который он уподобляет свету благодати и «откровения». Когда пересказываешь, как я это сделал, в нескольких словах, то получается не очень впечатляюще, но, когда он рассказывает, уверяю тебя, это интересно, как роман. Обычно никому и в голову не приходит, что он прекрасно разбирается в естествознании; скрывать свои познания — своего рода кокетство с его стороны. Он называет их своими потайными драгоценностями. Говорит, что только выскочки любят выставлять напоказ все свои украшения, особенно когда те поддельные.

Он обладает удивительной способностью пользоваться идеями, образами, людьми, вещами; то есть он из всего извлекает выгоду. И говорит, что великое искусство жизни состоит не столько в том, чтобы наслаждаться, сколько в том, чтобы научиться извлекать пользу.

Я написал несколько стихотворений, но не слишком ими доволен и поэтому тебе их не посылаю.

До свидания, старина. До октября. Ты увидишь, что и я тоже изменился. С каждым днем я становлюсь все более уверенным в себе. Я рад, что ты находишься в Швейцарии, но, как видишь, завидовать тебе у меня нет никаких оснований.

Оливье»

Бернар протянул письмо Эдуару, и тот прочитал его, ничем не выдав своих чувств. Все, что с таким упоением рассказывал Оливье о Робере, возмущало его и давало все новые и новые основания для ненависти. Особенно расстроило его то, что Оливье в своем письме ни словом не упомянул о нем, что Оливье как бы совсем забыл о его существовании. Тщетно пытался он расшифровать три старательно зачеркнутые строчки постскриптума:

«Скажи дяде Э., что я постоянно думаю о нем, что я не могу простить ему того, что он бросил меня, и что в сердце моем осталась глубокая рана».

Из всего этого фанфаронского, продиктованного досадой письма только эти три строчки и были искренними. Но Оливье зачеркнул их.

Эдуар молча вернул Бернару ужасное письмо; Бернар так же молча взял его. Я уже сказал, что они мало разговаривали друг с другом; всякий раз, когда они оказывались наедине, ими овладевала какая-то странная, необъяснимая скованность. (Я не люблю этого слова «необъяснимый» и употребляю его временно, за неимением лучшего.) Однако в тот вечер, когда они удалились в свою комнату и готовились ко сну, Бернар, сделав над собой большое усилие, спросил чуть сдавленным голосом:

— Лора показала вам письмо, которое она получила от Дувье?

— У меня не было никаких сомнений в том, что Дувье поступит именно таким образом,— сказал Эдуар, ложась в постель.— Он очень хороший человек. Может быть, не без некоторой слабинки, но все равно очень хороший. Я уверен, он будет обожать этого ребенка. А малыш на-

верняка получится покрепче, чем если бы родился от него. У него-то самого внешность отнюдь не богатырская.

Бернар слишком любил Лору, и его не могла не шокировать подобная бесцеремонность со стороны Эдуара; однако он ничем не выдал своего недовольства.

— Ну и хорошо! — добавил Эдуар, гася свою свечу,— я рад, что вся эта история, казавшаяся совершенно безысходной, заканчивается столь благополучно. От опрометчивых поступков никто не застрахован; нужно только вовремя остановиться...

— Разумеется,— сказал Бернар, не желая вступать в дискуссию.

— Должен вам признаться, Бернар, что я опасаюсь, не совершил ли я нечто подобное с вами...

— Опрометчивый поступок?

— Вот именно. Несмотря на все мое расположение к вам, я с некоторых пор все больше и больше убеждаюсь, что мы с вами слишком разные люди и вряд ли в состоянии найти общий язык, что...— он немного помедлил, подыскивая слова,— пребывание в моем обществе вредит вам.

Бернар, до тех пор пока Эдуар не заговорил об этом, думал точно так же, но стоило Эдуару произнести вслух то, что он думал, как Бернар тут же изменил свое мнение. Дух противоречия овладел им, и он стал возражать.

— Вы еще недостаточно хорошо меня знаете, и даже я сам плохо себя знаю. Вы ведь даже не испытали меня в деле. Могу я попросить вас подождать еще, если у вас нет ко мне никаких претензий? Я согласен, что мы с вами не слишком похожи друг на друга, но я как раз думал, что так лучше для каждого из нас, то, что мы разные. Мне думается, что если я в чем-то и могу оказать вам помощь, то прежде всего благодаря тому, чем я от вас отличаюсь, благодаря тому, что я способен был бы принести нового. Если я ошибусь, то всегда будет время предупредить меня. Я не из тех, кто постоянно жалуется или обвиняет других... Но вот послушайте, что я вам предлагаю; может быть, это глупо... Маленького Бориса, насколько я понял, определят в пансион Веделей-Азаисов.. Софроницкая не высказывала вам своих опасений, как бы он не почувствовал там себя немного покинутым? А если бы я появился там с рекомендацией от Лоры, мог бы я рассчитывать найти себе какую-нибудь работу — скажем, репетитора, воспитателя или что-то в этом роде? Мне нужно зарабатывать на жизнь. Я не собираюсь просить чрезмерную

плату за то, что буду там делать, крыши над головой и питания мне бы вполне хватило... Софроницкая мне доверяет, с Борисом у нас отношения хорошие. Я буду его защищать, буду ему помогать, стану его наставником, другом. И при этом я остался бы в вашем распоряжении, в промежутках работал бы для вас и являлся бы к вам по первому зову. Скажите, как вы относитесь к этому?

И словно для того, чтобы придать «этому» больше веса, он добавил:

— Я уже два дня думаю над этим.

Это была неправда. Если бы он сочинил этот прекрасный проект не сейчас, а раньше, то не преминул бы поговорить о нем с Лорой. Правдой же было то — о чем он умолчал, — что с самого момента нескромного прочтения им дневника Эдуара и с момента встречи с Лорой его нередко посещали мысли о пансионе Веделей; ему хотелось познакомиться с Арманом, другом Оливье, о котором Оливье никогда ему ие говорил; еще больше ему хотелось познакомиться с его младшей сестрой Сарой; однако свое любопытство он хранил в тайне и из уважения к Лоре не признавался в нем даже самому себе.

Эдуар молчал; однако коль скоро предлагаемый Бернаром проект решал проблему жилья, то он вполне устраивал и его тоже. Ему не очень хотелось давать Бернару пристанище у себя дома. Бернар задул свою свечу, потом сказал:

— Только не думайте, что я ничего не понял в том, что вы рассказывали о своей книге и о выстроенном вами конфликте между грубой действительностью и...

— Я его не выстраивал, — возразил Эдуар, — он существует.

— Вот тут-то, может быть, и понадобится моя помощь; я бы подбрасывал вам факты, а вы бы расправлялись с ними. Я бы просто наблюдал вместо вас.

У Эдуара мелькнула мысль, что Бернар над ним слегка подсмеивается. Так или иначе. но у него осталось ощущение, что тот его каким-то образом унизил. Слишком уж хорошо он выражал свои мысли...

— Мы с вами обсудим это, — сказал Эдуар.

Затем они надолго замолчали. Бернар тщетно пытался уснуть. У него не выходило из головы письмо Оливье. В конце концов, слыша, как Эдуар тоже ворочается в своей постели, он не выдержал и спросил шепотом:

— Раз вы не спите, то я хочу спросить у вас еще одну вещь... Что вы думаете о графе де Пассаване?

— Черт побери, вы отлично себе представляете,— сказал Эдуар; потом, почти тут же: — А вы?

— Я,— ответил Бернар с яростью,— я бы его просто убил.

VII

Достигнув вершины холма, странник, прежде чем начать спускаться вниз, присаживается и осматривается; он пытается разглядеть, куда же приведет его та извилистая тропа, на которую он ступил и которая теряется во мгле, или, точнее, поскольку уже вечереет, в ночи. Вот и непредусмотрительный автор тоже останавливается на мгновение, переводит дыхание и с беспокойством задумывается, куда же приведет его начатое им повествование.

Я опасаюсь, что, вверяя маленького Бориса заботам Азаисов, Эдуар совершает ошибку. Как помешать ему сделать это? Любой человек поступает согласно предписаниям своего собственного закона, а закон Эдуара заставляет его беспрестанно экспериментировать. У него, конечно, доброе сердце, но во многих случаях мне кажется, что окружающие только выиграли бы, если бы он руководствовался скорее расчетом; ведь нередко его великодушие является всего лишь проявлением чреватого жестокостью любопытства. Он же хорошо знает пансион Азаисов, знает, какая нездоровая атмосфера царит там под удушающим покровом морали и религии. Он же знает Бориса, знает, какой он нежный и хрупкий. Он должен был бы предвидеть, какого рода воздействию он подвергает мальчика. Однако он думает отныне только о защите, помощи и поддержке, которые неустойчивая чистота ребенка способна найти в строгости старого Азаиса. Каким софизмам внимает его ум? Их ему нашептывает, конечно же, дьявол, поскольку, донесись они к нему откуда-то еще, он не стал бы их и слушать.

Эдуар не раз раздражал меня (взять хотя бы его высказывания о Дувье), даже возмущал; надеюсь, что это было не очень заметно; теперь-то я могу вам признаться. Его поведение по отношению к Лоре, порой столь благородное, тоже нередко казалось мне возмутительным.

Что мне не нравится у Эдуара — так это доводы, которыми он оправдывает свои поступки. Зачем, например, ему убеждать себя сейчас в том, что он заботится о благе Бориса? Лгать другим — еще куда ни шло, но лгать самому себе! Неужели он действительно верит в то, что поток,

грозящий унести ребенка, способен утолить его жажду? Я вовсе не отрицаю, что в мире существуют благородные, возвышенные и даже бескорыстные деяния, я говорю только, что за самой распрекрасной мотивировкой нередко прячется какой-нибудь ловкий бес, умеющий извлекать выгоду и там, где, как нам казалось, мы не дали ему поживиться ничем.

Воспользуемся летним сезоном, разбросавшим в разные стороны наших персонажей, и рассмотрим их на досуге повнимательнее. К тому же мы сейчас оказались где-то в самой середине нашего повествования, где оно несколько замедлилось, как бы набирая сил для того, чтобы потечь более стремительно. Бернар пока что явно слишком молод, чтобы взять на себя дальнейшее развитие интриги. Он берется защищать Бориса, но самое большее, на что он способен,— это наблюдать за ним. Мы уже видели, что Бернар меняется, а под влиянием страстей он, может быть, изменится еще сильнее. В одной из записных книжек я обнаружил запись нескольких фраз, где говорилось о том, как я относился к нему раньше:

«Мне следовало бы отнестись с большей настороженностью к тому из ряда вон выходящему поступку, который Бернар совершил в начале своей истории. Мне кажется, что если судить по его дальнейшим действиям, то он как бы израсходовал тогда все свои запасы анархизма, которых, останься он, как и полагается, под гнетом семьи, ему, очевидно, хватило бы еще надолго. Он же, сделав тот свой шаг, потом постоянно ощущал в себе по отношению к нему реакцию противодействия, нечто вроде протеста. Выработавшаяся у него привычка к бунту и противостоянию теперь заставляет его бунтовать против самого своего бунта. Он, конечно же, не принадлежит к числу тех моих персонажей, которые меня сильно разочаровали, потому что не принадлежал и к разряду тех из них, которые внушали мне надежды на что-то большее. Возможно, он слишком рано пожелал действовать самостоятельно».

Однако сейчас мне уже кажется, что я здесь не совсем прав. Думаю, что ставить на нем крест еще рано. В нем много душевной щедрости. Есть в нем и какая-то мужественность, и сила; он способен на такое чувство, как негодование. Он несколько самовлюбленно слушает свои речи, но ведь говорит он действительно хорошо. Я не очень-то доверяю чувствам, которые тут же превращаются в гладкие фразы. Это очень хороший ученик, а новые чувства с трудом укладываются в заученные формулировки.

Появись у него мысль чуть-чуть посвежее, он сразу начнет сбиваться. Он успел много прочитать, много запомнил и узнал гораздо больше из книг, чем из жизни.

Никак не могу успокоиться, вспоминая, какая прихоть судьбы позволила ему занять при Эдуаре место Оливье. События расположились не так, как нужно. Ведь Эдуар любил не его, а Оливье. Как внимательно следил бы он за его развитием! С какой симпатией, с каким уважением пестовал бы его, поддерживал, поднимал до своего уровня! Пассаван испортит его, сомневаться здесь не приходится. Самое опасное для него — это как раз такое вот бессовестное обхаживание. Я надеялся, что Оливье сумеет лучше от него защититься, но он слишком нежен, слишком чувствителен к лести. У него от всего начинает кружиться голова. Кроме того, по некоторым интонациям его письма Бернару я, как мне кажется, сделал довольно правильный вывод, что он слегка тщеславен. Чувственность, досада, тщеславие — тут ему очень трудно устоять! Боюсь, что, когда Эдуар встретится с ним вновь, будет уже слишком поздно. Однако он еще молод, и терять надежду пока что не стоит.

Ну а Пассаван... О нем лучше вообще не говорить, не правда ли? Нет ничего более зловещего и более окруженного славой, чем мужчины этой породы; разве что женщины, подобные леди Гриффит. Должен признаться, что поначалу эта дама внушала мне больше уважения. Но очень скоро я в ней разочаровался. Персонажи такого рода обычно бывают сделаны из рыхлого материала. Много их производит на экспорт Америка, хотя и не только она. У них вроде бы есть все: и богатство, и ум, и красота; нет лишь одного — души. Венсан, конечно же, скоро в этом убедится. На них не давит бремя воспоминаний, обязательств, угрызений совести; они никому не подчиняются и не признают никаких законов; будучи свободными и непредсказуемыми, они приводят романиста в отчаяние, поскольку их поступки лишены ценности. Надеюсь, теперь я встречусь с леди Гриффит не слишком скоро. Неприятно только то, что она забрала у нас Венсана, который интересовал меня гораздо больше, но теперь, когда он связался с ней и она взяла его в оборот, он теряет какую бы то ни было выразительность, углы его сглаживаются. А жаль: в нем что-то было.

Если мне доведется сиова сочинять какую-нибудь историю, то уж ее-то я населю только закаленными характерами, которые от жизни не притупляются, а, наоборот,

становятся острее... Лора, Дувье, Лаперуз, Азаис... что делать со всеми этими людьми? Я вовсе их не искал; они попались мне в пути, когда я шел следом за Бернаром и Оливье. Ничего не поделаешь; отныне я обязан с ними считаться.

Третья часть

ПАРИЖ

Когда мы получим в свое распоряжение еще несколько добротных монографий об отдельных областях, тогда, но никак не раньше, мы сможем, сопоставляя и тщательно сравнивая их данные, вернуться к проблеме совокупности и сделать здесь новый, решительный шаг вперед. Поступать иначе — значило бы пробежать галопом по Европам, руководствуясь лишь двумя-тремя упрощенными и огрубленными идеями. Это значило бы пройти в большинстве случаев мимо частного, индивидуального, неповторимого, то есть в конечном счете мимо самого интересного.

Люсьен Февр «Земля и эволюция человечества»

I

Возвращение в Париж не доставило ему никакого удовольствия.

Флобер «Воспитание чувств»

Дневник Эдуара

«22 сентября. Жара, скука. Вернулся в Париж на неделю раньше, чем предполагал. Так я и буду всегда торопиться на зов, еще даже не услышав его. Не столько усердие, сколько любопытство и стремление предвосхитить события. Мне никогда не удавалось обуздать свои желания.

Отвел Бориса к его деду. Побывавшая у него накануне и предупредившая его Софроницкая сообщила мне, что

госпожа де Лаперуз находится теперь в доме престарелых. Уф!

Я позвонил в дверь и оставил мальчика на лестничной площадке, предположив, что стоит проявить деликатность и на первом свидании не присутствовать: я опасался изъявлений благодарности со стороны старика. Потом расспрашивал мальчика, но так ничего и не добился. Софроницкая при встрече сказала мне, что с ней Борис был столь же немногословен. Когда час спустя, как и было условлено, она зашла за ним, дверь ей открыла служанка; Софроницкая увидела, что старик сидит за шашечной партией, а мальчик дуется в углу комнаты.

— Странно,— сказал совершенно озадаченный Лаперуз.— Вначале ему вроде бы понравилось, а потом он вдруг сразу разочаровался.

Оставлять их слишком долго наедине было ошибкой.

27 сентября. Сегодня утром встретил у Одеона Оскара Молинье. Полина и Жорж возвращаются только послезавтра. Он вернулся в Париж вчера один, и если ему приходится так же скучать, как и мне, то я охотно поверю, что радость его при встрече со мной была искренней. Мы договорились пообедать вместе и пошли в Люксембургский сад скоротать оставшееся до обеда время.

Молинье обычно говорит со мной в шутливом, а иногда даже и игривом тоне, который, как он, вероятно, считает, должен нравиться человеку, занимающемуся художественным творчеством. Своего рода желание показать, что есть порох в пороховницах.

— Я, в сущности, человек страстный,— заявил он мне. Я понял, что он хотел сказать «сластолюбивый». Я улыбнулся, как улыбаются словам женщины, сообщившей, что у нее очень красивые ноги, улыбкой, где читается: «Поверьте мне, я в этом никогда не сомневался». До настоящего времени я видел в нем только судейского чиновника, а теперь под тогой наконец возник человек.

Я не стал заводить с ним разговор об Оливье, прежде чем мы не уселись за стол у Фуайо; и тогда я сказал ему, что недавно получил известия о его сыне от одного из его приятелей, который сообщил, что он отправился в путешествие на Корсику с графом де Пассаваном.

— Да, это друг Венсана, и он предложил ему поехать вместе с ним. Поскольку Оливье накануне блестяще сдал свои выпускные экзамены, то его мать не сочла возможным отказать ему в такого рода удовольствии... Он ли-

тератор, этот граф де Пассаван. Вы, должно быть, знаете его.

Я не скрыл от него, что я не в восторге ни от его книг, ни от него самого.

— Собратья по профессии,— возразил он,— нередко судят друг друга чересчур сурово. Я попытался прочитать его последний роман, о котором с восторгом писали некоторые критики. Ничего особенного я в нем не обнаружил, но, понимаете, я же не специалист...

Когда же я стал выражать свои опасения по поводу того, что Пассаван способен оказать на Оливье дурное влияние, тот вяло пробормотал:

— Честно говоря, лично я не одобрял этого путешествия. Но нужно также учитывать, что начиная с определенного возраста дети ускользают от нас. Это общее правило, и тут ничего не попишешь. Полина хотела бы опекать их всю жизнь. В этом она похожа на всех остальных матерей. Иногда я ей говорю: «Ты же ведь только раздражаешь своих сыновей. Оставь их в покое. А то со всеми твоими вопросами ты сама и подсказываешь им дурные идеи...» Сам я считаю, что слишком долго опекать их просто бесполезно. Важно, чтобы на первом этапе воспитания в них были заложены кое-какие правильные принципы. Важно, чтобы им было от кого их унаследовать. Видите ли, дорогой мой, наследственность побеждает все. Есть такие шалопаи, которых ничто не исправит; мы говорим, что на них лежит печать судьбы. Вот уж их-то нужно держать в большой строгости. Ну а когда имеешь дело с хорошим материалом, поводья можно слегка отпустить.

— Вы же сказали мне,— продолжил я,— что это похищение Оливье состоялось без вашего согласия.

— О, мое согласие... мое согласие,— сказал он, уткнувшись носом в тарелку,— иногда обходятся без моего согласия. Нужно иметь в виду, что в семейной жизни, даже когда речь идет о дружной семье, последнее слово далеко не всегда принадлежит мужу. Вы не женаты, так что вас это не интересует...

— Ну уж извините,— ответил я, смеясь,— я как-никак писатель.

— Значит, вам, вероятно, приходилось замечать, что далеко не во всех тех случаях, когда мужчина позволяет руководить собой своей жене, это свидетельствует о слабости его характера.

— Действительно,— согласился я, желая ему поль-

стить,— есть твердые и даже властные мужчины, которые в семейной жизни оказываются кроткими как ягнята.

— А знаете, отчего так происходит?— спросил он.— Когда муж уступает жене, то в девяти случаях из десяти это означает, что ему приходится таким вот образом замаливать кое-какие свои грехи. Добродетельная жена, дорогой мой, получает преимущество во всем. Стоит мужу на мгновение согнуть спину, как она уже сидит у него на плечах. Ах, друг мой, несчастные мужья порой весьма достойны сочувствия. В молодости нам хочется, чтобы супругн наши были целомудренны, и мы не подозреваем, как дорого нам придется потом платить за их благонравие.

Я сидел, облокотившись на стол, подперев голову руками, и наблюдал за Молинье. Сетуя на согбенность собственного хребта, бедняга и не подозревал, что эта поза шла ему как нельзя лучше; он часто вытирал лоб, много ел, причем скорее не как гурман, а как обжора, и, похоже, особенно высоко оценил заказанное нами старое бургундское вино. Он изливал душу, довольный тем, что его слушают, понимают и, как ему, очевидно, казалось, одобряют.

— Исполняя обязанности судьи, я повидал немало таких жен, которые уступали себя своим мужьям лишь нехотя, лишь скрепя сердце... и которые, однако, стоит только несчастному урвать что-нибудь на стороне, сразу начинают возмущаться.

Судья начал свою фразу в прошедшем времени, муж закончил ее в настоящем, не оставив никаких сомнений в том, что речь идет о нем самом. Прожевав очередной кусок, он произнес назидательным тоном:

— Аппетиты другого, когда их не разделяешь, обычно кажутся чрезмерными.— Он сделал большой глоток вина и добавил: — Вот вам, дорогой друг, и объяснение того, как муж утрачивает руководящую роль в семье.

По мере того как он говорил, я обнаруживал под внешней бессвязностью его речей желание свалить на добродетели своей жены ответственность за собственные слабости. Я слушал и говорил себе, что у развинченных паяцев вроде него даже их эгоизма не хватает для того, чтобы сохранять единство всех разрозненных элементов их существа. Стоит им немного забыться, и появляется такое ощущение, что они вот-вот развалятся на кусочки. Он замолчал. Тут я почувствовал необходимость вста-

вить несколько слов; так подливают масла в остановившуюся машину, на новый цикл, я сказал:

— К счастью, Полина — женщина с головой.

Он произнес: «да...», растянув его так, что оно превратилось в выражение сомнения, а потом продолжил:

— Есть, однако, вещи, которых она не понимает. Вы знаете, женщина, как бы она ни была умна... Нужно, кстати, признать, что я в данном случае тоже повел себя не совсем правильно. Сначала сознался в маленьком приключении, поскольку я верил, был просто убежден, что история на этом и кончится. А история стала развиваться... и подозрения Полины тоже усилились. Я совершенно напрасно впустил ей, как говорят, блоху в ухо. Потом пришлось изворачиваться, лгать... Вот что значит иметь чересчур длинный язык. Что поделаешь? Я ведь по натуре не скрытный... А Полина невероятно ревнива, и вы представить себе не можете, как мне приходилось хитрить.

— И долго это продолжается? — спросил я.

— О, это тянется уже лет пять, и мне кажется, что я уже совершенно ее успокоил. Но теперь все начнется по новой. Представьте себе, вернувшись позавчера к себе домой... А что если нам взять вторую бутылочку «Помара», как вы считаете?

— Нет, спасибо, я больше не буду, если хотите, закажите себе.

— Может быть, у них есть маленькие бутылки. Потом я схожу домой поспию. Я плохо переношу жару... Так вот, вернувшись позавчера к себе домой, я открыл письменный стол, чтобы положить туда бумаги. Выдвигаю ящик, где спрятал письма... той особы, о которой идет речь. Представьте себе, дорогой мой, какой меня охватил ужас: ящик-то пустой. О! Черт побери, картина яснее ясного. Недели две назад Полина приезжала с Жоржем в Париж на свадьбу дочери одного из моих коллег; сам я присутствовать на ней не мог, поскольку, как вы знаете, находился в это время в Голландии... да и к тому же все эти церемонии — это скорее женское дело. А она оказалась без дела в пустой квартире и под предлогом, что нужно сделать уборку, а вы же знаете, женщины всегда немного грешат любопытством... вероятно, начала рыться... о, без задней мысли. Я не обвиняю ее. Но у Полины всегда была какая-то безумная страсть наводить порядок... Ну и вот, что я теперь ей скажу, когда у нее в руках все доказательства? Если бы малышка еще не называла меня по имени!

Такая дружная семья! Как подумаю, что мне предстоит выдержать...

Бедняге нелегко давалась его исповедь. Он постоянно вытирал себе лоб, пытался обмахиваться. Я выпил гораздо меньше, чем он. По заказу сердце сочувствовать не заставишь: я не испытывал к нему ничего, кроме отвращения. Я еще принимал его в качестве отца семейства (хотя мне было тягостно осознавать, что он отец Оливье), в качестве добропорядочного, честного, получающего пенсию буржуа, но вот в роли влюбленного он мне казался просто смешным. Особенно неприятное впечатление на меня производили нескладность и банальность его речей, его мимики; его лицо и голос казались мне не созданными для выражения тех чувств, о которых он говорил; ощущение было такое, как если бы кто-то пытался из контрабаса извлечь звуки, подобающие альту, и в результате слышалось только сипение.

— Вы сказали, что с ней был Жорж...

— Да, она не захотела оставлять его одного. Хотя в Париже он, естественно, не все время находился при ней... Поверите ли, дорогой мой, за двадцать шесть лет семейной жизни у нас с ней не было ни малейшей сцены, ни единой размолвки... Как подумаю о той, что надвигается... ведь Полина возвращается через два дня... Эх! Ладно, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Кстати, что вы скажете о Венсане? Князь Монако, путешествие на яхте... Ничего себе!.. Как, вы ничего не знали?.. Да, он отправился наблюдать за замерами морских глубин и рыбной ловлей около Азорских островов. Ах, о нем-то мне нечего беспокоиться, уверяю вас! Он проложит себе дорогу сам.

— А здоровье?

— Полностью восстановилось. Ну а с его-то умом, я думаю, слава не заставит себя ждать. Граф де Пассаван не скрыл от меня, что считает его одним из замечательнейших людей из всех, с кем ему доводилось когда-либо встречаться. Он даже выразился: самым замечательным... но сделаем скидку на преувеличение...

Трапеза подходила к концу; он закурил сигару.

— Могу я вас спросить,— продолжал он,— кто этот друг Оливье, от которого вы узнали последние новости? Должен вам сказать, что знакомствам моих детей я придаю совершенно особое значение. Я полагаю, что в этом вопросе никогда не мешает подстраховаться. К счастью, у моих детей обнаруживается естественная тяга завязы-

вать контакты с самыми лучшими людьми. Посмотрите: Венсан со своим князем, Оливье с графом де Пассаваном... А Жорж разыскал в Ульгате одного своего одноклассника, юного Адаманта; милейший мальчик, они, кстати, вместе поступают в пансион Веделей-Азаисов; его отец — сенатор от Корсики. Однако обратите внимание, до какой степени нужно быть осмотрительным: у Оливье был один друг, некий Бернар Профитандье; казалось бы, юноша из весьма приличной семьи. Должен вам сказать, что его отец, Профитандье старший,— мой коллега, замечательнейший человек которого я очень уважаю. Только вот — но пусть это останется между нами — я недавно узнал, что он не является отцом ребенка, носящего его имя! Что вы на это скажете?

— Именно этот юный Бернар Профитандье и сообщил мне новости об Оливье,— ответил я.

Молинье несколько раз затянулся сигарой и, очень сильно подняв брови, отчего весь лоб его покрылся морщинами, сказал:

— Я бы предпочел, чтобы Оливье не слишком водился с этим юношей. Я получил о нем нехорошие сведения, что, впрочем, не слишком меня удивило. Ведь согласитесь: ничего хорошего от ребенка, родившегося при столь печальных обстоятельствах, ждать не приходится. Не то чтобы незаконнорожденному было отказано в великих достоинствах и даже в добродетелях; просто плод разврата и непокорности неизбежно несет в себе зародыши анархии... Да, дорогой мой, чему суждено было случиться, то и случилось. Юный Бернар внезапно покинул семейный очаг, куда ему и входить-то никогда бы не следовало. Он отправился, как выражался Эмиль Ожье, «жить своей жизнью», жить неведомо как и неведомо где. Беднята Профитандье, сам рассказавший мне об этой выходке, вначале выглядел совершенно потрясенным. Я постарался дать ему понять, что не нужно принимать случившееся так близко к сердцу. Ведь в конечном счете уход этого юноши всего лишь ставит все на свои места.

Я стал возражать, сказав, что знаю Бернара достаточно хорошо, чтобы поручиться за его человечность и его порядочность (конечно же, про историю с чемоданом я рассказывать ему не стал). Тут Молинье вдруг разгорячился:

— Ладно! Я вижу, что нужно рассказать вам кое-что еще.

Он наклонился вперед и продолжал вполголоса:

— Моему коллеге Профитандье поручили заняться расследованием одного чрезвычайно скабрезного и щекотливого дела, как по своей сути, так и по тем отзвукам и последствиям, которыми оно чревато. Это совершенно невероятная история, и хотелось бы, чтобы это все было неправдой... Речь идет, дорогой мой, о настоящем развратном заведении, о... нет, мне не хотелось бы употреблять нехорошие слова, скажем, о некоем чайном доме, причем главный-то скандал заключается в том, что посетители его гостиных в большинстве своем, даже почти исключительно, являются совсем еще юными лицеистами. Я же говорю вам, что в это просто трудно поверить. Похоже, что эти дети не отдают себе отчета в серьезности своих поступков, потому что почти совсем и не скрывают их. Все это происходит после уроков. Они там едят, беседуют, развлекаются с дамами, а потом игры продолжаются в смежных с гостиными комнатах. Доступ туда, естественно, открыт не всякому. Нужно быть представленным, посвященным. Кто оплачивает все эти оргии? Кто платит за помещение? Определить это поначалу представлялось делом несложным, но потом выяснилось, что проводить расследование нужно чрезвычайно осторожно — из опасения узнать слишком много, оказаться слишком вовлеченным, оказаться вынужденным продолжать расследование и в конце концов скомпрометировать некоторые почтенные семейства, чьи отпрыски, как предполагается, являются там едва ли не главными клиентами. Так *что я постарался сделать все, что мог, чтобы умерить* рвение Профитандье, устремившегося в это дело, подобно быку, не подозревая, что первым же ударом рога... (ах, простите меня; у меня это получилось совершенно непроизвольно; ах, ах, ах, как забавно; у меня просто вырвалось)... он рисковал пронзить собственного сына. К счастью, тут подоспели каникулы, и все разъехались кто куда; школьники рассеялись, и я надеюсь, что дело кончится ничем, будет замято без скандала после каких-нибудь предупреждений и наказаний.

— Вы уверены, что Бернар Профитандье замешан в этом деле?

— Не абсолютно, но...

— А что наводит вас на эту мысль?

— Прежде всего то, что он незаконнорожденный. Ведь вы же понимаете: чтобы юноша в его возрасте ушел так вот из дома, нужно потерять всякий стыд... Кроме того, я думаю, что у Профитандье закрались какие-то со-

мнения, потому что рвение его вдруг стало иссякать; мало того, он вроде бы даже дал задний ход и в последний раз, когда я спросил его про состояние этого дела, обнаружил нечто вроде замешательства. «Мне кажется, что в конечном счете следствие кончится ничем»,— сказал он мне и быстро перевел разговор на другую тему. Бедный Профитандье! Право же, вы знаете, он не заслужил того, что с ним случилось. Он порядочный человек и, что, вероятно, встречается еще реже, славный малый. Да, кстати, его дочь только что удачно вышла замуж. Я не смог присутствовать на свадьбе, потому что был в Голландии, а Полина и Жорж специально для этого сюда приезжали. Я уже говорил вам об этом? Самое время пойти сейчас поспать... Как, действительно? Вы хотите заплатить за все? Не надо! Между нами, мужчинами, давайте разделим по-товарищески... Не хотите? Ну ладно, прощайте. Не забудьте, что Полина возвращается через два дня. Заходите к нам. Да, не называйте меня больше Молинье: говорите просто Оскар!.. Я уже давно хотел вас попросить об этом.

Сегодня вечером получил записку от Рашели, сестры Лоры:

«Мне нужно поговорить с вами о некоторых серьезных вещах. Можете ли вы без большого ущерба для ваших дел зайти завтра после обеда в пансион? Вы сделаете мне большое одолжение».

Если бы она хотела поговорить со мной о Лоре, то не стала бы выжидать так долго. Она пишет мне впервые».

II

Дневник Эдуара

«28 сентября. Я нашел Рашель на пороге большой классной комнаты на первом этаже пансиона. Двое служителей мыли пол. На ней самой был фартук, и в руках она держала тряпку.

— Я знала, что могу рассчитывать на вас,— сказала она мне, подавая руку, с выражением нежной, покорной грусти и одновременно с улыбкой на губах, трогающей за душу сильнее, чем сама красота.— Если вы не слишком торопитесь, то было бы хорошо нанести короткий визит сначала дедушке, а потом маме. Если они узнают, что вы приходили и не зашли к ним, то очень огорчатся. Но толь-

ко оставьте немного времени для меня: мне обязательно нужно с вами поговорить. Вы найдете меня здесь; как видите, я слежу за уборкой.

Из-за какой-то своеобразной стыдливости она никогда *не говорит: я работаю. Рашель всю свою жизнь старается* держаться в тени; нет ничего более скромного, менее показного, чем ее добродетель. Самоотверженность до такой степени является частью ее натуры, что никому из родных и в голову не приходит испытывать к ней благодарность за ее постоянную жертвенность. Это самая прекрасная женская душа, какую я только знаю.

Поднялся на третий этаж к Азаису. Старик уже практически не покидает своего кресла. Он попросил меня присесть рядом с ним и почти сразу же заговорил о Лаперузе.

— Меня беспокоит, что он живет совсем один, и мне хотелось бы убедить его переселиться к нам в пансион. Вы же знаете, что мы старые друзья. Недавно я навестил его. Я опасаюсь, что его сильно потряс переезд его дорогой жены в Сент-Перин. Его служанка сказала мне, что он почти перестал питаться. Я считаю, что обычно мы едим слишком много, но в любом деле надо знать меру и крайности нехороши и в том, и в другом случае. Он считает бессмысленным, чтобы для него одного готовили пищу; а вот если бы он питался вместе с нами, то, видя, как едят другие, стал бы следовать их примеру. Здесь он находился бы рядом со своим очаровательным внуком, которого в противном случае у него просто не будет возможности видеть, так как поездка от улицы Вавен до улицы Фобур-Сент-Оноре — это же целое путешествие. Мало того, мне не очень-то хотелось бы отпускать ребенка одного гулять по Парижу. Я давно знаю Анатоля де Лаперуза. Он всегда был оригиналом. Это не упрек; но все дело в том, что по натуре своей он несколько горд и, вероятно, не согласится воспользоваться гостеприимством, не давая ничего взамен. Поэтому мне подумалось, что я мог бы предложить ему присматривать за занятиями детей, что было бы для него не слишком утомительно, а кроме того, как-то развлекало бы его, не позволяло бы ему сосредоточиваться на самом себе. Он ведь хороший математик, и в случае необходимости мог бы выступать в качестве репетитора по геометрии или по алгебре. Теперь, когда у него не осталось больше учеников, ему уже не нужны ни его рояль, ни его обстановка; так что он мог бы с ними расстаться; а поскольку после переезда сюда у него отпала бы необходимость платить за квартиру, то я подумал, что, ко всему

прочему, ради того, чтобы он чувствовал себя естественно, чтобы не испытывал ко мне какой-то чрезмерной благодарности, можно было бы договориться и о небольшой плате за пансион. Вы должны постараться убедить его, причем не слишком затягивая это, потому что я опасаюсь, что при своем ненормальном образе жизни он очень скоро ослабеет. К тому же занятия возобновляются через два дня, и, чтобы строить планы, было бы полезно знать, можно ли рассчитывать на него... как он может рассчитывать на нас.

Я пообещал ему пойти и поговорить с Лаперузом завтра же. Словно освободившись от груза, он тут же продолжил:

— Да, какой славный юноша, этот ваш протеже Бернар. Он так любезно предложил мне оказывать здесь кое-какие небольшие услуги; он говорил про какие-нибудь уроки, но я все же боюсь, что он слишком молод и не сумеет заставить относиться к себе с уважением. Я долго с ним беседовал и нашел его весьма симпатичным. Вот какого закала нужны характеры, чтобы ковать из них настоящих христиан. Весьма прискорбно то, что поначалу эта душа получила неправильное воспитание. Он признался мне, что не верит в Бога, но тон, каким он мне это сказал, вселил в меня надежду. Я ответил ему, что надеюсь найти в нем все те качества, которые необходимо иметь, чтобы из него вышел храбрый христов воин, и что ему следует подумать о том, как наилучшим образом применить вверенные ему Богом таланты. Мы перечитали вместе с ним притчу, и мне думается, что доброе семя упало не на дурную почву. Мои слова его взволновали, и он обещал над ними подумать.

Бернар успел рассказать мне о своей беседе со стариком; я уже знал, что он о ней думает, и из-за этого разговор вызывал у меня все более и более тягостное ощущение. Я было встал, чтобы попрощаться, но он, задержав в своих руках мою протянутую руку, сказал:

— Да, кстати, я здесь на днях видел нашу Лору! Я знал, что моя милая внучка провела целый месяц с вами, в горах; кажется, ей это очень пошло на пользу. Я рад, что она теперь снова дома, рядом с мужем, который, наверное, из-за такого долгого ее отсутствия уже начал страдать. Жаль только, что работа не позволила ему приехать туда, к вам.

Я порывался уйти, испытывая все возраставшую неловкость, поскольку не знал, о чем Лора ему рассказала,

а о чем нет, но тут он привлек меня к себе и, наклонившись к моему уху, сказал:

— Лора мне сообщила о своих надеждах, но только молчок!.. Она бы хотела, чтобы пока никто ничего не знал. Вам я говорю, потому что я знаю, что вы в курсе, и потому что мы-то с вами умеем держать язык за зубами. Бедная девочка так смущалась, так краснела, когда мне рассказывала; она ведь очень скромная. Потом она стала передо мной на колени, и мы вместе поблагодарили Господа за то, что он благословил этот союз.

Мне кажется, что Лоре было бы лучше повременить со своими откровениями; в ее состоянии пока еще можно не спешить. Если бы она посоветовалась со мной, то я бы порекомендовал ей подождать и ничего не рассказывать, пока она не встретится с Дувье. Азаис ничего не понимает, но всех остальных членов семьи так легко не проведешь.

Старик исполнил еще несколько вариаций на различные пастырские темы, потом сказал мне, что его дочь будет рада повидаться со мной, и я спустился на этаж Веделей.

Я перечитал только что написанное. Разговор в таком тоне об Азаисе отнюдь не делает мне чести. Я отдаю себе в этом отчет и дописываю еще несколько строчек специально для Бернара, если он по своей милой неделикатности вздумает опять сунуть нос в эту тетрадь. Стоит ему пообщаться еще какое-то время со стариком, и он поймет, что я имею в виду. Я очень люблю старика, и, как он говорит, «мало того», я его еще и уважаю; только вот когда я оказываюсь рядом с ним, то начинаю вдруг себя ненавидеть! Поэтому мне довольно тяжело находиться в его обществе.

Я очень люблю и пасторшу, его дочь. Госпожа Ведель похожа на ламартиновскую Эльвиру, на состарившуюся Эльвиру. Ее беседа не лишена очарования. Ей довольно часто случается не заканчивать начатую фразу, что придает ее мыслям некую поэтическую неопределенность. Из неточности и незавершенности она ткет бесконечность. Она ожидает в будущей жизни все, чего ей не хватает здесь, и это позволяет ей беспредельно расширять сферу своих надежд. Чем меньше остается у нее почвы под ногами, тем сильнее она устремляется ввысь. Поскольку видит она Веделя крайне редко, то ничто не мешает ей воображать, что она его любит. Ее достойнейший супруг постоянно находится в отлучке: у него тысяча дел, тысяча

забот, проповеди, конгрессы, посещения бедняков и больных. Он едва успевает пожать вам руку — на ходу, но зато очень сердечно.

— Сегодня так спешу, что поговорить никак не удастся.

— Ба! Поговорим, когда встретимся на небе,— отвечаю я ему, но у него нет времени даже для того, чтобы меня услышать.

— Ни минутки для себя,— вздыхает госпожа Ведель.— Знали бы вы, как он себя загружает работой с тех пор, как... А поскольку известно, что он никогда не откажет, то все ему... Вечером, когда он возвращается, то иногда бывает таким усталым, что я даже не решаюсь с ним заговаривать из опасения, что... Он всего себя отдает другим, так что для близких просто ничего не остается.

Она говорила, а мне вдруг вспомнилось, как Ведель иногда возвращался домой в те времена, когда я еще жил у них в пансионе. Я видел, как он обхватывал голову руками и, через какое-то время придя в себя, издавал жалобный стон. Уже тогда мне пришла в голову мысль, что он, может быть, больше боится этих коротких передышек, чем мечтает о них, и что самое тягостное в его жизни — это моменты досуга, сопряженные с размышлениями.

— Вы выпьете с нами чашечку чаю?— спросила меня госпожа Ведель, когда маленькая служанка принесла поднос с чайником и чашками.

— Мадам, у нас почти не осталось сахару.

— Я же вам сказала, что нужно пойти и попросить у мадемуазель Рашели. Ступайте живо... А молодых людей вы пригласили?

— Господин Бериар и господин Борис уже ушли.

— Так! А господин Арман?.. Поторопитесь.

И тут же, не дожидаясь, пока служанка выйдет, сказала:

— Эта бедная девица приехала из Страсбурга. У нее нет никакого... Приходится все ей растолковывать... Ну, чего же вы ждете?

Служанка обернулась с ничуть не меньшей прытью, чем змея, которой наступили на хвост.

— Внизу ждет репетитор; он хочет подняться сюда. Он сказал, что не уйдет, пока ему не заплатят.

Лицо госпожи Ведель приняло скучающе-трагическое выражение.

— Сколько раз я должна повторять, что денежными

делами здесь занимаюсь не я. Скажите, чтобы он обратился к мадемуазель. Поторопитесь!.. Прямо нет ни минуты покоя! Я, право, не понимаю, о чем думает Рашель.

— Мы что, разве ждать ее не будем?

— Она чай вообще никогда не пьет... Ах, на этот раз начало учебного года доставляет нам немало хлопот. Предлагающие свои услуги учителя-репетиторы запрашивают просто невероятные цены, а в тех случаях, когда цены приемлемы, неприемлемыми оказываются они сами. Тем репетитором, которого мы взяли последним, папа недоволен; поначалу не проявил к нему достаточно строгости, а теперь вот он еще и угрожает папе. Вы же сами слышали, что сказала сейчас эта малышка. Все эти люди думают только о деньгах... как будто в мире нет ничего более важного... Пока что мы не знаем, кем его заменить. Проспер по-прежнему убежден, что надо только молиться Богу, а все остальное устроится...

Служанка возвратилась, неся сахар.

— Вы позвали господина Армана?

— Да, мадам, он сейчас придет.

— А Сара? — поинтересовался я.

— Она вернется только через два дня. Она гостит у друзей в Англии; у родителей той девушки, которую вы видели у нас дома. Они были столь любезны, и я рада, что Сара сможет немного... Так же как и Лора. Мне показалось, что сейчас она выглядит гораздо лучше. Эта поездка в Швейцарию после юга пошла ей очень на пользу; это весьма любезно с вашей стороны — то, что вы ее уговорили. Один только бедный Арман все каникулы провел в Париже.

— И Рашель?

— Да, верно, и она тоже. Ее многие звали, но она предпочла остаться в Париже. Кроме того, дедушке была необходима ее помощь. Вы ведь знаете, жизнь такая вещь, что не всегда удается делать, что хочется. Приходится время от времени напоминать детям эту простую истину. Нужно думать не только о себе. Разве мне, например, не хотелось бы прокатиться в Саас-Фе? А Проспер, когда он куда-нибудь едет, думаете, он делает это для собственного удовольствия? Арман, ты же знаешь, что мне не нравится, когда ты являешься сюда без воротничка,— добавила она, увидев входящего в комнату сына.

— Дорогая мамочка, вы же всегда настойчиво, как истину из истин, внушали мне, чтобы я не придавал слишком большого значения своей одежде; так что сейчас эта

ваша наука пришлась очень кстати, ибо прачка возвращается только в среду, а все оставшиеся у меня воротнички порваны.

Я вспомнил то, что мне говорил Оливье о своем приятеле, и мне показалось, что за его злой иронией скрывается какая-то глубокая озабоченность. Лицо его похудело, нос заострился и загнулся над тонкими бледными губами. Он продолжал:

— А вы сообщили нашему благородному гостю, что, открывая наш зимний сезон, мы ангажировали и включили в нашу постоянную труппу несколько новых ярчайших звезд: сына одиого благонамеренного сенатора и юного виконта де Пассавана, брата прославленного писателя. Это не считая двух новичков, которых вы уже знаете, что, впрочем, только увеличивает их ценность: князя Бориса и маркиза де Профитандье, а также кое-кого еще, чьи титулы и достоинства нам предстоит открыть.

— Вы видите, он совсем не меняется,— сказала бедная мать, с улыбкой выслушав его насмешливую речь.

Поскольку я очень боялся, как бы он не заговорил о Лоре, то не стал затягивать свой визит и быстро спустился к Рашели.

Она засучила рукава своей блузки и помогала убирать классную комнату, но, увидев меня, мгновенно опустила их.

— Мне очень и очень неудобно обращаться к вам,— начала она, увлекая меня в соседнюю комнатку, предназначенную для индивидуальных занятий.— Я хотела было попросить Дувье; он сам предлагал мне помощь, но, повидавшись с Лорой, поняла, что теперь сделать этого не смогу...

Она была очень бледна, а когда произиосила эти последиие слова, губы ее и подбородок конвульсивно задрожали, так что в течение какого-то времени она не могла говорить. Чтобы не смущать ее, я отвел взгляд в сторону. Она прислонилась к двери, которую, входя, плотно закрыла. Я попробовал взять ее за руку, но она вырвалась. Наконец она продолжила сдавленным от волнения голосом:

— Вы не могли бы одолжить мне десять тысяч франков? Год обещает быть хорошим, скоро я надеюсь их вам вернуть.

— Когда вам нужно?

Она не ответила.

— При мне сейчас немногим более тысячи франков,—

продолжил я.— А завтра утром я соберу полную сумму... Если необходимо, то даже сегодня вечером.

— Нет, до завтра я подожду. Но только не могли бы вы без ущерба для себя дать мне тысячу франков уже сейчас?

Я вытащил их из бумажника и протянул ей.

— Вот, хотите тысячу четыреста франков?

Она опустила голову и так тихо произнесла «да», что я едва расслышал; потом подошла к парте, тяжело опустилась на сиденье, облокотившись обеими руками на пюпитр, закрыла лицо ладонями и замерла. Я подумал сначала, что она плачет, но, когда положил руку ей на плечо и она подняла голову, увидел, что глаза у нее сухие.

— Рашель, вовсе не надо стесняться этой своей просьбы. Я рад, что могу чем-то вам помочь.

Она спокойно посмотрела на меня.

— Меня удручает то, что мне приходится просить вас также не говорить об этом ни дедушке, ни маме. С тех пор как они поручили мне заниматься бухгалтерией пансиона, я стараюсь не сообщать им... словом, они ничего не знают. Не говорите им, я вас умоляю. Дедушка уже очень старый, а мама выбивается из сил.

— Рашель, это не она выбивается из сил... Это вы надрываетесь.

— Она старалась изо всех сил. А теперь устала. Теперь моя очередь. Других дел у меня ведь нет.

Она совсем просто произнесла эти простые слова. Я не почувствовал в ее самоотречении никакой горечи, скорее, наоборот, от них повеяло каким-то душевным покоем.

— Только, пожалуйста, не подумайте, что дела у нас совсем разваливаются,— продолжала она.— Просто сейчас появились кое-какие трудности, поскольку некоторые кредиторы проявляют нетерпение.

— Я только что слышал, как служанка говорила про репетитора, который требует, чтобы с ним расплатились.

— Да, он пришел и устроил дедушке очень неприятную сцену, и я, к сожалению, не сумела ее предотвратить. Это грубый и вульгарный человек. Мне нужно сейчас с ним рассчитаться.

— Хотите, я пойду вместо вас?

Она поколебалась немного, тщетно пытаясь улыбнуться.

— Спасибо. Не надо, лучше я сделаю это сама... Но вы все-таки выйдите со мной, хорошо. Я немного боюсь

его. Если он увидит вас, то, скорее всего, не станет ничего говорить.

Репетитор стоял, опершись откинутыми назад локтями на балюстраду, которая отделяла двор пансиона от сада, расположенного несколькими ступеньками ниже. На голове у него была фетровая шляпа с широченными полями; он стоял и курил трубку. Пока Рашель вела с ним переговоры, ко мне подошел Арман.

— Что, Рашель у вас деньжат перехватила,— сказал он цинично.— Вы подошли весьма кстати, чтобы выручить ее из неприятной истории. Все из-за этого Александра, моего паскудного братца, который наделал долгов в колониях. Рашель решила скрыть это от родителей. Она уже и так рассталась с половиной своего приданого, чтобы увеличить немного приданое Лоры, а теперь приказала долго жить и вторая половина. Готов поспорить, что она ничего вам не сказала. Ее скромность меня просто выводит из себя. Такова одна из самых зловещих шуточек нашего бренного мира: всякий раз, как кто-нибудь приносит себя в жертву другим, можно быть уверенным, что те этой жертвы не стоят... Сколько она всего сделала для Лоры! И как та ее отблагодарила, шлюха!..

— Арман,— возмущенно вскричал я,— вы не имеете права судить вашу сестру!

Но он возразил своим срывающимся, свистящим голосом:

— Напротив, я ее сужу, потому что и сам нисколько не лучше ее. Я ведь себя знаю. Рашель, вот она никогда нас не судит. Она не судит никогда и никого... Не спорьте, шлюха, шлюха... Причем клянусь вам, все, что я о ней думаю, я ей уже сказал прямо в лицо... А вы прикрываете все это, взяли под свою защиту! Вы-то ведь знали... Дедушка, тот вообще ничего не понимает. Мамочка старается ничего не понимать. Что касается папочки, то он во всем полагается на Господа; так удобнее. Чуть появится какое-нибудь затруднение — он сразу же юрк в свои молитвы, а Рашель выпутывайся. Единственное, к чему он стремится,— не видеть очевидного. Куда-то все бежит, разрывается на части; его вообще никогда не бывает дома. Я понимаю: он здесь задыхается, а я, я буквально подыхаю. Он старается одурманить себя, и больше ничего! А мамочка тем временем сочиняет стихи. О! Я вовсе не собираюсь над ней смеяться, мне-то какое дело. Только я-то по крайней мере знаю, что я подлец, и я никогда не пытался выдавать себя за что-нибудь другое. Скажите, ну разве это не

отвратительно: дедушка, играющий в «милосердие» с Лаперузом, потому что ему понадобился репетитор...

Внезапно его внимание переключилось:

— А что это там сейчас эта свинья говорит моей сестре? Если он, уходя, не попрощается с ней, как подобает, я дам ему кулаком в морду...

Арман бросился к гастролеру, и я подумал, что он сейчас его стукнет. Однако тот при его приближении снял шляпу, отвесил нарочитый, иронический поклон и устремился к воротам. В этот момент открылась калитка и появился пастор. Он был в рединготе, в цилиндре и черных перчатках, словно возвращался с крестин или похорон. Бывший репетитор и он обменялись церемонными поклонами.

Рашель и Арман подошли ко мне. Тут же к нам приблизился и Ведель.

— Все в порядке,— сказала Рашель отцу.

Тот поцеловал ее в лоб.

— Я же тебе говорил, дитя мое: Бог никогда не покидает тех, кто уповает на него.

Потом он подал мне руку.

— Вы уже уходите?.. Тогда до скорого свидания, не правда ли?»

III

Дневник Эдуара

«29 сентября. Визит к Лаперузу. Служанка колебалась, впускать меня или нет. «Месье не желает никого видеть». Однако я так настаивал, что она все же впустила меня в гостиную. Ставни были закрыты; я едва различил в полутьме моего старого учителя, сидевшего в кресле с прямой высокой спинкой. Он не встал. Не глядя на меня, он как-то боком протянул мне руку, которая, как только я ее пожал, вяло упала вниз. Я сел рядом с ним, так что мне был виден только его профиль. Черты его так и остались жесткими и неподвижными. Время от времени губы его шевелились, но он ничего не говорил. У меня даже закралось сомнение, узнал ли он меня. Часы пробили четыре часа, и тогда, словно движимый часовым механизмом, он медленно повернул голову в мою сторону и торжественно, сильным, но глухим, словно замогильным голосом произнес:

— Почему вас впустили? Я же наказал горничной со-

общать всем, кто будет меня спрашивать, что господин де Лаперуз умер.

Я испытал тягостное чувство, причем даже не столько от этих бессмысленных слов, сколько от тона, которым они были произнесены, высокопарного и абсолютно неестественного; я привык к тому, что мой старый учитель, общаясь со мной, всегда вел себя естественно и непринужденно.

— Девушка просто не захотела лгать,— ответил я наконец.— Не надо ругать ее за то, что она мне открыла. Я очень рад видеть вас.

Он тупо повторил: «Господин де Лаперуз умер». Потом опять погрузился в молчание. Я рассердился, встал и собрался было уходить, отложив попытку проникнуть в смысл этой печальной комедии до более благоприятных времен. Однако в этот момент вернулась служанка; она принесла чашку дымящегося шоколада.

— Месье должен сделать маленькое усилие. Он сегодня еще ничего не ел.

Лаперуз сделал нетерпеливое движение, как актер, которому какой-нибудь неловкий статист испортил эффектную сцену:

— Потом. Когда этот господин уйдет.

Однако не успела служанка закрыть за собой дверь, как он попросил:

— Друг мой, будьте добры, принесите стакан воды, умоляю. Стакан простой воды. Я умираю от жажды.

Я нашел в столовой графин с водой и стакан. Он налил себе воды, залпом выпил ее и вытер губы рукавом своего ветхого альпакового пиджака.

— У вас жар?— спросил я.

Моя фраза тут же вернула его к исполняемой им роли.

— У господина де Лаперуза нет жара. У него нет больше ничего. В среду вечером господин де Лаперуз перестал жить.

Я заколебался, не подключиться ли мне к его игре.

— А случайно не в среду вас навещал маленький Борис?

Лаперуз повернулся ко мне лицом; когда он услышал имя Борис, его черты осветила улыбка, походившая на тень прежней его улыбки, и он наконец согласился расстаться со своей ролью.

— Друг мой, вам я могу сказать: та среда была последним оставшимся в моем распоряжении днем.— Он немного помолчал и продолжил:— Тем самым послед-

ним днем, который я подарил себе, прежде чем... покончить навсегда.

Мне было ужасно тяжело видеть, как Лаперуз снова и снова возвращается к своей мрачной идее. Я осознал, что раньше, когда старик высказывал подобные мысли, я не принимал их всерьез; теперь я упрекал себя в том, что позволил себе забыть про них. Теперь я вспомнил все, но меня удивила одна деталь: ведь поначалу он говорил о более долгом сроке; когда я обратил на это его внимание, он ответил своим прежним и даже слегка приправленным иронией голосом, что назвал тогда неправильную дату, немного отодвинул ее, опасаясь, как бы я не попытался удержать его или как бы я не ускорил своего возвращения, но что при этом все же вставал на колени несколько вечеров подряд и молил Бога, чтобы тот позволил ему перед смертью увидеть Бориса.

— Я даже условился с Богом,— добавил он,— что в случае необходимости на несколько дней отложу свой уход... в связи с тем данным вами заверением, что вы его приведете ко мне, помните?

Я взял его руку; она была ледяная, и я попытался согреть ее в своих руках. Между тем он продолжал ровным голосом:

— А потом, когда я узнал, что вы вернетесь, не дожидаясь конца каникул, и что я смогу увидеть малыша, не откладывая из-за этого своего ухода, я решил, что... мне показалось, что Бог внял моей молитве. Я решил, что он одобряет мой поступок. Да, я поверил в это. Поначалу я не понял, что он по своему обыкновению просто смеется надо мной.

Он отнял свою руку и продолжал более энергично:

— Так вот, я пообещал себе, что исполню свой замысел в среду вечером, а в среду днем вы привели ко мне Бориса. Я вынужден признаться, что, увидев его, не испытал всей той радости, которую предвкушал. Потом я думал об этом. Конечно же, я был не вправе надеяться, что встреча со мной доставит мальчику огромную радость. Мать его никогда не говорила ему обо мне.

Он замолчал, губы его задрожали, и мне показалось, что он вот-вот заплачет.

— Борис обязательно полюбит вас, дайте ему только время узнать вас поближе,— вставил я.

— После того как малыш ушел,— продолжал Лаперуз, не слыша моих слов,— когда вечером я остался один (вы ведь знаете, что госпожа де Лаперуз здесь больше не

живет), то сказал себе: «Пора! Самое время». Должен вам сказать, что мой брат, тот, которого я потерял, завещал мне пару пистолетов и я постоянно храню их рядом с собой, в футляре, у изголовья моей кровати. Сходил я, значит, за этим футляром. Сел в кресло, в это самое, где я сижу сейчас. Зарядил один пистолет...

Он повернулся ко мне и неожиданно резко, словно я сомневался в его словах, повторил: «Да, я зарядил его. Можете посмотреть: он все еще заряжен. Что же произошло потом? Не могу понять до сих пор. Я поднес пистолет ко лбу. И долго-долго его держал, приставив к виску. Но не выстрелил. Не смог... В последний момент, просто стыдно сказать... У меня не хватило храбрости нажать на курок.

По мере того как старик говорил, он все больше оживлялся. Глаза утратили прежнюю неподвижность, щеки слегка порозовели. Он посмотрел на меня и покачал головой.

— Как это объяснить? Поступок, к которому я был готов, о котором думал на протяжении нескольких месяцев... Может быть, как раз поэтому. Может быть, я заранее, еще в мыслях, исчерпал весь запас своей храбрости.

— Так же как перед приездом Бориса, вы исчерпали весь запас радости от предвкушаемой встречи,— сказал я ему, но он продолжал:

— Я сидел долго-долго и держал пистолет у виска. Палец мой касался курка. Я слегка нажимал на него, правда, не очень сильно. Я говорил себе: «Вот сейчас нажму посильнее и раздастся выстрел». Я ощущал холод металла и говорил себе: «Через одно мгновение у меня уже не будет никаких ощущений. Но сначала я услышу ужасный шум...» Подумайте только! Так близко от уха!.. Именно это в первую очередь меня и удержало: боязнь шума... Причем так все нелепо; ведь когда умираешь... Да! Но смерть, я всегда надеялся, что это будет как сон, а взрыв, взрыв не усыпляет, он пробуждает... Да, конечно же, я боялся этого. Боялся, что вместо того, чтобы заснуть, внезапно проснусь.

Казалось, он пытается взять себя в руки, или, точнее, сосредоточиться, и поэтому в течение какого-то времени его губы опять шевелились беззвучно.

— Все это,— продолжал он,— я осознал лишь потом. Суть состоит в том, что я не убил себя, потому что не чувствовал себя свободным. Вот сейчас я говорю, что испугался; но это неправда: это был не страх. Меня удержива-

ло что-то совершенно не зависящее от моей воли, что-то превосходящее силу моей воли... Словно сам Бог не хотел меня отпускать. Представьте себе марионетку, которая вдруг захотела бы покинуть сцену до окончания спектакля... А ну-ка стой! Ты еще нам понадобишься в финале. А! Вы что же, полагаете, что можете уходить, когда вам заблагорассудится!.. Я понял, что то, что мы называем своей волей, в действительности есть всего лишь пучок нитей, с помощью которых марионетка передвигается и за которые дергает Бог. Вы не улавливаете? Я сейчас вам объясню. Смотрите, я говорю себе: «Сейчас я подниму свою правую руку», и я ее поднимаю. (Он действительно ее поднял.) Но ведь все дело в том, что для того, чтобы заставить меня подумать и сказать: «Сейчас я подниму свою правую руку», кто-то уже дернул за ниточку... И доказательством того, что я не свободен, служит то, что, если бы я должен был поднять другую руку, я бы вам сказал: «Подниму-ка я сейчас левую руку»... Нет, я вижу, что вы меня не поняли. Вы не располагаете свободой, необходимой для того, чтобы понять меня... О! Теперь-то я прекрасно понимаю, что Бог все время развлекается. Что-иибудь заставит нас сделать, а потом смеется: мы-то ведь полагаем, что сделали все по собственному желанию. В этом и состоит его мерзкая игра... Вы думаете, я схожу с ума? Кстати, представьте себе, что госпожа де Лаперуз... Вам известно, что она поселилась в доме для престарелых... Так вот, представьте себе, она убеждает себя, что находится в доме для умалишенных и что я ее туда отправил, чтобы отделаться от нее, с намерением выдать ее за сумасшедшую... Согласитесь, что это странно: любой встреченный на улице прохожий лучше поймет тебя, чем та, которой ты отдал всю свою жизнь... Поначалу я навещал ее каждый день. Но стоило мне появиться на пороге, как она тут же начинала: «А! Вы пришли. Вы опять пришли шпионить за мной...» Я вынужден был отказаться от этих посещений; они ее только раздражали. Как тут цепляться за жизнь, если ты лишен возможности хоть кому-то делать добро?

Его речь прервали рыдания. Старик опустил голову, и мне показалось, что сейчас он опять погрузится в уныние. Но он вдруг оживился:

— А знаете, что она сделала перед отъездом? Она взломала мой письменный стол и сожгла все письма моего покойного брата. Она всегда ревниво относилась к моему брату, особенно после того, как он умер. Когда

ночью она заставала меня за чтением его писем, то устраивала настоящие сцены. Она кричала: «А! Вы только и ждали, чтобы я легла спать. Вы прячетесь от меня». Или еще: «Шли бы вы лучше спать. Вы утомляете себе глаза». Можно было подумать, что это у нее от добрых чувств, но я-то ее знаю: то была ревность, и больше ничего. Она просто не хотела оставлять меня наедине с ним.

— Это потому, что она вас любила. Ревности без любви не бывает.

— Вот! Согласитесь, что это очень грустно, когда любовь, вместо того чтобы приносить в жизни счастье, несет страдание... Очевидно, Бог тоже любит нас такой любовью.

За разговором он опять оживился и вдруг сказал:

— Я проголодался. Когда мне хочется есть, служанка всегда приносит горячий шоколад. Должно быть, госпожа де Лаперуз объяснила ей, что ничего другого я не ем. Не будете ли вы так любезны, сходите, пожалуйста, на кухню... вторая дверь направо, по коридору... и посмотрите, нет ли там яиц. Мне кажется, она говорила, что есть.

— Вы хотели бы, чтобы она разбила яйцо и приготовила вам яичницу?

— Мне кажется, я съел бы и два. Будьте так добры. А то мой голос она не услышит.

— Дорогой друг,—сказал я, возвращаясь,—сейчас ваша яичница будет готова. Если вы мне позволите, я еще побуду с вами и посмотрю, как вы будете ее есть; да, это доставит мне удовольствие. Мне было очень горько слушать вас, когда вы говорили, будто вам уже не дано делать людям добро. Вы, кажется, совсем забыли про своего внука. Ваш друг, господин Азаис, предлагает вам поселиться в пансионе, рядом с ним. Он попросил меня сказать вам об этом. Он считает, что теперь, когда госпожа де Лаперуз здесь уже больше не живет, вас ничто не удерживает в этом доме.

Я ожидал, что он станет возражать, но он только мельком осведомился об условиях предлагаемого ему нового существования.

— Хотя я и не убил себя,—сказал он,—я все-таки уже мертвец. Здесь или там, не имеет никакого значения. Можете перевезти меня туда.

Мы договорились, что я приеду за ним послезавтра, а в промежутке завезу ему два чемодана, куда он мог бы положить необходимую ему одежду и вообще все, что хотел бы взять с собой.

— К тому же,— добавил я,— коль скоро эта квартира до истечения контракта остается в вашем распоряжении, вы сможете в любой момент вернуться сюда и взять все, что вам потребуется.

Служанка принесла яичницу, от которой мгновенно не осталось и следа. Я заказал для него ужин, радуясь, что природа берет свое.

— Я доставляю вам столько хлопот,— приговаривал он,— вы так добры.

Мне хотелось бы, чтобы он отдал мне на хранение свои пистолеты, которые, как я ему сказал, ему больше не понадобятся; однако он пожелал оставить их у себя.

— Отныне за меня беспокоиться не нужно. Я знаю: то, что мне не удалось сделать в тот день, я не сделаю уже никогда. Но теперь они являются единственной вещью, оставшейся у меня в память о брате, а еще они мне нужны, чтобы напоминать о том, что я всего лишь игрушка в руках Божьих».

IV

В тот день было очень жарко. Через открытые окна пансиона Веделей были видны верхушки деревьев в саду, над которыми еще плавали неизрасходованные огромные запасы лета.

Этот день, первый день школьных занятий, дал старому Азаису возможность произнести речь. Он стоял, как и положено, рядом с кафедрой, лицом к ученикам. За кафедрой восседал старый Лаперуз. При появлении учеников он встал, но Азаис дружеским жестом попросил его сесть. Его беспокойный взгляд сначала остановился на Борисе и несколько смутил мальчика, тем более что Азаис в своей речи, когда представлял нового учителя, счел нужным намекнуть на узы родства, связывающие его с одним из учеников. А Лаперуз тем временем огорчался, что ему никак не удается поймать взгляд Бориса, и делал свои выводы — равнодушие, холодность.

— О! Только бы,— думал Борис,— он оставил меня в покое! Только бы не стал меня «выделять»! — Товарищи по пансиону внушали ему ужас. Когда он вышел из лицея, ему пришлось присоединиться к ним, и, пока они дошли до «лавочки», Борис наслушался их речей; ему хотелось вызвать у них симпатию, и он старался говорить так же, как и они, но его слишком нежная натура противилась: слова застревали в горле; он сердился на свою застенчи-

вость, пытался скрыть ее, пытался смеяться, чтобы предупредить насмешки, но все было напрасно: рядом с остальными он выглядел девочкой, чувствовал это и очень расстраивался.

Почти сразу же образовались группы. Центром притяжения стал некий Леон Гериданисоль, сразу же завоевавший авторитет. Он был немного постарше, чем остальные, да и в учебе шел впереди; смуглый брюнет с черными глазами, он не выделялся ни высоким ростом, ни особой силой, но зато отличался, что называется, «беспардонностью». Это была беспардонность первой пробы. Даже малыш Жорж Молинье вынужден был признать, что тот буквально ошарашил его; «а ты же знаешь, меня ошарашить — это что-нибудь да значит!». Ведь он видел собственными глазами, как сегодня утром Гериданисоль подошел к одной молодой женщине, державшей на руках ребенка, вежливо ее поприветствовал и сказал:

— Мадам, это ваш ребенок? Вот урод-то. Но вы не беспокойтесь: долго он не протянет.

Жорж, даже вспоминая, не мог удержаться от смеха.

— Правда? Не врешь? — спрашивал Филипп Адаманти, его друг, которому Жорж рассказал эту историю.

Наглая выходка несказанно их развеселила и казалась им верхом остроумия. Леон позаимствовал эту весьма потрепанную шутку у своего двоюродного брата Струвилу, но ведь Жорж ничего этого не знал.

В пансионе Молинье и Адаманти устроились рядом с Гериданисолем на пятой парте, где легче было спрятаться от глаз надзирателя. Слева от Молинье сидел Адаманти, а справа — Гериданисоль по произвищу Гери; на самом краю скамейки оказалось место Бориса. А сзади него находился Пассаван.

После смерти отца жизнь доставляла Гонтрану де Пассавану больше печали, чем радости, впрочем, и раньше она не была слишком веселой. Он понял уже давно, что от брата ему ни симпатии, ни поддержки ожидать не приходится. Каникулы он провел в Бретани, в семье своей старой няни, верной Серафины. Он весь ушел в себя и все свои усилия направил на занятия. Его подстегивает тайное желание доказать брату, что он талантливее его. В пансион он пошел сам и совершенно добровольно, руководствуясь отчасти стремлением жить не у брата, не в том особняке на улице Бабилон, с которым у него связаны одни лишь грустные воспоминания. Серафина, не захотев бросать его на произвол судьбы, сняла себе в Пари-

же квартиру, что стало возможным благодаря небольшой ренте, поступающей ей от обоих детей покойного графа в соответствии с особым условием завещания. Одна комната в квартире отведена Гонтрану, и он живет там в выходные дни; он убрал ее по своему вкусу. Дважды в неделю он обедает с Серафиной; она ухаживает за ним и следит, чтобы он ни в чем не испытывал недостатка. С ней Гонтран становится разговорчивым, хотя и не может говорить почти ни о чем из того, что ему интересно. В пансионе же он не дает себя в обиду, рассеянно выслушивает шутки товарищей и нередко отказывается принимать участие в их играх. Дело в том, что играм в помещении он предпочитает чтение. Он любит спорт, все виды спорта, но в первую очередь одиночные; дело еще и в том, что он не лишен гордыни и водится далеко не со всеми. По воскресеньям, в зависимости от времени года, он катается на коньках, плавает, занимается греблей или отправляется в длительные прогулки за город. У него есть антипатии, которые он не старается преодолевать; точно так же не стремится он и расширять свой внутренний мир, а только пытается придать ему более четкие очертания. Похоже, что он не такой простой, каким себя считает и каким старается себя сделать,— в этом мы убедились, понаблюдав за ним у смертного ложа его отца; однако он не любит тайн и, переставая узнавать себя, перестает себе нравиться. Репутацию лучшего ученика класса он сохраняет отнюдь не благодаря исключительным способностям, а благодаря прилежанию. Борис, сумей он правильно сделать выбор, смог бы найти в его лице защитника, но его тянет к Жоржу. Что же касается Жоржа, то его внимание привлекает только Гери, который не обращает внимания вообще ни на кого.

Жоржу нужно было сообщить важные новости Филиппу, но из осторожности писать ему записку он не стал.

Придя к лицею в первый день занятий за пятнадцать минут до начала уроков, он прождал его совершенно напрасно. Как раз там, прохаживаясь у входа в лицей, он и услышал столь остроумное обращение Гериданисоля к молодой женщине, после чего между двумя сорванцами завязался разговор и они выяснили, к великой радости Жоржа, что будут жить в одном пансионе.

Встретиться Жоржу и Фифи удалось только по выходе из лицея. Они шли в пансион Азаисов вместе с другими учениками, но несколько в стороне от них, чтобы можно было говорить, не опасаясь, что кто-то подслушает.

— Ты бы лучше спрятал это,— начал Жорж, показывая пальцем на желтую розетку, по-прежнему выглядывавшую из петлицы Фифи.

— Почему?— спросил Филипп, заметивший, что у Жоржа розетки уже нет.

— Ты рискуешь попасться. Я тебе, малыш, хотел сказать это еще до начала занятий; тебе бы следовало прийти пораньше. Я ждал тебя перед входом, чтобы предупредить.

— А я ничего не знал,— сказал Фифи.

— А я ничего не знал. А я ничего не знал,— передразнил его Жорж.— Поскольку мы не смогли встретиться в Улгате, то ты должен был догадаться, что, возможно, мне надо тебе что-то сказать.

Стремление обогнать друг друга — постоянная забота этих двух ребят. У Фифи есть некоторые преимущества, связанные с положением и состоянием его отца, но зато Жорж сильно превосходит его своей дерзостью и цинизмом. Чтобы не отставать от товарища, Фифи приходится напрягаться. Парень он не злой, а просто слабохарактерный.

— Ну давай! Выкладывай свои новости,— сказал он.

Между тем к ним приблизился Леон Гериданисоль и слушал, о чем они говорят. Жоржу это внимание было приятно; хотя тот и ошеломил его своей выходкой, у Жоржа тоже в запасе было нечто такое, чем он в свою очередь мог ошеломить Гери, и поэтому он сказал Фифи совершенно спокойным тоном:

— Малышка Пралина загремела в тюрьму.

— Пралина!— воскликнул Фифи, которого хладнокровие Жоржа просто пугало. Поскольку на лице у Леона появилось заинтересованное выражение, Фифи спросил у Жоржа:— Можно ему сказать?

— Валяй!— сказал Жорж, пожимая плечами.

Тогда Фифи, обращаясь к Гери и показывая на Жоржа, сказал:

— Это его краля.— Затем, повернувшись к Жоржу:— Откуда ты знаешь?

— Я встретил Жермену, и она мне сказала.

Он рассказал Фифи, как, оказавшись двенадцать дней назад проездом в Париже, захотел вновь посетить одну квартиру, которую прокурор Молинье накануне назвал «театром этих оргий», но дверь оказалась запертой, а спустя некоторое время, бродя по кварталу, встретил Жермену, любовницу Фифи, объяснившую ему ситуацию:

в начале каникул полиция устроила облаву. При этом женщины и ребята, естественно, не знали, что Профитандье постарался назначить для проведения операции такой день, когда несовершеннолетние правонарушители уже разъехались кто куда, поскольку он не хотел, чтобы они попались в сети полиции, и стремился уберечь их родителей от скандала.

— Ну и дела, старина!..— повторял Фифи без комментариев, осознавая, что они с Жоржем дешево отделались.— Ну и дела, старина!..

— Что, прошиб холодный пот, да?— сказал Жорж с усмешкой. Признаваться в том, что он и сам страшно перепугался, он счел совершенно излишним, особенно в присутствии Гериданисоля.

Услышав такой диалог, можно было бы подумать, что эти дети испорчены еще больше, чем на самом деле. Однако я убежден, что за подобными разговорами скрывается прежде всего желание пустить пыль в глаза. Многое здесь объясняется склонностью к бахвальству. Впрочем, какая разница: Гериданисоль их слушает, слушает и выспрашивает. Эти речи весьма позабавят его двоюродного брата Струвилу, когда он будет их ему пересказывать сегодня вечером.

Этим же вечером Бернар зашел к Эдуару.

— Ну как, первый день занятий прошел хорошо?

— Неплохо.

Но поскольку Бернар тут же замолчал, Эдуар продолжил:

— Господин Бернар, коль скоро у вас нет настроения говорить о себе, не рассчитывайте, что я буду вытягивать из вас ответы. Допросы я терпеть не могу. И тем не менее позвольте вам напомнить, что вы предложили мне свои услуги и что я вправе ожидать от вас каких-нибудь рассказов...

— А что вы хотите знать?— спросил Бернар не очень любезно.— Что папаша Азаис произнес торжественную речь, в которой предложил детям «устремиться в едином порыве и с молодым задором»? Мне запомнились эти слова, потому что он повторил их трижды. Арман уверяет, что старик вставляет их во все свои выступления. Мы сидели с ним на последней скамейке, в глубине класса, и разглядывали набор этого года, как Ной разглядывал в своем ковчеге животных. Там были все виды: жвачные, толстокожие, моллюски и прочие беспозвоночные. Когда

после речи они начали говорить между собой, то мы с Арманом заметили, что из десяти произносимых ими фраз четыре начинаются с: «А вот спорим, что ты не...»

— А остальные шесть?

— С: «А вот я...»

— Боюсь, что это довольно точное наблюдение. Ну а еще?

— Мне показалось, что у некоторых из них трафаретные личности.

— Что вы имеете в виду? — спросил Эдуар.

— Я вспоминаю, в частности, одного из них, который сидел рядом с маленьким Пассаваном, показавшимся мне просто благоразумным мальчиком. А за его соседом я долго наблюдал, и мне показалось, что он в качестве жизненного правила взял себе изречение древних «Ne quid nimis» [1]. Как думаете, не нелепый ли девиз в его возрасте? Костюмчик в обтяжку, строгий галстук, все такое правильное, вплоть до завязанных бантиком шнурков на туфлях. Как ни мало я с ним поговорил, он уже успел сказать мне, что повсюду видит бессмысленную трату силы, и несколько раз повторил рефрен: «Никакого лишнего усилия».

— Разрази гром этих экономных. В искусстве это ведет к многословию.

— Почему?

— Потому что они боятся что-нибудь потерять. Ну а что еще? Вы мне ничего не сказали об Армане.

— А, это любопытный экземплярчик. По правде сказать, он мне не очень нравится. Не люблю я таких издерганных. Он, конечно, не глуп, но его ум направлен исключительно на разрушение; кстати, особенно зло терзает он самого себя; он стыдится всего, что есть в нем хорошего, будь то великодушие, благородство или нежность. Ему бы заняться спортом, проветриться немного. Проведя весь день взаперти, он ожесточается. Он вроде бы ищет моего общества, и я тоже не избегаю его, но не могу привыкнуть к его характеру.

— А вам не кажется, что за его сарказмом и иронией скрывается чрезмерная чувствительность или даже глубокое страдание? Оливье считает, что это именно так.

— Возможно; я об этом думал. Я его пока что плохо знаю. Окончательное мнение у меня еще не сложилось. Я должен поразмышлять; потом мы об этом поговорим,

[1] Ничего сверх меры (*лат.*)

потом, не сейчас. Извините, мне пора. У меня через два дня экзамен, и к тому же, признаюсь вам... мне что-то грустно.

V

От каждого предмета, если я не ошибаюсь, следует брать лишь его цветок.

Фенелон

Оливье, вернувшийся накануне в Париж, проснулся хорошо отдохнувшим. Воздух был теплый, небо чистое. Он побрился, принял душ, надел своей элегантный костюм и вышел, преисполненный сознания собственной силы, красоты и молодости. Пассаван еще спал.

Оливье торопится в Сорбонну. Этим утром Бернар должен сдавать письменный экзамен. Откуда Оливье об этом узнал? А может быть, он и не знает. Он идет навести справки. И торопится. Он не видел своего друга с тех пор, как Бернар приходил искать приюта в его комнате. Сколько с тех пор произошло перемен! Но только кто может сказать, что им движет в большей степени: желание увидеть друга или же стремление показать себя? Жаль вот только, что Бернар придает так мало значения элегантности! Впрочем, иногда любовь к элегантности приходит вместе с достатком. Оливье благодаря графу де Пассавану испытал это на себе.

Так, значит, сегодня Бернар сдает письменный. Он выйдет только в двенадцать часов. Оливье ждет его во дворе. Он замечает там кое-кого из приятелей, пожимает им руки, потом отходит в сторону. Он немного стеняется своего наряда. Смущение его усиливается, когда наконец-то освободившийся Бернар выходит во двор и кричит, протягивая ему руку:

— Как он прекрасен!

Оливье, полагавший, что он уже навсегда перестал краснеть, краснеет. Как не почувствовать в этих словах, несмотря на их очень сердечный тон, легкий налет иронии? На Бернаре все тот же костюм, который был на нем в день его бегства. Он не ожидал встретить сейчас Оливье. Забрасывая его вопросами, он увлекает его к выходу. Бернар мгновенно ощутил радость встречи. Если он и улыбнулся слегка при виде изысканного наряда друга, то в этой улыбке не было никакого лукавства; у него ведь доброе сердце, и желчность ему чужда.

— Ты пообедаешь со мной, нет возражений? Да, через полтора часа я должен мчаться сюда сдавать латынь. А сейчас я сдавал французскую литературу.

— Доволен?

— Я, да. Правда, не знаю, понравится ли то, что я насочинял, моим экзаменаторам. Нужно было выразить свое мнение по поводу четырех строчек из Лафонтена:

Парнасский мотылек, подобный пчелам лета,
С которыми Платон сравнил удел поэта,
Я легок и крылат и рею здесь и там,
С предмета на предмет и от цветов к цветам [1].

Скажи-ка, что бы ты стал с этим делать?

Оливье не устоял перед желанием блеснуть:

— Я сказал бы, что, изображая самого себя, Лафонтен нарисовал портрет художника, такого художника, который согласен брать от мира только его внешнюю сторону, только поверхность, только цветок. Потом я сопоставил бы его с каким-нибудь портретом учёного, исследователя, человека, стремящегося проникнуть вглубь, и продемонстрировал бы, что, пока ученый ищет, художник находит, что тот, кто копает вглубь, проваливается и, проваливаясь, перестает видеть, что истина — это внешность, что таинство — это форма и что самое глубокое в человеке — это его кожа.

Эту последнюю фразу Оливье позаимствовал у Пассавана, который в свою очередь подхватил ее из уст Поль-Амбруаза, когда тот витийствовал в одном из салонов. Пассаван не считал зазорным брать все, что не было напечатано; он называл эти чужие мысли «идеями, носящимися в воздухе».

Что-то в голосе Оливье подсказало Бернару, что фразу эту придумал не он сам. В тональности ее выразилось какое-то замешательство. Бернар уже был готов спросить: «Это чье?» — но помимо того, что он не хотел задеть друга, он еще и опасался услышать имя Пассавана, которое Оливье пока что не упоминал. Бернар ограничился тем, что посмотрел на друга с испытующим любопытством, отчего тот покраснел еще раз.

Удивление Бернара, вызванное тем, что он услышал от чувствительного Оливье слова, диаметрально противоположные тем, которые он привык от него слышать, почти тут же уступило место яростному возмущению, че-

[1] *Пер. М. Лозинского.*

му-то внезапному и неожиданному, стремительному, как циклон. Причем возмущение относилось скорее даже не к идеям, хотя они и показалнсь ему совершенно нелепыми. Возможно, кстати, они и не были такими уж нелепыми. В своей тетради противоположных мнений он мог бы поместить их рядом со своими мыслями. Будь они подлинными мыслями Оливье, его не возмутили бы ни они сами, ни тот, кто их высказал; однако он почувствовал, что за ними кто-то скрывается; он возмущался Пассаваном.

— С помощью таких вот идей,— вскричал он глухим, но взволнованным голосом,— и отравляют Францию!

Он забрался очень высоко, желая превзойти Пассавана. Причем то, что он сказал, удивило даже его самого, словно фраза опередила мысль; а ведь именно эту мысль он и развивал только что в своем сочинении; какая-то стыдливость мешала ему излагать в разговоре, особенно в разговорах с Оливье, то, что он называл «высокими чувствами». Будучи высказанными, они тут же начинали казаться ему менее искренними. Так что Оливье никогда не приходилось слышать, чтобы его друг говорил об интересах Франции; теперь настала его очередь удивляться. Он широко раскрыл глаза, уже даже и не пытаясь улыбаться. Он не узнавал своего Бернара. Он тупо повторил:

— Францию?..— Потом, пытаясь снять с себя ответственность, так как Бернар явно не шутил, сказал:— Но ведь, старина, это не я так думаю, это Лафонтен.

У Бернара появилась даже какая-то агрессивность.

— Черт побери,— вскричал он,— я отлично, черт побери, знаю, что это не ты так думаешь! Но, старина, и Лафонтен тоже так не думает. Если бы у него за душой было одно только это легкомыслие, в котором он к концу жизни раскаялся и за которое попросил извнннения, он никогда бы не стал тем художником, которым мы восхнщаемся. Вот о чем я писал в сочинении сегодня утром и солидно подкрепил это цнтатами, ты же знаешь, память у меня более или менее приличная. Ну а потом, расставшись с Лафонтеном и сосредоточив внимание на элементе попустительства, который некоторые поверхностные умы пытаются отыскать в его стихах, я выдал тираду против духа беспечности, ерннчества н иронии, то есть против того, что привыкли называть «французским духом» и от чего у нас нередко бывает такая негодная репутация в других странах. *Я написал, что в этом нужно видеть даже не* улыбку, а гримасу Франции, что истинным духом Фран-

ции всегда был дух анализа, логики, любви и терпеливой пытливости и что если бы Лафонтен вдохновлялся не этим вот духом, то он, может быть, и написал бы свои сказки, но никогда не написал бы ни своих басен, ни того великолепного послания (я показал, что мне оно знакомо), откуда извлечены те несколько стихотворных строчек, которые нам предложили прокомментировать. Как видишь, старина, я предпринял настоящую кавалерийскую атаку и, может быть, из-за этого провалюсь. Но мне плевать, мне нужно было высказаться.

Оливье не слишком держался за только что изложенную им точку зрения. Он просто поддался искушению блеснуть и как бы невзначай процитировать фразу, которая, как ему казалось, была способна произвести сильное впечатлеиие на его друга. А теперь, когда тот воспринял все так серьезно, ему ничего не оставалось, как пойти на попятный. Его слабой стороной было то, что он гораздо сильнее нуждался в дружбе Бернара, чем тот нуждался в его дружбе. Слова Бернара унизили его и обидели. Он сердился на самого себя за то, что поторопился высказаться. Теперь было уже слишком поздно поправляться либо соглашаться, как он, несомненно, сделал бы, если бы сначала позволил высказаться Бернару. Но как он мог предвидеть, что Бернар, всегда такой фрондер, вдруг станет защищать чувства и идеи, на которые Пассаван учил его смотреть не иначе как с улыбкой? Сейчас ему совсем не хотелось улыбаться; ему было стыдно. И, не имея возможности ни отречься от своих слов, ни спорить с Бернаром, искренняя эмоциональность которого ему импонировала, он пытался лишь защититься, лишь найти выход из положения.

— Но ведь если ты настрочил все это в своем сочинении, то имел в виду не меня... Я бы предпочел, чтобы это было так.

Он говорил тоном человека раздраженного, совсем не так, как ему хотелось бы.

— Но зато теперь я говорю это тебе,— сказал Бернар.

Эта фраза поразила Оливье в самое сердце. Произнося ее, Бернар, скорее всего, не вкладывал в нее никакого враждебного смысла; но разве можно ее понять иначе? Оливье замолчал. Пропасть между ним и Бернаром быстро углублялась. Он пытался придумать какие-нибудь вопросы, которые можно было бы перекинуть с одного края пропасти на другой, и восстановить таким образом контакт. Все тщетно. «Неужели он не понимает, как я муча-

юсь?» — думал он, а муки его усиливались. Плакать он, может быть, и не собирался, но мысль «хоть плачь» не выходила у него из головы. Была здесь и его ошибка: встреча не казалась бы ему столь печальной, если бы он был скромнее в своих радостных ожиданиях. Так же все случилось и двумя месяцами раньше, когда он спешил на встречу с Эдуаром. И так будет всегда, повторял он про себя. Ему захотелось бросить Бернара, убежать куда глаза глядят, забыть Пассавана, Эдуара... И тут неожиданная встреча внезапно прервала ход его грустных мыслей.

В нескольких шагах от них на бульваре Сен-Мишель, по которому они шли, Оливье вдруг заметил своего младшего брата Жоржа. Он схватил Бернара за руку и, круто развернувшись, стремительно потащил его за собой.

— Как ты думаешь, он нас видел?.. Мои ведь еще не знают, что я уже вернулся.

Малыш Жорж был не один, а в компании Леона Гериданисоля и Филиппа Адаманти. Трое ребят вели весьма оживленную беседу, но Жорж, хотя и принимал в ней активное участие, успевал еще и, как он говорил, «смотреть в оба». Чтобы послушать, о чем они говорят, расстанемся на минутку с Оливье и Бернаром; к тому же наши два друга зашли в ресторан и, похоже, в течение некоторого времени будут, к великому облегчению Оливье, заниматься преимущественно едой, а не разговорами.

— Ну тогда сам туда и заходи,— говорит Фифи Жоржу.

— Эх ты! Испугался! Испугался! — отвечает тот, вкладывая в свои слова как можно больше иронического презрения, чтобы подзадорить Филиппа. Тут Гериданисоль покровительственно замечает:

— Голубчики мои, если не хотите, сразу так и скажите. Я без труда найду других парней, посмелее, чем вы. Тогда давай мне ее обратно.

Он поворачивается к Жоржу, у которого в кулаке зажата небольшая монета.

— Ладно, я пошел! — вдруг решительно восклицает Жорж.— Пошли со мной. (Они находятся перед табачной лавкой.)

— Нет,— говорит Леон,— мы будем ждать тебя на углу. Пошли, Фифи.

Минуту спустя Жорж выходит из лавки; в руке он держит пачку дорогих сигарет и угощает ими своих друзей.

— Ну как?— нервно спрашивает Фифи.

— Что «ну как»? — отвечает Жорж с напускным безразличием, словно то, что он только что совершил, вдруг стало для него совершенно естественным, не заслуживающим лишних слов делом. Однако Филипп настаивает:

— Ты ее отдал?

— Конечно!

— И тебе ничего не сказали?

Жорж пожимает плечами:

— А что мне должны были сказать?

— И дали сдачу?

На этот раз Жорж даже не удостаивает его ответом. Но поскольку тот, еще не вполне освободившись от подозрительности и страха, продолжает настаивать: «Покажи-ка», Жорж достает из кармана деньги. Филипп считает: семь франков. У него появляется желание спросить: «А ты уверен, что это настоящие?» — но он удерживается.

За фальшивую монету Жорж заплатил один франк. Сдачу был договор поделить. Поэтому он протягивает Гериданисолю три франка. А Фифи не получит ни единого су, разве что одну сигарету; это послужит ему уроком.

Фифи, осмелевший от этой первой удачи, теперь хотел бы попробовать. И он просит Леона продать ему еще одну монету. Но Фифи кажется Леону трусишкой, и, чтобы основательно проучить его, он старается показать, что презирает его за только что проявленное малодушие, и притворяется, будто сердится на него. «Нужно было не тянуть, а решаться сразу; лучше будем играть без него». Кроме того, Леону кажется неблагоразумным проводить новый опыт по соседству с местом, где проводился первый. Да и к тому же уже поздно. Его двоюродный брат Струвилу ждет его к обеду. Гериданисоль был не настолько беспомощен, чтобы не суметь самому сбыть свои монеты, но, следуя инструкциям взрослого кузена, он старается найти себе сообщников. Он отчитается перед ним в отменно выполненном поручении.

— Ты понимаешь, детишки из добропорядочных семей — это как раз то, что нам нужно, потому что если потом возникнут какие-нибудь неприятности, то родители постараются дело замять — так наставляет Гериданисоля во время обеда его кузен Струвилу, временно исполняющий обязанности его опекуна.— Только вот с такой системой сбыта монет по одной штуке они продаются слишком медленно. Мне нужно разместить пятьдесят две коробочки по двадцать монет в каждой. Их нужно прода-

вать по двадцать франков, но, как сам понимаешь, не кому попало. Лучше всего было бы создать ассоциацию, куда при вступлении каждый обязательно вносил бы залог. Нужно, чтобы малыши скомпрометировали себя и выдали бы нечто такое, что позволило бы держать в руках их родителей. Прежде чем вручать им монеты, постарайся дать им это понять; но только не пугай их. Детей никогда не нужно пугать. Ты мне, кажется, сказал, что отец Молинье судья? Это хорошо. А отец Адаманти?

— Сенатор.

— Еще лучше. Ты человек уже достаточно взрослый и понимаешь, что семей без каких-то своих тайн не существует и что заинтересованные лица дрожат от страха, как бы кто-нибудь их не разузнал. Нужно отправить малышей на охоту: это их займет. Жить в семье обычно так скучно! К тому же это развивает наблюдательность, дух поиска. Причем условия очень простые: кто ничего не принесет, тот ничего и не получит. А когда родители поймут, что попались, то некоторые из них заплатят за молчание дорого. Черт побери, шантажировать мы их не собираемся; мы ведь люди честные. Мы просто хотим держать их в руках. Пусть они помалкивают и других заставляют помалкивать; тогда и мы тоже будем помалкивать. Выпьем-ка за их здоровье.

Струвилу налил два бокала. Они чокнулись.

— Очень важно,— продолжал он,— даже просто необходимо создать между гражданами отношения взаимности; только так можно создать крепкое общество. Все держатся друг за друга! Мы держим малышей, которые держат своих родителей, которые держат нас. Все прекрасно. Кумекаешь?

Леон кумекал превосходно. Он усмехнулся.

— Малыш Жорж...— начал он.

— Ну, что малыш Жорж?..

— Молинье; думаю, он уже созрел. Он стащил у отца письма к одной девице из «Олимпии».

— Ты видел их?

— Он мне их показывал. Он разговаривал с Адаманти, а я слушал. Похоже, им нравилось то, что я их слышу; во всяком случае, они не пытались что-либо от меня скрывать; я для этого кое-что предпринял: преподнес им номер из твоего репертуара, чтобы добиться их доверия. Жорж сообщает Филиппу (чтобы ошарашить его): «А у моего отца есть любовница». На что Фифи, чтобы не остаться в долгу, говорит: «А у моего отца целых две любовницы».

В общем, обычные глупости, можно было бы даже и не проявлять интереса, но я все-таки подхожу и спрашиваю Жоржа: «А откуда ты знаешь?» «Я видел письма»,— говорит он. Ну я притворился,что не верю, и говорю ему: «Ну и врешь же ты...» Словом, припер я его к стенке, и он в конце концов признался, что эти письма даже при нем; вытащил из толстого бумажника и показал мне.

— Ты их читал?

— Не успел. Обратил внимание только, что все они написаны одним почерком; на одном из них, заметил, написано: «Моему любимому толстому котенку».

— А подпись?

— «Твоя белая мышка». Я спросил Жоржа: «Как ты их заполучил?» А он смеется, достает из кармана своих штанов огромную связку ключей и говорит: «Здесь хватит на все ящики».

— А что сказал господин Фифи?

— Ничего. Думаю, что он завидовал.

— Тебе Жорж мог бы дать эти письма?

— Если нужно, то, мне кажется, я смогу его убедить. Только мне бы не хотелось отбирать их у него. Он отдаст их, если это сделает Фифи. Они вдвоем подталкивают один другого.

— Это называется соревнованием. А с другими детьми, которые живут в пансионе, ты не встречаешься?

— Я поищу.

— Я хотел тебе еще сказать... Среди них должен быть мальчик по имени Борис. Этого оставь в покое.— Он выдержал паузу и добавнл потише: — До поры до времени.

Оливье и Бернар сидят сейчас в одном из ресторанов на бульваре. От теплой улыбки друга печаль Оливье тает, как иней в солнечных лучах. Бернар старается не произносить имя Пассавана, и Оливье чувствует это; какой-то тайный инстинкт предостерегает его, но имя это у него на языке: что бы ни произошло, он должен высказаться.

— Да, мы вернулись раньше того срока, о котором я сообщал домой. Сегодня вечером «Аргонавты» устраивают банкет. Пассавану обязательно нужно на нем присутствовать. Он хочет, чтобы наш новый журнал жил в добром согласии со своим старшим братом и чтобы между ними не возникало соперничества... Тебе бы нужно тоже прийти, и, знаешь... приведи-ка туда и Эдуара... Может быть, не на сам банкет, поскольку для этого нужно иметь приглашение, а на то, что будет сразу после него.

Он состоится в «Таверне Пантеона», в одном из залов на втором этаже. Там будут все ведущие редакторы «Аргонавтов» и некоторые из будущих сотрудников «Авангарда». Первый номер у нас уже почти готов, но, скажи мне... почему ты ничего мне не прислал?

— Потому что у меня не было ничего готового,— несколько суховато отвечает Бернар.

Голос Оливье становится почти умоляющим:

— Я написал твою фамилию рядом со своей, в оглавлении... Если нужно, то можно было бы и подождать... Неважно что, но хоть что-нибудь... Ты ведь нам почти пообещал...

Бернару неприятно огорчать Оливье, но он не позволяет себе расслабиться.

— Послушай, старина, лучше будет, если я скажу тебе сразу: у меня есть опасения, что мне не удастся найти общий язык с Пассаваном.

— Но ведь занимаюсь всем я! Он предоставляет мне полную свободу.

— И потом, мне очень не хочется посылать тебе неважно что. Я не хочу писать неважно что.

— Я сказал «неважно что», потому что точно знаю, что неважно что, написанное тобою, за себя всегда постоит... что это как раз никогда не будет «неважно чем».

Он не знает, что сказать. Несет чепуху. Не чувствуя дружеской поддержки, утрачивает интерес и к самому журналу. А ведь какая была прекрасная мечта: вместе сделать первые шаги.

— А кроме того, старина, если я уже начинаю очень хорошо понимать, чего мне не хочется делать, то пока еще совершенно не знаю, что же мне следует делать. Не знаю даже, буду ли я писать вообще.

Это заявление повергает Оливье в уныние. А Бернар продолжает:

— Писать что-то такое, что дается мне легко, меня не прельщает. Именно потому, что мне не составляет никакого труда писать гладко, я испытываю отвращение к гладким фразам. Не то чтобы я любил трудности ради них самих, но мне все-таки кажется, что современные писатели себя не очень утруждают. Для того чтобы писать роман, я еще недостаточно хорошо знаю жизнь других людей; а собственного жизненного опыта у меня пока что нет. Стихи наводят на меня скуку: александрийский стих изношен до дыр, а свободный стих отталкивает меня

своей бесформенностью. Единственный поэт, которого я сейчас безоговорочно принимаю,— это Рембо.

— Именно об этом я и говорю в своем манифесте.

— Тогда мне тем более нет нужды все это повторять. Нет, старина; уверенности, в том, что я буду писать, у меня нет. Иногда мне начинает казаться, что литературная деятельность мешает жить и что можно лучше выразить себя с помощью поступков, чем с помощью слов.

— Произведения искусства — это поступки, длящиеся вечно,— осмелился робко заметить Оливье, но Бернар его не слушал.

— И в Рембо я больше всего восхищаюсь как раз тем, что он выбрал жизнь.

— Он загубил свою жизнь.

— Откуда ты можешь знать?

— Ну уж это, старина...

— Нельзя судить о чьей-либо жизни только снаружи. Но даже если допустить, что она ему не удалась; тут и невезение, и нищета, и болезнь... Какая бы жизнь у него ни была, как бы скверно она ни закончилась, я завидую ему, завидую больше, чем, скажем...

Бернар не закончил фразу; собравшись назвать какого-нибудь знаменитого современника, он заколебался из-за слишком широкого выбора имен. Пожав плечами, он продолжал:

— Я смутно ощущаю в себе какие-то необыкновенные порывы, мощные волны, непонятные движения и волнения, которые я даже и не пытаюсь понять, за которыми даже не хочу наблюдать, опасаясь, что помешаю им. Еще совсем недавно я только и делал, что копался в себе. У меня была привычка вести бесконечные разговоры с самим собой. А вот теперь я не смог бы, даже если бы и захотел. Я и не заметил, как исчезла у меня эта мания. Я даже думаю, что этот монолог, этот «внутренний диалог», как говорил наш учитель, свидетельствовал о каком-то раздвоении личности, прекратившемся, как только я полюбил другого человека, полюбил сильнее, чем себя.

— Ты имеешь в виду Лору? — спросил Оливье.— Ты, значит, по-прежнему любишь ее?

— Нет,— сказал Бернар,— теперь еще сильнее. Мне кажется, сущность любви в том и состоит, что она не может оставаться одной и той же, а должна постоянно расти, потому что в противном случае она начинает убывать; этим-то она и отличается от дружбы.

— Хотя дружба тоже может убывать,— грустно сказал Оливье.

— Ну, в дружбе, я думаю, таких широких колебаний не бывает.

— Скажи-ка... ты не рассердишься, если я спрошу тебя про одну вещь?

— Сам увидишь.

— Просто мне не хотелось бы, чтобы ты сердился.

— Но, сохранив вопрос при себе, ты рискуешь рассердить меня еще больше.

— Мне хотелось бы знать, испытываешь ли ты к Лоре... желание?

Бернар сразу посерьезнел.

— Ладно, раз уж это ты...— начал он.— Понимаешь, старина, самое странное здесь то, что с тех пор, как я познакомился с ней, во мне больше не осталось вообще никаких желаний. В былые времена, ты помнишь, я воспламенялся желанием одновременно к двадцати женщинам, встреченным на улице (что, кстати, удерживало меня от того, чтобы остановить свой выбор на какой-нибудь одной), а теперь мне кажется, что я уже никогда не смогу реагировать ни на какую иную форму красоты, что никогда не буду любить какой-нибудь другой лоб, другие губы, другой взгляд. Но я испытываю к ней благоговение, и рядом с ней любой плотский помысел мне кажется святотатственным. Я теперь даже думаю, что ошибался относительно собственной натуры и что по природе я скорее целомудрен. Благодаря Лоре мои инстинкты сублимировались. Я чувствую в себе огромные запасы сил. И хотел бы найти им применение. Я завидую картезианцу, смиряющему свою гордыню перед монастырским уставом, завидую тому человеку, которому можно сказать: «Я рассчитываю на тебя». Завидую солдату... Хотя, нет, я никому не завидую, но на меня давит мое внутреннее исступление, и я хочу его упорядочить. Во мне словно какой-то пар; он может вырываться со свистом (это вот как раз и есть поэзия), приводить в действие поршни, колеса, а может вообще разорвать всю машину. Знаешь, в каком поступке, как мне кажется, я сумел бы лучше всего себя выразить? Это... О! Я ведь знаю, что никогда себя не убью, но только я очень хорошо понимаю Дмитрия Карамазова в тот момент, когда он спрашивает у своего брата, понимает ли тот, что можно убить себя просто от восторга, от обыкновенного избытка жизни... разлететься на части.

Он весь светился каким-то необыкновенным светом. Как хорошо он говорил! Оливье смотрел на него зачарованным взглядом.

— Я тоже,— робко прошептал он,— я тоже понимаю, что можно убить себя, но убить, ощутив такую сильную радость, что образ всей грядущей жизни станет блеклым-блеклым, такую радость, что впору подумать: хватит, я доволен, и уже никогда больше я не...

Однако Бернар не слушал его. Оливье замолчал. Зачем говорить в пустоту? И небо над ними опять нахмурилось. Бернар вынул часы.

— Мне уже пора. Так ты, значит, говоришь — сегодня вечером... В котором часу?

— О! Я думаю, что часов в десять будет еще не поздно. Придешь?

— Да, я постараюсь привести Эдуара. Только знаешь, он не очень-то любит Пассавана, а литературные сборища наводят на него тоску. Мы придем, только чтобы повидаться с тобой. Скажи-ка: после моей латыни мы с тобой не могли бы встретиться?

Оливье ответил не сразу. Он с тоской думал о том, что пообещал Пассавану зайти за ним в четыре часа в типографию, где будет печататься «Авангард». Чего бы только он не дал, чтобы быть свободным!

— Я бы рад, но никак не смогу.

Внешне он ничем не выдал своего огорчения, и Бернар сказал:

— Что ж, жаль.

На этом друзья расстались.

Оливье не сказал Бернару ничего из того, что собирался ему сказать. У него были опасения, что он ему сегодня не понравился. Не нравился он и самому себе. Его утренний задор куда-то исчез, и он шел по улице, низко опустив голову. Дружба Пассавана, которой он поначалу так гордился, теперь его тяготила; он чувствовал, что Бернар ее не одобряет. А сегодня вечером, на банкете, если он даже и встретится с другом, то под перекрестными взглядами многочисленной компании поговорить им все равно не удастся. Этот банкет мог бы представлять какой-то интерес, если бы они уже вдоволь друг с другом пообщались. А тут еще эта нелепая, продиктованная тщеславием идея позвать туда и дядю Эдуара! Ведь придется красоваться рядом с Пассаваном, рядом с коллегами и старшими собратьями, рядом с будущими сотрудника-

ми «Авангарда»; у Эдуара сложится о нем еще более превратное представление, причем на этот раз, очевидно, уже окончательное... Если бы по крайней мере удалось увидеть его до банкета! Увидеть бы его сию минуту; он бы бросился ему на шею; может быть, заплакал бы, все бы ему рассказал... До четырех часов время еще есть. Быстро, такси!

Он говорит шоферу адрес. Приезжает, с бьющимся сердцем подходит к двери, звонит... Эдуара нет дома.

Бедный Оливье! Почему бы ему вместо того, чтобы прятаться от родителей, не вернуться домой? Там, рядом со своей матерью, он бы и встретил дядю Эдуара.

VI

Дневник Эдуара

«Писатели вводят нас в заблуждение, когда показывают эволюцию индивида, не принимая во внимание давления, оказываемого на него окружающей средой. Форму деревьям придает лес. На одно дерево выделяется так мало места! Сколько атрофированных почек! Каждое из них протягивает свои ветви, куда может. Чаще всего мистическая ветвь обязана своим развитием тесноте. Ей остается единственный путь — ввысь. Мне совершенно непонятно ни то, как Полине удается не выбрасывать вверх какую-нибудь мистическую ветвь, ни то, какого еще дополнительного давления она ждет. В этот раз разговор у нас был более доверительный, чем когда-либо прежде. Я даже и не подозревал, сколько же в ней под маской внешнего благополучия затаилось разочарований и безропотности. Должен, однако, признать, что не разочароваться в Молинье она могла бы лишь в том случае, если бы имела совсем вульгарную душу. В моем позавчерашнем разговоре с ней я получил о нем достаточно полное представление. Как могла Полина выйти за него замуж?.. Увы! Самые безнадежные изъяны, изъяны характера, заметить обычно бывает трудно, и обнаруживаются они лишь с течением времени.

Полина предпринимает все усилия для того, чтобы замаскировать недостатки и слабости Оскара, чтобы скрыть их от чьих бы то ни было взглядов, особенно от взглядов детей. Она умудряется даже добиваться от детей уважения к отцу; задача, право, не из легких, но она справ-

ляется с ней столь успешно, что я чуть было не попался на удочку. Она говорит о муже без презрения, но ее снисходительность тоже весьма красноречива. Она огорчается из-за того, что он потерял авторитет у детей; а когда я выразил свои сожаления по поводу дружбы Оливье с Пассаваном, то понял, что если бы решение зависело только от нее, то путешествие на Корсику никогда бы не состоялось.

— Я не одобрила эту поездку,— сказала она,— и, честно говоря, этот господин Пассаван особой симпатии у меня не вызывает. Но что мне было делать? Когда я вижу, что помешать чему-то я все равно не в состоянии, то предпочитаю добровольно соглашаться. Оскар, он всегда уступает — и мне тоже уступает. Но когда какой-нибудь проект детей мне не нравится и я вижу, что нужно выступить против, воспрепятствовать, побороться, то он не оказывает мне никакой поддержки. А тут еще вмешался Венсан. Какое в этой ситуации я могла оказывать сопротивление Оливье, не рискуя потерять его доверие? А его доверием я дорожу больше всего.

Она штопала старые носки, те, которые, как сказала она мне, Оливье уже не нравятся. Она замолчала, вдела нитку в иголку и сказала чуть тише, более доверительным и более грустным голосом:

— Его доверие... Если бы я была уверена, что оно все еще существует! Нет, я его уже потеряла...

Мои не очень уверенные протесты вызвали у нее улыбку. Она оставила свое занятие и продолжала:

— Вот, например: я знаю, что он уже вернулся в Париж. Жорж встретил его сегодня утром; он нечаянно проговорился, а я притворилась, что ничего не слышала, так как мне не хотелось, чтобы он ябедничал. Но так или иначе, мне стало известно, что Оливье от меня скрывается. Теперь, когда мы встретимся, ему придется лгать мне, а я буду делать вид, что верю ему, так же как делаю вид, что верю его отцу каждый раз, когда он что-то от меня скрывает.

— Боится вас огорчать.

— А так он огорчает меня еще больше. Я ведь совсем не суровая. Я терпимо отношусь ко многим мелким проступкам, просто закрываю на них глаза.

— О ком вы сейчас говорите?

— О! И об отце, и о сыновьях.

— Но ведь, притворяясь, что вы не замечаете их проступков, вы им тоже лжете.

— Ну а что же мне делать? Мне стоит больших трудов

не жаловаться; но не одобрять же их! Нет, понимаете, я говорю себе, что рано или поздно уговоры перестают действовать и тут уже не поможет и самая нежная любовь. Да что там. Она мешает, докучает. Мне даже скрывать приходится эту любовь.

— Вот теперь вы говорите о сыновьях.

— Почему вы так считаете? Думаете, я уже не в состоянии любить Оскара? Иногда я и сама так думаю, но говорю себе, что не хочу любить его больше, чтобы меньше страдать. А... да, наверное, вы все-таки правы: когда речь идет об Оливье, я предпочитаю страдать.

— А Венсан?

— Несколько лет назад я сказала бы о нем все, что говорю сейчас об Оливье.

— Бедный мой друг... Скоро то же самое вы будете говорить о Жорже.

— Постепенно все же примиряешься. Ведь не так уж много и требовала я от жизни. А с годами требуешь еще меньше... все меньше и меньше.— Потом она тихо добавила:— А от себя все больше и больше.

— С такими мыслями вы скоро прямо законченной христианкой станете,— сказал я, тоже улыбаясь.

— Вот и я себе это иногда говорю. Но только чтобы стать христианином, таких мыслей еще недостаточно.

— Но в то же время, чтобы иметь такие мысли, мало быть христианином.

— Сейчас я вам признаюсь: я часто думала, что, если отец не в состоянии, так, может быть, вы могли бы поговорить с детьми.

— Венсан далеко.

— Ну, тут уж время упущено. Я думаю об Оливье. Мне бы хотелось, чтобы он лучше с вами отправился в путешествие.

При этих словах, позволивших мне живо представить, как развивались бы события, если бы я не принял бездумно навязанное мне прнключение, меня охватило сильное волнение, и сначала я не находил никаких слов, а потом, поскольку у меня на глаза навернулись слезы, попытался найти своим переживаниям хотя бы какую-то видимость объяснения.

— Боюсь, как бы и тут тоже время не было уже упущено,— вздохнул я.

Полина схватила меня за руку.

— Как вы добры! — воскликнула она.

Мне было неловко видеть ее заблуждение, и, не имея

возможности что-либо ей объяснять, я попытался хотя бы отвести разговор от слишком больной для меня темы.

— А Жорж?— спросил я.

— Он доставляет мне больше забот, чем старшие,— сказала она.— О нем я даже не могу сказать, что утрачиваю на него влияние, поскольку он вообще никогда не был ни доверчивым, ни послушным.

Она остановилась в нерешительности. Ей, конечно, было нелегко рассказать то, что я затем услышал.

— Этим летом произошел один очень неприятный случай,— продолжила она наконец,— случай, о котором мне тяжело вам говорить и относительно которого у меня, должна признаться, еще остались кое-какие сомнения... Из шкафа, где я имела обыкновение держать деньги, исчезла стофранковая бумажка. Страх обвинить кого-то понапрасну заставил меня воздержаться от конкретных обвинений; обслуживавшая нас в гостинице горничная, совсем молоденькая девушка, произвела на меня впечатление порядочной. Я сказала при Жорже, что потеряла эти деньги, поскольку, как вы понимаете, мои подозрения пали на него. Он не смутился, не покраснел... Тогда я устыдилась своих подозрений, постаралась убедить себя, что ошиблась, снова все пересчитала. Увы! Сомнений не оставалось: ста франков не хватало. Я поколебалась было, расспросить его или нет, и в конце концов не стала. Меня удержало опасение, что к воровству добавится еще и ложь. Я была не права?.. Да, сейчас я себя упрекаю за то, что не была более настойчивой; быть может, я испугалась того, что нужно будет проявить слишком большую строгость, или же того, что я не смогу оказаться достаточно строгой. Так что я и на этот раз притворнлась, что ннчего не знаю, хотя и сделала это с очень тяжелым сердцем, уверяю вас. Я упустила время, а потом говорила себе, что уже слишком поздно, что провинность и наказание оказались бы отделенными друг от друга слишком большим временным отрезком. Да и как его наказывать? Я ничего не стала предпринимать; теперь я упрекаю себя за это... но что мне было делать? Я думала было послать его в Англию, хотела даже спросить вашего совета на этот счет, но не знала, где вы находитесь... Во всяком случае, я от него не скрыла моих переживаний, моего беспокойства, и мне кажется, что он должен понять, ведь у него же доброе сердце, вы сами знаете. Я больше рассчитываю на те угрызения совести, которые у него, вероятно, возникли, если это сделал действительно он, чем на мои упреки.

Он больше не станет этого делать, я уверена. Он находился там в обществе одного очень богатого товарища, который, должно быть, подталкивал его к расходам... Наверное, я оставила шкаф открытым... И опять же, я все-таки еще не окончательно уверена, что это он. В гостинице расхаживали разные случайные люди...

Я восхищался тем, с какой изобретательностью ее ум пускал в ход все, что могло хоть каким-то образом уменьшить вину ее сына.

— Я бы предпочел, чтобы он положил деньги туда, где он их взял,— сказал я.

— Я тоже так подумала. А поскольку он этого не сделал, то мне было угодно увидеть в этом еще одно доказательство его невиновности. Я думала и о том, что у него просто не хватило смелости.

— А вы говорили его отцу?

Несколько секуид она пребывала в нерешительности.

— Нет,— сказала она наконец.— Я предпочитаю, чтобы он ничего об этом не знал.

Ей, вероятно, послышался шум в соседней комнате, и она пошла проверить, нет ли там кого-нибудь; потом вернулась и, садясь опять рядом со мной, продолжила:

— Оскар сказал мне, что на днях вы вместе обедали. Он мне вас так расхваливал, что я подумала, что вы, должно быть, в основном слушали его. (Говоря это, она грустно улыбалась.) Если он делился с вами своими секретами, то я вовсе не собираюсь их у вас выпытывать... хотя о его личной жизни я знаю гораздо больше, чем он предполагает... Вот только я что-то не очень его узнаю после своего возвращения. Он сейчас такой ласковый со мной, я бы даже сказала — такой подобострастный... Меня это даже как-то смущает. Можно прямо подумать, что он боится меня. И совершенно напрасно. Я давным-давно в курсе всех его связей... я даже знаю, кто она. Он полагает, что я ничего не знаю, и принимает невероятные предосторожности, чтобы скрыть их от меня, но эти предосторожности настолько бросаются в глаза, что чем больше он скрывает, тем больше выдает себя. Всякий раз, когда, собираясь уходнть, он напускает на себя деловой, скучающий, озабоченный вид, я знаю, что он отправляется за удовольствиями. Мне так и хочется сказать ему: «Послушай, друг мой, я ведь тебя не удерживаю; неужели ты думаешь, что я ревнива?» Я бы даже посмеялась, если бы было настроение. Единственное, чего я боюсь,— это как бы дети что-нибудь не заметили: он же такой рассеянный,

такой неловкий! Иногда мне даже случается включаться в игру и тайком от него помогать ему. И уверяю вас, я почти что получаю от этого удовольствие: я придумываю за него оправдания, кладу ему в карман пальто письма, которые он забывает то тут, то там.

— А он,— сказал я ей,— как раз высказывал опасения, не обнаружили ли вы его письма.

— Он вам так сказал?

— Именно это-то и сделало его таким боязливым.

— Думаете, мне интересно знать их содержание?

Уязвленное самолюбие заставило ее выпрямиться. Мне пришлось добавить:

— Речь идет не о тех письмах, которые он мог куда-нибудь сунуть по рассеянности, а о тех, которые спрятал в ящик письменного стола, а потом там их не обнаружил. Он полагает, что их оттуда взяли вы.

Я увидел, как при этих словах Полина начала бледнеть, и мелькнувшее у нее ужасное подозрение вдруг овладело моим сознанием. Я пожалел, что сказал ей об этом, но было уже поздно. Она отвернулась от меня и прошептала:

— Как я хотела бы, чтобы это было так!

Она выглядела совершенно подавленной.

— Что делать?— повторяла она.— Что же делать?

Потом, снова повернувшись ко мне, попросила:

— Скажите, вы, вы не могли бы с ним поговорить?

Хотя и она, и я избегали произносить имя Жоржа, было совершенно очевидно, что она имела в виду именно его.

— Я попытаюсь. Я подумаю об этом,— сказал я, вставая.

В прихожей, куда она вышла проводить меня, она сказала:

— Прошу вас, Оскару ничего не говорите. Пусть он продолжает подозревать меня; пусть думает то, что думает. Так будет лучше. Я вас жду».

VII

А в это же время Оливье, расстроенный тем, что ему не удалось повидать дядю Эдуара, и страдающий от одиночества, решил в поисках дружбы вновь обратить свое сердце к Арману. И направился к пансиону Веделей.

Арман принял его в своей комнате. Туда вела черная лестница. Это была маленькая, узкая комнатка с окном,

обращенным во внутренний двор, куда выходили также кладовые и кухни соседнего здания. Покоробившийся цинковый рефлектор собирал поступавший сверху свет и в виде мертвенно-бледного отражения посылал его в комнату. Помещение почти не проветривалось; там стоял гнилостный запах.

— Ничего, можно привыкнуть,— сказал Арман.— Понимаешь, родители лучшие комнаты оставляют жильцам, которые платят. Это естественно. Ту, которую я занимал в прошлом году, я уступил одному виконту, брату твоего знаменитого друга Пассавана. Комната прямо княжеская, но за ней легко установить наблюдение из комнаты Рашели. Здесь масса комнат, но все они взаимосвязаны. Так, бедняжка Сара, вернувшаяся сегодня утром из Англии, чтобы попасть в свою новую конуру, вынуждена проходить либо через спальню родителей (что ее совсем не устраивает), либо через мою комнату, которая, по правде сказать, первоначально была не то уборной, не то чуланом. Здесь у меня есть по крайней мере хоть одно преимущество: возможность входить и выходить, когда я захочу, не боясь, что за мной кто-то шпионит. Я предпочитаю ее мансардам, куда селят прислугу. Честно говоря, я даже люблю жить в плохих условиях; мой отец назвал бы это предрасположенностью к умерщвлению плоти и объяснил бы тебе, что все то, что вредно для тела, предвещает спасение души. Кстати, он ни разу не удосужился сюда зайти. Ты же понимаешь: у него другие заботы, и заниматься обителью своего сына ему недосуг. Мой папа — потрясающий тип. Он знает наизусть массу утешительных фраз для всех наиболее важных событий жизни. Так приятно послушать. Жалко только, что у него нет никогда времени поговорить... Ты разглядываешь мою картинную галерею; утром она смотрится лучше. Вот это цветная гравюра работы одного из учеников Паоло Учелло; специально для ветеринаров. В великолепном творческом порыве художник сконцентрировал на одной лошади все болезни, с помощью которых Провидение очищает конскую душу; обрати внимание, какой одухотворенный взгляд... А это, это символическая картина всех стадий человеческой жизни, начиная от колыбели и кончая могилой. Если говорить о рисунке, то он не очень искусен; главная его ценность заключена в замысле. Там, дальше, ты имеешь возможность полюбоваться фотографией одной тициановской куртизанки; я повесил ее над кроватью

для того, чтобы у меня возникали любострастные мысли. А вот дверь, это дверь в комнату Сары.

Неприглядный, чтобы не сказать гнусный, вид помещения произвел на Оливье удручающее впечатление: постель была не убрана, а на туалетном столике стояла неопорожненная посудина для умывания.

— Да, я убираю свою комнату сам,— сказал Арман, отвечая на его встревоженный взгляд.— А здесь ты видишь мой рабочий стол. Ты и представить себе не можешь, насколько вдохновляюще действует на меня атмосфера этой комнаты.

«О воздух милого приюта...»

Именно ей я обязан идеей моего последнего стихотворения «Ночной сосуд».

Оливье пришел к Арману с намерением рассказать ему о своем журнале и получить у него согласие на сотрудничество, но теперь говорить на эту тему он уже не решался. Однако Арман сам заговорил об этом.

— «Ночной сосуд»— правда же красивое название?.. А эпиграф я взял из Бодлера:

«Урна, ждущая над гробом чьих-то слез» [1].

Я использую здесь античный образ (не устаревший до наших дней) творца-горшечника, который лепит каждое человеческое существо, как сосуд, призванный содержать в себе неизвестно что. И вот я в лирическом порыве сравниваю себя с тем самым сосудом; а идея мне пришла в голову, как я тебе уже сказал, совершенно естественно в момент восприятия запаха этой комнаты. Особенно я доволен началом моего стихотворения:

«Кто в сорок геморроем не страдает...»

Поначалу, дабы не очень расстраивать читателей, я поставил было: «Кто в пятьдесят...», но мне показалась не очень удачной аллитерация. Что же касается «геморроя», то во французском языке это, несомненно, одно из самых изящных слов... даже если отвлечься от его значения,— добавил он с усмешкой.

Оливье с тяжелым чувством слушал своего приятеля. А Арман продолжал:

— Стоит ли говорить, что когда ночному сосуду наносит визит благоухающий, как вот ты сейчас, горшок, то он чувствует себя польщенным.

---

[1] *Пер. В. Левика.*

— А что-нибудь еще, кроме этого, ты написал? — спросил наконец огорченно Оливье.

— Я собирался предложить мой «Ночной сосуд» в твой достославный журнал, но, судя по тому, как ты произнес «кроме этого», у него нет абсолютно никакого шанса тебе понравиться. В подобных случаях поэт всегда может заявить: «Я пишу не для того, чтобы нравиться», убеждая себя, что он родил шедевр. Я же не стану от тебя скрывать, что нахожу свое стихотворение отвратительным. К тому же у меня написана пока что только первая строчка. Да и говоря «написал», я должен еще уточнить, что сочинил ее только что, в твою честь... А ты что, действительно собирался опубликовать какую-нибудь мою вещь? Ты хотел бы со мной сотрудничать? И ты считаешь меня способным написать что-нибудь приличное? Уж не обнаружил ли ты на моем бледном челе какую-нибудь печать гения? Я, конечно, понимаю, что здесь, если посмотреть на себя в зеркало, все равно ничего не увидишь, но когда, уподобляясь Нарцнссу, я все же в него смотрюсь, то вижу всего лишь физиономию неудачника. Хотя не исключено, что так кажется просто из-за плохого освещения... Нет, мой дорогой Оливье, нет, я ничего не писал этим летом, и если ты рассчитывал, что я что-то напишу для твоего журнала, то вынужден тебя разочаровать. Впрочем, хватит обо мне. Как там на Корсике, все было хорошо? Ты в полной мере насладился путешествием? Оно пошло тебе на пользу? Ты отдохнул от своих трудов? Ты вполне...

Оливье не выдержал:

— Замолчи в конце концов, перестань паясничать. Если ты думаешь, что мне это кажется остроумным...

— А мне! — воскликнул Арман. — А! Нет, дорогой мой, мне тоже это не кажется остроумным. Не такой уж я все-таки дурак! У меня вполне хватает ума понять, что все, что я говорю, — сплошная глупость.

— Ты что, вообще не можешь говорить серьезно?

— Что ж, раз тебе нравится серьезный жанр, мы будем говорить серьезно. Рашель, моя старшая сестра, слепнет. Ее зрение за последнее время сильно ухудшилось. Вот уже два года, как она не может читать без очков. Сначала я думал, что ей нужно только поменять стекла в очках. Оказалось, что нет. Я упросил ее пойти к специалисту. Похоже, это у нее слабеет чувствительность сетчатки. Понимаешь, есть две совершенно разные вещи: с одной стороны, плохая аккомодацня хрусталика, и здесь помогают

очки. Но после того как они приблизили или сделали более далеким зрительный образ, может еще оказаться, что он недостаточно сильно раздражает сетчатку и поэтому доходит до мозга расплывчатым. Я понятно объясняю? Ты Рашель почти не знаешь; так что не думай, что я пытаюсь растрогать тебя ее судьбой. Тогда почему я тебе все это рассказываю?.. Потому что, размышляя над ее случаем, я пришел к выводу, что мысли, так же как и образы, могут рождаться в мозгу четкими либо расплывчатыми. Тупой человек воспринимает все смутно, но именно поэтому он не отдает себе отчета в своем тупоумии. Он начал бы страдать от своей глупости лишь тогда, когда он отчетливо осознал бы, насколько он глуп, но, чтобы осознать это, ему нужно стать умным. А ты представь-ка себе такое чудище, такого идиота, обладающего достаточным умом, чтобы отчетливо осознавать, что он дурак.

— Черт побери! Но ведь тогда он бы уже не был дураком.

— А вот и был бы, уж ты поверь мне. Я, кстати, это хорошо знаю, поскольку как раз и являюсь этим дураком.

Оливье пожал плечами. Арман продолжал:

— Настоящий дурак не в состоянии понять мысль, выходящую за пределы его собственной мысли. Я же способен воспринимать и «за пределами». И тем не менее я являюсь дураком, потому что знаю, что никогда не смогу сделать так, чтобы то, что находится «за пределами», стало моим.

— Бедный мой друг,— сказал Оливье в порыве симпатии,— мы же ведь все так сделаны, что нас улучшать да улучшать, и мне кажется, что самый большой ум — это такой ум, который больше всего страдает от своей ограниченности.

Арман оттолкнул руку, которую Оливье дружески положил ему на плечо.

— У других людей,— сказал он,— есть ощущение того, что они что-то имеют, а я ощущаю только то, чего мне не хватает. Ощущаю нехватку денег, нехватку сил, нехватку ума, нехватку любви. Сплошные минусы; я так навсегда и останусь «в пределах».

Он подошел к туалетному столику, смочил щетку для волос в оставшейся от умывания грязной воде и изобразил на лбу какую-то нелепейшую челку.

— Я сказал тебе, что ничего не написал, но тем не менее в последние дни я вынашивал идею одного трактата, который мог бы назвать трактатом недостаточности. И

естественно, меня не хватает на то, чтобы его написать... Я бы там сказал... Надоел я тебе, наверное.

— Продолжай; ты надоел мне со своими шуточками, а то, что ты говоришь сейчас, мне очень даже интересно.

— Я бы там старался найти во всех явлениях природы крайнюю точку, за которой нет уже ничего. Я приведу тебе пример, и ты все поймешь. Недавно в газетах рассказали историю одного рабочего, убитого током. Его убило, когда он неосторожно обращался с электрическими проводами: напряжение было небольшое, но вроде бы он сильно вспотел. Его смерть связывают с тем, что тонкий слой влаги позволил электрическому току охватить все его тело. Будь тело чуть более сухим, и несчастья не случилось бы. Но давай будем добавлять пот каплю за каплей... Вот еще одна капелька — все, готово.

— Что-то не понимаю,— сказал Оливье.

— Плохой пример я выбрал. Я всегда плохо выбираю примеры. Тогда вот еще: обнаружили в море лодку с шестью потерпевшими кораблекрушение пассажирами. Буря в течение десяти дней носила их туда-сюда. Трое умерли, двоих спасли. Шестой оказался без сознания. Его надеялись спасти. Но организм его достиг крайней точки.

— Да, понимаю,— сказал Оливье, часом раньше его могли бы спасти.

— Часом, ишь как ты! Я вычисляю самое крайнее мгновение: еще можно... Еще можно... Уже нельзя! Моя мысль прогуливается по тонюсенькому рубежу. И вот эту-то демаркационную линию между бытием и небытием я и пытаюсь прочертить везде. Граница сопротивления... да, вот пример сопротивления тому, что мой отец назвал бы искушением. Скажем, человек держится, держится; веревка, за которую тянет бес, натянулась, сейчас лопнет... И вот еще чуть-чуть — веревка рвется: человек осужден на вечные муки. Теперь понимаешь? Маленькая-маленькая нехваточка — и небытие. И Бог бы не сотворил мира. И ничего бы не было... «Лицо мира изменилось бы»,— сказал Паскаль. Но мне недостаточно осознавать: «Если бы нос Клеопатры был покороче». Я настаиваю, я спрашиваю: покороче... насколько? Ведь он же мог оказаться покороче на самую малость, так или нет?.. Постепенность, постепенность и вдруг резкий скачок... Natura non fecit saltus[1] — что за нелепость! Что касается меня, то я здесь как тот араб, который бредет через пустыню и вот-

[1] Природа не делает скачков (*лат.*).

вот умрет от жажды. Я подхожу к той конкретной точке, понимаешь, где еще могла бы спасти всего одна капля воды... или одна слеза...

Голос его срывался, стал каким-то патетическим, что удивило и тронуло Оливье. Потом сделался более тихим, почти нежным:

— Помнишь: «Я пролил ту слезинку за *тебя*...»

Конечно же, Оливье помнил эту фразу Паскаля; он даже почувствовал какую-то неловкость оттого, что его друг процитировал ее неточно. Он не удержался и поправил: «Я пролил ту каплю крови...»

Возбуждение Армана тут же спало. Он пожал плечами:

— Что тут поделаешь? Есть такие, кого примут с распростертыми объятиями... Вот теперь ты понимаешь, что это такое: постоянно ощущать себя «на рубеже»? Мне всегда будет не хватать одного балла.

Он опять рассмеялся. Оливье показалось, что это он из опасения, что вдруг заплачет. Он хотел бы тоже поделиться своими мыслями, сказать, как его потрясло все, что он услышал: и слова, и притаившаяся за нервной иронией тоска. Но уже близилось время их встречи с Пассаваном. Он вынул часы.

— Я должен сейчас тебя покинуть,— сказал он.— Ты сегодня вечером свободен?

— А что?

— Я хотел бы пригласить тебя в «Таверну Пантеона». «Аргонавты» устраивают там банкет. Подходи ближе к концу. Там будет масса более или менее знаменитых и подвыпивших типов. Бернар Профитандье обещал тоже подойти. Возможно, это будет интересно.

— Я не брит,— угрюмо произнес Арман.— И к тому же что мне делать среди знаменитостей? А впрочем, знаешь что? Пригласи-ка Сару, она вернулась из Англии сегодня утром. Она будет в восторге, я уверен. Хочешь, я приглашу ее от твоего имени? А Бернар заберет ее с собой.

— Пусть будет по-твоему, старина,— сказал Оливье.

VIII

Итак, было решено, что Бернар и Эдуар, поужинав вместе, около десяти часов заедут за Сарой. Сара с радостью приняла приглашение. Приблизительно полдесятого она в сопровождении матери поднялась к себе в комнату. Чтобы попасть туда, нужно было пройти через спаль-

ню родителей, причем из комнаты Сары в комнату Армана вела еще одна дверь, считавшаяся заколоченной, тогда как выход из комнаты Армана осуществлялся, как мы уже сказали, через черную лестницу.

В присутствии матери Сара сделала вид, что ложится спать, и попросила, чтобы ее не беспокоили, но, оставшись одна, тут же подошла к туалетному столику и подкрасила губы и щеки. Туалетный столик находился как раз напротив заколоченной двери, причем он был не тяжелый, и для Сары не составляло труда бесшумно сдвинуть его с места. Затем она открыла потайную дверь.

Саре не хотелось встречаться с братом; она боялась его насмешек. Правда, Арман поощрял самые смелые ее затеи; казалось, даже находил в них удовольствие; однако снисходительность его носила временный характер, поскольку потом он же их осуждал, причем весьма сурово; так что Саре было бы трудно сказать, не являлось ли его попустительство всего лишь своего рода игрой педагога-надзирателя.

Комната Армана была пуста. Сара присела на низенькую табуретку и стала ждать, предаваясь размышлениям. Из духа какого-то противоречия она, не мудрствуя лукаво, старалась презирать все домашние добродетели. Давление, испытываемое ею со стороны семьи, напрягало ее энергию, обостряло бунтарские инстинкты. Во время своего пребывания в Англии она основательно подогрела свою решимость. Подобно мисс Абердин, юной англичанке, проживавшей в пансионе Веделей, она настроилась завоевать себе свободу, настроилась преступать любые запреты и все себе позволять. Она чувствовала себя готовой противостоять любому презрению, любому порицанию, чувствовала себя способной бросить любой вызов. Делая авансы Оливье, она уже одержала победу над своей естественной скромностью и над врожденной застенчивостью. Ей послужил уроком пример двух ее сестер: благочестивую безропотность Рашели она считала надувательством, а в браке Лоры видела лишь убогую сделку, ведущую к рабству. То образование, которое она получила, которое она себе дала, которого добилась, по ее мнению, не слишком предрасполагало ее к тому, что она называла супружеским благоговением. Она и мысли не допускала, что человек, за которого она могла бы выйти замуж, будет чем-то лучше ее. Разве не сдавала она экзамены не хуже любого мужчины? Разве не имела собственного мнения, собственных мыслей по любому вопросу? В частно-

сти, по вопросу о равенстве полов; ей даже казалось, что в обыденной жизни, да и в делах тоже, а при случае даже и в политике женщина нередко проявляет больше здравого смысла, чем многие мужчины...

Шаги на лестнице. Она прислушалась, потом тихо отворила дверь.

Бернар и Сара еще не были знакомы. Коридор не освещался. В полутьме они едва различали друг друга.

— Мадемуазель Сара Ведель?— шепотом спросил Бернар. Она, недолго думая, взяла его под руку.

— Эдуар ждет нас в автомобиле на углу улицы. Он решил не выходить из него, чтобы ненароком не встретить ваших родителей. Мне-то это не страшно: вы же знаете, что я здесь живу.

Бернар предусмотрительно оставил калитку приоткрытой, чтобы не привлечь внимания привратника. Несколькими минутами позже они уже выходили из машины перед «Таверной Пантеона». В тот момент, когда Эдуар расплачивался с шофером, часы пробили десять часов.

Банкет к этому времени уже закончился. Еду убрали, на столе еще стояло множество чашек из-под кофе, бутылок и стаканов. Все курили, дышать было практически невозможно. Госпожа де Брусс, жена директора «Аргонавтов», требовала воздуха. Ее пронзительный голос пробивался сквозь частные беседы. Открыли окно. Однако Жюстиньен, желавший произнести речь, почти тут же приказал закрыть его «из-за акустики». Он встал и начал стучать ложечкой по своему бокалу, безуспешно пытаясь привлечь к себе внимание. В конце концов пришлось вмешаться директору «Аргонавтов», которого обычно называли председателем де Бруссом, и, когда ему удалось добиться относительной тишины, Жюстиньен принялся обильно поливать присутствующих смертельной скукой. Банальность своих мыслей он растворял в потоке образов. Недостаток смысла компенсировал напыщенностью и при этом еще находил возможность каждому отпустить какой-нибудь несуразный комплимент. Как раз в тот момент, когда Эдуар, Бернар и Сара входили в зал, оратор сделал первую паузу и послышались снисходительные аплодисменты; некоторые не без иронии продолжали хлопать дольше других, словно надеясь положить конец выступлению; увы, поток словоизлияний остановить было невозможно; Жюстиньен заговорил снова. На этот раз он осыпал цветами своего красноречия графа де Пассавана.

О «Турнике» он говорил как о новой «Илиаде». Выпили за здоровье Пассавана. У Эдуара, равно как и у Бернара с Сарой, бокалов не оказалось. что избавило их от необходимости поддерживать тост.

Речь Жюстиньена закончилась пожеланиями в адрес нового журнала и несколькими комплиментами его будущему главному редактору, «юному и талантливому Молинье, любимцу муз, чье благородное чистое чело не долго будет ждать своих лавров».

Оливье находился около входа, чтобы иметь возможиость сразу встретить своих друзей. Утрированные комплименты Жюстиньена были ему явно неприятны, но уклониться от небольшой овации, последовавшей за тостом, он не мог.

Поскольку вновь прибывшие поужинали как истинные трезвенники, им было очень нелегко настроиться на волну остальных присутствующих. На такого рода собраниях опоздавшие обычно либо вообще не понимают причин всеобщего возбуждения, либо понимают их слишком хорошо. Они начинают судить, когда судить вовсе не следовало бы, и вольно или невольно занимаются безжалостной критикой; так, во всяком случае, обстояло дело с Эдуаром и Бернаром. Что же касается Сары, для которой в этой среде все было внове, то она думала лишь о том, как бы побольше увидеть, и о том, чтобы не выглядеть здесь белой вороной.

Бернар никого не знал. Оливье, взяв его под руку, хотел представить его Пассавану и де Бруссу. Он отказался. Одиако тут как раз Пассаван подошел сам и протянул ему руку, которую Бернар, оставаясь в рамках приличий, не пожать просто не мог.

— Я слышу о вас уже так давно, что у меня такое впечатление, словно я с вами уже знаком.

— У меня тоже,— сказал Бернар таким тоном, что от ласковости Пассавана не осталось и следа. Он тут же подошел к Эдуару.

Эдуар, несмотря на то что проводил много времени в путешествиях, а в Париже жил анахоретом, кое-кого из гостей все же знал и не чувствовал никакого смущения. Собратья по перу не очень его любили, но зато уважали; будучи всего лишь необщительным, он заработал себе репутацию гордеца. Он охотнее слушал, чем говорил.

— Ваш племянник вселил в меня надежду на то, что вы придете,— начал Пассаван довольно тихим слащавым голосом.— Я был обрадован, так как именно...

Иронический взгляд Эдуара не дал ему докончить фразу. Владеющий искусством соблазнять и привыкший нравиться Пассаван, чтобы блистать, нуждался в приязненном зеркале. Впрочем, он тут же овладел собой, поскольку не принадлежал к числу людей, надолго теряющих почву под ногами и смиряющихся с неудачами. Он поднял голову, и в глазах его появился наглый блеск. Если Эдуар не хочет включаться в его игру добровольно, он найдет способ его укротить.

— Я хотел спросить вас...— начал он, как бы продолжая свою мысль.— У вас есть какие-нибудь новости о вашем другом племяннике, о моем друге Венсане? Я ведь всегда был связан в первую очередь именно с ним.

— Нет,— сухо ответил Эдуар.

Это «нет» снова поставило Пассавана в тупик, потому что он не знал, следует ли воспринимать его как какое-нибудь провокационное опровержение или же как простой ответ на вопрос. Его замешательство длилось всего одно мгновение; Эдуар простодушно выручил его, добавив почти тут же:

— Я только узнал от его отца, что он путешествует с князем Монако.

— Да, я действительно попросил одну мою подругу представить его князю. Я был рад придумать для него эту прогулку, чтобы как-то отвлечь его от его неудачного приключения с этой госпожой Дувье... с которой вы, как мне сказал Оливье, знакомы. А то он мог испортить себе жизнь.

Пассаван превосходно владел приемами пренебрежения, презрения, снисходительности, но сейчас ему нужно было выиграть лишь этот тур и удержать Эдуара на должном расстоянии. Тот же пытался придумать хоть какой-нибудь хлесткий ответ. И как назло ничего не находил. Вероятно, именно поэтому он и не любил свет: он не обладал качествами, необходимыми для того, чтобы там блистать. Однако вот его брови нахмурились. Но у Пассавана был нюх: как только кто-нибудь собирался сказать ему нечто неприятное, он сразу чувствовал это и круто разворачивался. Не переведя дыхания, он внезапно изменил тон.

— А кто эта очаровательная девушка, которая пришла с вами?— спросил он, улыбнувшись.

— Это,— сказал Эдуар,— мадемуазель Сара Ведель, сестра как раз той госпожи Дувье, моей подруги.

За неимением лучшего, он с помощью интонации за-

острил словосочетание «моей подруги» в виде стрелы, которая, однако, не достигла цели; Пассаван постарался ее не заметить.

— Было бы очень любезно с вашей стороны, если бы вы меня ей представили.

Он произнес эти последние слова и предыдущую фразу достаточно громко, чтобы Сара могла их расслышать, а поскольку она повернулась в их сторону, то уклониться Эдуар не смог.

— Сара, граф де Пассаван мечтает о чести познакомиться с вами,— сказал он с натянутой улыбкой.

Пассаван попросил принести три новых бокала и наполнил их кюммелем. Все четверо выпили за здоровье Оливье. Бутылка была почти пуста, и, поскольку Сара заинтересовалась оставшимися на дне кристалликами, Пассаван попытался достать их соломинкой. Тут к ним подошел какой-то паяц с белым от пудры лицом, черными глазами и прилипшими ко лбу наподобие молескиновой ермолки волосами и, с заметным усилием выговаривая каждый слог, произнес:

— Так у вас не получится. Дайте бутылку мне, я ее сейчас кокну.

Он схватил ее, одним ударом разбил о край подоконника и, вручая донышко Саре, сказал:

— С помощью этих маленьких острых многогранников милая барышня без труда получит себе прободение брюха.

— Что это за Пьеро?— спросила Сара у Пассавана, который пригласил ее сесть и сам сел рядом с ней.

— Это Альфред Жарри, автор «Короля Убю». «Аргонавты» принимают его за гения, потому что публика недавно освистала его пьесу. Да и действительно, в театре за многие годы это самое примечательное событие.

— Мне страшно нравится «Король Убю»,— сказала Сара,— и я очень довольна, что увидела Жарри. Мне говорили, что он постоянно пьян.

— Сегодня это похоже на правду. Я видел, как за ужином он выпил два полных бокала чистого абсента. Похоже, он этого совершенно не стыдится. Хотите сигарету? Когда кругом курят, то, чтобы не задохнуться, нужно курить самому.

Он наклонился к ней и поднес к ее сигарете зажженную спичку. Она разгрызла несколько кристаллов.

— Это, оказывается, простые леденцы,— сказала она

несколько разочарованным голосом.— А я надеялась, что это будет что-то необыкновенное.

Беседуя с Пассаваном, она улыбалась Бернару, который остался рядом с ней. Ее развеселившиеся глаза ярко блестели. До этого, в темноте, Бернар не мог ее разглядеть и теперь был поражен ее сходством с Лорой. Тот же лоб, те же губы... Правда, ее черты не дышали такой ангельской грацией, а взгляды ее вносили какую-то непонятную смуту в его сердце. Слегка смущенный, он повернулся к Оливье:

— Познакомь-ка меня со своим другом Беркаем.

Он уже встречал Беркая в Люксембургском саду, но никогда с ним не разговаривал. В новой обстановке, куда он попал благодаря Оливье, Беркай чувствовал себя несколько не в своей тарелке, не мог преодолеть свою застенчивость и краснел всякий раз, как его друг представлял его в качестве одного из основных сотрудников «Авангарда». Дело в том, что в самом первом номере нового журнала, сразу после манифеста Оливье предполагал напечатать то самое аллегорическое стихотворение, о котором он говорил в начале нашего повествования.

— На том месте, которое я приберегал для тебя,— сказал Оливье Бернару.— Я абсолютно уверен, что это тебе понравится! Это намного превосходит все остальное, что есть в номере. И так оригинально написано!

Оливье больше нравилось хвалить своих друзей, чем слышать хвалу в свой адрес. При приближении Бернара Люсьен Беркай встал; он держал в руке чашку с кофе, причем так неловко, что половина ее содержимого вылилась ему на жилет. В этот момент он услышал совсем рядом механический голос Жарри:

— Малыш Беркай сейчас отравится, потому что я положил в его чашку яду.

Жарри забавляла застенчивость Беркая, и ему доставляло удовольствие смущать его. Однако Беркай не боялся Жарри. Он пожал плечами и спокойно допил свою чашку.

— Кто это такой?— спросил Бернар.

— Как! Ты не знаешь автора «Короля Убю»?

— Не может быть! Это Жарри? А я-то принял его за лакея.

— О! Ты уж слишком,— сказал немного раздраженным тоном Оливье, гордившийся своими знаменитостями.— Ты только взгляни на него. Неужели ты не видишь, какой он оригинальный?

— Он делает все, чтобы выглядеть таковым,— сказал

Бернар, ценивший только все естественное, хотя и преисполненный уважения к «Убю».

В Жарри буквально все, начиная с его жокейской курточки, отдавало вычурностью, и в первую очередь его манера говорить, которой взапуски подражали многие «аргонавты», чеканившие слоги, коверкавшие речь, изобретавшие какие-то причудливые слова и безуспешно пытавшиеся имитировать его лишенный тембра, эмоций, интонаций и выразительности голос.

— Уверяю тебя, при близком знакомстве с ним он очарователен.

— Предпочитаю не знакомиться. У него такой свирепый вид.

— Ну, это с его стороны просто игра. Пассаван даже считает, что у него очень нежная натура. Но сегодня он слишком много выпил, причем, можешь мне поверить, ни капли воды; даже вина не пил, а только абсент и крепкие ликеры. Пассаван опасается, как бы он что-нибудь не учудил.

Помимо его воли имя Пассавана то и дело слетало у него с уст, причем тем чаще, чем больше он старался этого избегать.

Раздосадованный своей неспособностью управлять собственной речью и как бы убегая от самого себя, он сменил тему разговора:

— *Ты бы побеседовал немного с Дюрмером. Я боюсь*, что он смертельно обиделся на меня, из-за того, что я увел у него из-под носа руководство «Авангардом»; но это не моя вина; у меня просто не было выбора. Постарайся объяснить ему и успокой его. Пасс... Мне сказали, что он страшно зол на меня.

Он споткнулся, но на этот раз удержался на ногах.

— Я надеюсь, он забрал свою рукопись. Мне не понравилось то, что он написал,— сказал Беркай; потом, повернувшись к Профитандье спросил:

— А вы, месье, я полагал, что...

— О, не надо называть меня месье... Тем более, что вместе с моей фамилией это образует громоздкое и смешное словосочетание... Я собираюсь взять себе псевдоним, если буду писать.

— Но почему вы ничего не дали нам?

— Потому что у меня не было ничего готового.

Оливье, оставив своих двух друзей продолжать разговор, подошел к Эдуару.

— Как это мило с вашей стороны, что вы пришли!

Мне так хотелось увидеться с вами. Только я предпочел бы встретиться с вами где угодно, но только не здесь... Сегодня после обеда я заходил к вам. Вам передавали? Я очень огорчился, что не застал вас дома, и если бы я знал, где вас можно найти...

Он обрадовался тому, что выражается так легко, вспоминая те времена, когда в присутствии Эдуара немел от волнения. Этой легкостью он был обязан, увы, банальности своих слов, равно как и выпитому вину. Это с грустью осознавал и Эдуар.

— Я был у вашей матери.

— Я узнал об этом, когда вернулся домой,— сказал Оливье, удрученный тем, что Эдуар обращается к нему на вы. Он поколебался немного, не сказать ли ему об этом.

— Вы собираетесь отныне жить в этом обществе?— спросил Эдуар, глядя ему прямо в глаза.

— О! Я не очень-то поддаюсь его влиянию.

— Вы в этом уверены?

Это было сказано таким серьезным, таким нежным, таким братским тоном... Оливье почувствовал, что уверенность его уменьшается.

— Вам кажется, что я не должен общаться с этими людьми?

— Может быть, не со всеми, но с некоторыми, несомненно.

Оливье перевел множественное число в единственное. Он решил, что Эдуар имеет в виду в первую очередь Пассавана, и его внутреннее небо, на котором с самого утра сгущались темные тучи, вдруг словно все осветилось от прорезавшей его ослепительной, болью отозвавшейся в его сердце молнии. Он слишком сильно любил Бернара и Эдуара, чтобы перенести их неодобрение. Рядом с Эдуаром в нем расцветало все, что было в нем хорошего. А рядом с Пассаваном — все дурное; теперь он признавался себе в этом; но разве не осознавал он этого с самого начала? Не было ли его ослепление в отношении Пассавана добровольным? Его признательность за все, что граф для него сделал, быстро перерастала в неприязнь. Теперь он ожесточенно его отвергал. А последовавшая затем сцена заставила его возненавидеть Пассавана.

Пассаван, приблизившись к Саре, обхватил ее рукой за талию и проявлял все большую и большую настойчивость. Узнав о неприятных слухах по поводу его взаимоотношений с Оливье, он хотел, чтобы все воочию убедились в их необоснованности. При этом, стараясь еще больше

обратить на себя внимание, он решил, что нужно сделать так, чтобы Сара села к нему на колени. Сара пока что не очень сопротивлялась, а глазами искала глаза Бернара, когда их взгляды встречались, она улыбалась, словно говоря ему: «Посмотрите, что можно со мной делать».

Пассаван же боялся действовать слишком поспешно. Ему не хватало практики.

«Если мне удастся заставить ее еще немного выпить, я рискну»,— мысленно говорил он себе, протягивая незанятую руку к бутылке кюрасо. Наблюдавший за ним Оливье упредил его жест. Он завладел бутылкой лишь для того, чтобы не позволить сделать это Пассавану; однако ему тут же показалось, что ликер придаст ему больше смелости, которой у него становилось все меньше и меньше и в которой он нуждался, чтобы донести до Эдуара уже вертевшуюся у него на языке жалобу:

— Стоило лишь вам...

Оливье наполнил свой бокал и выпил его залпом. В этот момент он услышал, как Жарри, переходивший от группы к группе, сказал вполголоса, проходя позади Беркая:

— А теперь мы убьем малыша Беркая.

Тот резко обернулся:

— А ну-ка повторите это громко.

Но Жарри уже отошел от него. Потом, обогнув стол, повторил фальцетом:

— А теперь мы убьем малыша Беркая.— Потом вытащил из кармана большой пистолет, которым он частенько играл на глазах у «аргонавтов», и прицелился.

Жарри пользовался репутацией меткого стрелка. Кто-то стал протестовать. Трудно было сказать, сумеет ли он в состоянии такого сильного опьянения ограничиться простым розыгрышем. Однако юный Беркай решил показать, что его не испугаешь, встал на стул и, заложив руки за спину, принял наполеоновскую позу. Он выглядел несколько смешно, и кто-то даже засмеялся, но смех тотчас заглушили аплодисменты.

Пассаван скороговоркой сказал Саре:

— Это может плохо кончиться. Он совершенно пьян. Прячьтесь под стол.

Де Брусс попытался было удержать Жарри, но тот, вырвавшись, тоже залез на стул (Бернар при этом заметил, что на ногах у него были очень маленькие бальные туфли). Стоя прямо напротив Беркая, он вытянул руку вперед и стал целиться.

— Выключите свет! Скорей же! — приказал де Брусс.

Эдуар, стоявший у двери, повернул выключатель.

Сара, послушавшись Пассавана, встала и, как только свет погас, прижалась к Бернару и увлекла его под стол.

Раздался выстрел. Пистолет, как оказалось, был заряжен холостым. Тем не менее кто-то закричал от боли: это Жюстиньену в глаз попал пыж.

А когда включили свет, все стали восторгаться Беркаем, который продолжал неподвижно, все в той же позе стоять на стуле и только едва заметно побледнел.

Однако с председательницей де Брусс случилась истерика. Ее принялись приводить в чувство.

— Глупо так играть на нервах у людей.

Поскольку воды на столе не было, Жарри, спустившись со своего пьедестала, намочил в вине свой носовой платок и, как бы извиняясь, начал тереть ей виски.

Бернар оставался под столом всего лишь одно мгновение, достаточное, впрочем, для того, чтобы ощутить, как к его губам сладострастно прильнули горячие губы Сары. Оливье последовал за ними — из дружбы, из ревности... Опьянение еще больше усугубляло столь знакомое ему ужасное чувство покинутости. Когда он тоже вылез из-под стола, голова у него слегка кружилась. И тут он услышал крик Дюрмера:

— Посмотрите-ка на Молинье! Он труслив, как женщина.

Это было уже слишком. Не очень хорошо отдавая себе отчет в том, что он делает, Оливье бросился с поднятой рукой на Дюрмера. Ему казалось, что он движется во сне. Дюрмер увернулся от удара. Так же как во сне, рука Оливье встретила только пустоту.

Началось всеобщее замешательство: некоторые хлопотали около председательницы продолжавшей жестикулировать и повизгивать, некоторые столпились вокруг Дюрмера, кричавшего: «Он меня не задел! Он меня не задел!..» — а другие окружили Оливье, который с раскрасневшимся лицом готовился к новой атаке, и пришлось потратить немало усилий, чтобы его успокоить.

Задетый или не задетый Дюрмер должен был считать себя получившим пощечину — вот что старался втолковать ему Жюстиньен, потиравший свой глаз. Это был вопрос оскорбленного достоинства. Однако Дюрмер не слишком беспокоился об уроках достоинства Жюстиньена. Он упрямо продолжал повторять:

— Не задел... Не задел...

— Оставьте его в покое,— сказал де Брусс.— Нельзя же заставлять людей драться против их воли.

Однако Оливье во всеуслышание заявлял, что если Дюрмеру мало, то он готов дать ему еще одну пощечину, и, иастроившись вызвать того иа дуэль, просил Бернара и Беркая согласиться быть его секундантами. Ни одии из них в так называемых «делах чести» ничего не смыслил, а к Эдуару Оливье обращаться не решался. Галстук у него развязался, волосы разметались по потному лбу, руки конвульсивно подергивались.

Эдуар взял его под руку.

— Пошли, тебе нужно немного умыться. Ты похож на сумасшедшего.

Он отвел его к умывальнику.

Выйдя из зала, Оливье сразу осознал, насколько он пьян. Когда он почувствовал руку Эдуара на своей руке, ему показалось, что сейчас он упадет в обморок, и он, не сопротивляясь, позволил себя увести. Из всего, что ему говорил Эдуар, ои поиял только то, что тот говорит с ним на ты. Ему казалось, что сердце его изойдет сейчас слезами, подобно тому как грозовая туча исходит дождем. Мокрая салфетка, которую приложил к его лбу Эдуар, позволила ему окончательио протрезветь. Что произошло? У него сохранилось смутное воспоминание о том, что он вел себя как ребенок, как хам... Он виделся себе смешным, отвратительным... Весь дрожа от горя и нежности, он бросился к Эдуару и, прижавщись к иему, прорыдал:

— Увези меня.

Эдуар тоже был крайне взволнован.

— А родители?— спросил он.

— Они еще не знают, что я вернулся.

Когда они шли через зал к выходу, Оливье сказал своему спутнику, что ему надо написать записку.

— Если сейчас бросить письмо в почтовый ящик, то оно придет завтра рано утром.

Присев за один из столов, он написал:

«Дорогой мой Жорж,

Да, это пишу я; я прошу тебя оказать мне одну небольшую услугу. Очевидно, для тебя не будет новостью то, что я уже в Париже, поскольку мне кажется, что сегодня утром у Сорбонны ты меня заметил. Я остановился у графа де Пассавана (он написал адрес), и мои вещи все еще находятся у него. По некоторым причинам, которые пришлось бы очень долго объяснять и которые показались

бы тебе не слишком интересными, я предпочитаю к нему не возвращаться. Кроме тебя, мне некого просить съездить за этими вещами. Надеюсь, ты не откажешь мне в этой услуге; в долгу не останусь. Один чемодан закрыт на ключ. А те вещи, которые в комнате, положи в другой мой чемодан и привези все вместе к дяде Эдуару. За такси я заплачу. К счастью, завтра воскресенье, и ты сможешь сделать это сразу же, как только получишь мою записку. Я на тебя рассчитываю, да?

Твой старший брат
Оливье.

P. S. Я знаю, что парень ты деловой, и не сомневаюсь, что исполнишь ты все как нельзя лучше. Только учти: если тебе придется разговаривать непосредственно с Пассаваном, постарайся быть с ним похолоднее. До завтрашнего утра».

Тем из гостей, которые не слышали оскорбительных слов Дюрмера, трудно было понять причину неожиданного наскока Оливье. Думали, что он просто потерял голову. Бернар, если бы он мог спокойно оценивать происходящее, даже одобрил бы его; он не любил Дюрмера; однако он вынужден был признать, что Оливье действовал как сумасшедший и внешне выглядел виноватым по всем статьям. Бернар переживал, слыша, как все сурово его осуждают. Он подошел к Беркаю и договорился с ним встретиться. Хотя ситуация была и абсурдная, но им следовало строго соблюдать этикет. Они условились заехать за своим клиентом на следующий день, в девять утра.

После ухода обоих его друзей у Бернара не было больше ни причин, ни желания оставаться в ресторане. Он поискал глазами Сару и весь зашелся от возмущения, увидев ее на коленях у Пассавана. И он, и она казались пьяными, но, увидев приближающегося Бернара, Сара встала.

— Пошли,— сказала она, беря его под руку.

Она предпочла идти домой пешком. Путь был близкий; они проделали его молча. В пансионе все огни были уже потушены. Чтобы не привлекать внимания, они наощупь добрались до лестницы и там стали зажигать спички. Арман не спал. Услышав их шаги, он вышел на лестничную площадку с лампой в руке.

— Возьми лампу,— сказал он Бернару (со вчерашнего дня они были на ты),— посвети Саре: у нее в комнате нет свечи... И дай мне спички, мне надо зажечь мою лампу.

Бернар проводил Сару в ее комнату. Едва они туда вошли, как Арман тоже заглянул к ним, задул лампу и насмешливо сказал:

— Спокойной ночи! Только не шуметь. Рядом спят родители.

Потом быстро выскочил к себе и закрыл дверь на задвижку.

IX

Арман прилег, не раздеваясь. Он знает, что не заснет. Он ждет, когда закончится ночь. Размышляет. Слушает. Спит дом, спит город, спит вся природа; не слышно ни единого звука.

Как только слабый свет, отбрасываемый рефлектором сверху, из узкой отдушины неба, позволяет ему вновь ощутить всю неприглядность его комнаты, он встает. Идет к запертой им накануне двери, тихо открывает ее...

Шторы на окнах в комнате Сары не задернуты. Рассвет постепенно окрашивает стекла в белый цвет. Арман подходит к кровати, где спят его сестра и Бернар. Простыня едва прикрывает их сплетенные тела. Как же они прекрасны! Арман долго созерцает их. Он хотел бы быть их сном, их поцелуем. Сначала он улыбается, потом внезапно становится на колени рядом с кроватью, посреди разбросанных покрывал. Какому богу может он молиться здесь, сложив руки? Его душит какое-то непонятное чувство. Губы его дрожат... Он замечает под подушкой испачканный кровью носовой платок, встает, берет его, несет к себе, сдерживая подступающие к горлу рыдания, прикасается губами к маленькому янтарного цвета пятнышку.

Однако на пороге он останавливается. Ему хотелось бы разбудить Бернара. Ведь тот должен вернуться к себе в комнату до того, как встанут остальные обитатели пансиона. От легкого шума, произведенного Арманом, Бернар открывает глаза. Арман убегает, оставив дверь открытой. Он выходит из комнаты, спускается по лестнице; он где-нибудь спрячется; он не хочет встречаться с Бернаром, чтобы не смущать его своим присутствием.

Через несколько минут он увидит из окна классной комнаты, как тот пройдет, крадучись, словно вор...

Бернар спал мало. Однако он ощутил этой ночью забвение еще более целительное, чем сон, ощутил одновременно и восторг жизни, и растворение всего своего существа в небытии. В новый день он вступает непохожим на

самого себя, свободным, легким, новым, спокойным и трепещущим, как бог. Он оставил Сару спящей; осторожно высвободился из ее объятий. Как? Без еще одного поцелуя, без последнего взгляда, без завершающей любовной ласки? Не от бесчувственности ли он покидает ее таким образом? Не знаю. Да и сам он тоже не знает. Он старается ни о чем не думать, смущенный тем, что ему приходится включать эту необыкновенную ночь в череду обыкновенных будничных дел. Нет, это скорее некий придаток, некое приложение, которому в книге даже и не найдется места; ну а сама книга и рассказ о его жизни будут продолжаться, будут развиваться, словно ничего не случилось, не правда ли?

Бернар поднялся к себе в комнату, которую он занимает вместе с Борисом. Тот крепко спит. Какой он еще ребенок! Бернар разбирает свою постель, мнет простыни, чтобы не вызвать у мальчика каких-либо подозрений. Потом долго умывается. Но вид Бориса возвращает его в Саас-Фе. Он вспоминает слова Лоры: «Я могу принять от вас только это благоговение, которое вы мне предлагаете. Остальное же будет предъявлять свои требования, которые придется удовлетворять где-то еще». Эта фраза возмущала его. Ему кажется, что он слышит ее еще и сейчас. Он было и думать об этом забыл, но сегодня утром память у него необычайно свежа и активна. Помимо его воли мозг работает с удивительной быстротой. Бернар пытается прогнать образ Лоры, хочет заглушить эти воспоминания и, чтобы отвлечься от них, хватает учебник и заставляет себя готовиться к экзамену. Но в комнате он задыхается. Поэтому выходит заниматься в сад. Ему хочется выйти на улицу, походить, побегать, выйти на простор, продышаться. Он наблюдает за калиткой и, как только портье открывает ее, выбирается на улицу.

Он идет со своей книгой в Люксембургский сад и садится на скамейку. Мысль его разматывается легко, словно шелковая нить, но нить эта очень непрочна, и стоит ему потянуть за нее, как она тут же рвется. Когда он пытается сосредоточить свое внимание на занятиях, между ним и книгой начинают витать нескромные воспоминания, причем воспоминания не о пронзительных моментах наслаждения, а о каких-то мелких, мелочных и нелепых подробностях, которые больно задевают, ранят, терзают его самолюбие. Впредь он уже не будет таким новичком.

В девять часов он встает и идет на встречу с Люсьеном Беркаем. Потом они вместе направляются к Эдуару.

Эдуар жил в Пасси, на самом последнем этаже. Спальня его сообщалась с просторным рабочим кабинетом. Когда рано утром Оливье встал, Эдуар поначалу не проявил никакого беспокойства.

— Пойду-ка полежу на диване,— сказал Оливье.

Поскольку Эдуар боялся, как бы он не простудился, то предложил Оливье захватить с собой одеяла. Чуть позже встал и Эдуар. Похоже, он сам того не заметил, как заснул опять, и теперь удивился, увидев, что уже давно наступил день. Ему захотелось посмотреть, как Оливье устроился, захотелось увидеть его, а может быть, его вело какое-то неопределенное предчувствие...

Кабинет был пуст. На диване лежали неразвернутые одеяла. Он ощутил жуткий запах газа. К кабинету примыкала маленькая комнатка, служившая ванной. Запах явно шел из нее. Он бросился туда, но ему не сразу удалось открыть дверь; что-то преграждало путь: это оказалось тело Оливье, лежавшее у самой ванны, раздетое, ледяное, посиневшее, ужасно перепачканное рвотной массой.

Эдуар тут же закрыл кран газовой колонки, откуда шел газ. Что произошло? Несчастный случай? Удушье?.. *Не верилось. Ванна была пуста. Он взял умирающего на* руки, отнес его в кабинет, положил на ковер перед распахнутым настежь окном. Опустившись рядом на колени, начал осторожно его выслушивать. Оливье еще дышал, но слабо. Тогда Эдуар *предпринял* отчаянную попытку возродить еле-еле тлеющую и готовую погаснуть жизнь: он стал ритмично поднимать и опускать омертвелые руки, надавливать на бока, растирать грудную клетку, перепробовал все то, что, как он припоминал, следует делать в случае удушья, и сокрушался, что у него нет возможности делать все это одновременно. Глаза Оливье были попрежнему закрыты. Эдуар пытался пальцем приподнять веки, но они тут же падали, прикрывая безжизненный взгляд. Однако сердце билось. Ни коньяка, ни солей в доме не нашлось. Эдуар подогрел воду, вымыл ему верх тела и лицо. Потом положил бесчувственное тело на диван и накрыл его одеялами. Хотел было позвать врача, но не решился оставить больного одного. Каждое утро к нему приходила служанка убирать квартиру, но она приходила в девять. И как только пришла, Эдуар отправил ее за местным врачом, но тут же вернул обратно, опасаясь судебного расследования.

Между тем Оливье медленно возвращался к жизни. Эдуар присел рядом с ним у изголовья дивана. Он смо-

трел на его похожее на маску лицо и тщетно пытался разгадать его загадку. Почему? Почему? Можно совершать безрассудные поступки вечером, в состоянии опьянения, а решения, принимаемые ранним утром, обычно бывают обдуманными. Он отказался что-либо понять в ожидании того момента, когда Оливье сможет сам что-либо ему объяснить. А пока нельзя было ни на минуту оставлять его одного. Он взял его за руку и сосредоточил в этом прикосновении все свои вопросы, свою мысль, свою жизнь. Наконец ему показалось, что рука Оливье слабо ответила на его пожатие... Тогда он нагнулся и прижался губами к его лбу, отмеченному печатью какого-то необъятного и таинственного страдания.

В дверь позвонили. Эдуар пошел открывать. Это оказались Бернар и Люсьен Беркай. Эдуар задержал их в прихожей и рассказал им о случившемся, потом, обращаясь отдельно к Бернару, спросил, не наблюдалось ли у Оливье каких-либо головокружений, припадков... Бернар сразу вспомнил беседу, состоявшуюся у них накануне, и в частности некоторые высказывания Оливье, которого тогда он почти не слышал, но зато совершенно отчетливо слышал теперь.

— Это я заговорил с ним о самоубийстве,— сказал он Эдуару.— Я спросил его, понимает ли он, что можно убить себя просто от избытка жизни, «от восторга», как говорил Дмитрий Карамазов. Я был весь погружен в свои мысли и придавал значение только своим собственным словам, но сейчас я вспоминаю, что он мне ответил.

— И что же он ответил?— настаивал Эдуар, поскольку Бернар замолчал и казалось не собирался продолжать.

— Что он понимает, как можно покончить жизнь самоубийством, но только в том случае, если удастся достичь такой вершины счастья, что потом все будет все равно идти по нисходящей.

Эдуар и Бернар смотрели друг на друга, не произнося больше ни слова. Они оба вдруг поняли. Наконец Эдуар отвел взгляд в сторону, и Бернар пожалел о своих словах. Они подошли к Беркаю.

— Неприятно только то,— сказал Беркай,— что могут подумать, будто он захотел покончить жизнь самоубийством, чтобы не драться на дуэли.

Эдуар уже и думать забыл про эту дуэль.

— Продолжайте действовать так,— сказал он,— как будто ничего не произошло. Идите к Дюрмеру и попросите его связать вас с его секундантами. И с ними объясни-

тесь, если эта дурацкая история не разрешится каким-то образом сама собой. Дюрмер не очень-то рвался в бой.

— Мы ничего не будем ему рассказывать,— сказал Люсьен,— чтобы весь позор за отказ драться лег на него. Я более чем уверен, что он увильнет.

Бернар спросил, нельзя ли ему увидеть Оливье. Эдуар, однако, счел, что сейчас лучше оставить его в покое.

Бернар и Люсьен собирались уже уходить, когда вдруг появился малыш Жорж. Он был у Пассавана, но вещи своего брата забрать не смог.

— Господин граф ушел,— ответили ему.— Никаких распоряжений он нам не оставлял.

И лакей захлопнул дверь у него перед носом.

Серьезный тон Эдуара и не менее серьезное выражение лиц его собеседников обеспокоили Жоржа. Он почуял, что здесь что-то не так, стал расспрашивать. Эдуару пришлось все ему рассказать.

— Но только не говори ничего родителям.

Жорж был в восторге оттого, что ему открыли секрет.

— Язык за зубами я держать умею,— сказал он.— И поскольку дел у него на это утро больше никаких не намечалось, он предложил Бернару и Люсьену сопровождать их к Дюрмеру.

Распрощавшись с тремя посетителями, Эдуар позвал служанку. Рядом с его спальней находилась гостевая комната; он попросил приготовить ее, чтобы там мог обосноваться Оливье. Потом, стараясь не шуметь, возвратился в кабинет. Оливье спал. Эдуар снова сел рядом с ним. Взял было книгу, но вскоре отложил ее, даже не раскрывая, и стал глядеть на своего спящего друга.

X

> Нет ничего простого в том, что дается душе; и душа тоже никому не дается простая.
>
> *Паскаль*

— Я думаю, что он будет рад увидеться с вами,— сказал Эдуар Бернару на следующий день.— Сегодня утром он уже меня спрашивал, не приходили ли вы вчера. Вероятно, он слышал ваш голос в тот момент, когда я полагал, что он без сознания... Он лежит с закрытыми глазами, но не спит. И ничего не говорит. Часто дотрагивается

рукой до лба из-за боли. Когда я обращаюсь к нему, лоб его морщится, но едва я отхожу, как он зовет меня и просит сесть рядом... Нет, он не в кабинете. Я поселил его в комнате, смежной с моей спальней, чтобы принимать посетителей, не боясь побеспокоить его.

Они вошли туда.

— Я пришел узнать, как твое здоровье,— очень тихо сказал Бернар.

Когда Оливье услышал голос друга, черты его оживились. Это была уже почти улыбка.

— Я ждал тебя.

— Если тебе тяжело, я лучше пойду.

— Останься.

Однако, произнося это слово, Оливье приложил палец к губам. Он показывал, чтобы с ним не разговаривали. Бернар, которому через три дня предстояло сдавать устный экзамен, теперь всюду носил с собой один из тех учебников, где в виде густого эликсира подавалась вся горькая премудрость его экзамена. Он расположился рядом с ложем своего друга и погрузился в чтение. Оливье повернулся лицом к стенке и казался спящим. Эдуар ушел к себе в комнату и лишь время от времени появлялся в проеме оставшейся открытой двери. Каждые два-три часа он приносил Оливье чашку молока, но это оказалось возможным только с сегодняшнего утра. А в течение всего вчерашнего дня желудок больного ничего не принимал.

Прошло много времени. Бернар встал и собрался уходить. Оливье обернулся, протянул ему руку и, стараясь улыбнуться, сказал:

— Завтра придешь?

В последний момент он его окликнул, знаком попросил наклониться, словно опасаясь, что голос его не удастся расслышать, и тихо-тихо произнес:

— Нет, ты только подумай, какой же я дурак!

Потом, как бы упреждая возражения Бернара, снова поднес палец к губам:

— Нет, нет... Не сейчас, я потом вам объясню.

На следующий день Эдуар получил письмо от Лоры и, когда Бернар зашел снова, дал его ему почитать.

«Мой дорогой друг,

Пишу Вам в страшной спешке, чтобы **постараться** не дать **случиться** нелепому несчастью. *Я уверена, что Вы*

мне поможете, если только письмо дойдет до Вас своевременно.

Феликс только что уехал в Париж и собирается с Вами встретиться. Он намеревается получить от Вас разъяснения, которые не смог получить от меня, хочет узнать от Вас имя одного человека, чтобы вызвать его на дуэль. Я сделала все, что могла, пытаясь его удержать, но его решение непоколебимо, и все, что я говорю, только делает его еще более непоколебимым. Вы, может быть, единственный человек, которому удастся разубедить его. Он верит Вам, и Вас он послушает, во всяком случае, я надеюсь. Ведь Вы понимаете, он в жизни не держал в руках ни пистолета, ни рапиры. Мне невыносима даже мысль, что он из-за меня будет рисковать жизнью, но особенно я боюсь, мне прямо стыдно в этом признаться, боюсь, что он окажется в смешном положении.

С тех пор как я вернулась, Феликс со мной неизменно нежен, ласков, предупредителен, но я же не могу притворяться, что люблю его больше, чем это есть на самом деле. Он страдает от этого, и у меня есть подозрение, что на этот шаг — который Вам, естественно, покажется опрометчивым, но о котором на самом деле он думает день и ночь, вплоть до того, что это превратилось у него в настоящую навязчивую идею,— его подталкивает желание добиться моего уважения и восхищения. Меня он, конечно, простил, но того, другого, смертельно возненавидел.

Прошу Вас встретить его столь же приветливо, как Вы встретили бы меня; это будет самым убедительным доказательством Вашей ко мне дружбы. Простите меня, что я не писала Вам раньше, что не поторопилась выразить мою огромную признательность за Вашу доброту и заботы, которыми я была окружена во время нашего пребывания в Швейцарии. Воспоминание об этом времени согревает меня и помогает мне переносить жизнь.

Ваш неизменно беспокойный и преданный Вам друг
Лора».

— И что же вы собираетесь делать? — спросил Бернар, возвращая письмо.

— А что, по-вашему, я должен делать? — ответил Эдуар, несколько раздраженно, причем не столько вопросом Бернара, сколько тем, что и сам уже задал его себе.— Если он появится, то я приму его наилучшим образом. Если попросит совета, дам ему самую лучшую, на какую

только способен, консультацию и постараюсь убедить его, что самое лучшее для него — это не поднимать никакого шума. Ошибка людей вроде этого бедняги Дувье состоит в том, что они всегда пытаются вылезать вперед. Если бы вы знали его, вы бы присоединились к моему мнению, уверяю вас. Лора, та рождена для первых ролей. Каждому из нас достается своя драма — под стать нашему таланту и с той или иной долей трагического. Что тут поделаешь? Драма Лоры состоит в том, то она вышла замуж за статиста. И здесь бессмысленно что-либо предпринимать.

— А драма Дувье,— продолжил его мысль Бернар,— состоит в том, что он взял себе в жены девушку, которая не ему чета, и что бы он ни делал, изменить все равно ничего не сможет.

— Что бы он ни делал...— подхватил как эхо Эдуар,— и что бы ни делала Лора. Удивительно здесь то, что Лора, сожалея о своем проступке, раскаиваясь в нем, пыталась было унизить себя перед ним, но он тут же простирался еще ниже ее, и как они ни старались, в результате получалось, что он мельчал еще больше, а она возвеличивалась.

— Мне очень жаль его,— сказал Бернар.— Но только почему вы не допускаете мысли, что он, простираясь, тоже возвеличивается?

— Потому что ему не хватает лиризма,— категорично сказал Эдуар.

— Что вы имеете в виду?

— То, что, подвергаясь каким-либо испытаниям, он никогда не забывается и поэтому никогда не испытывает ничего великого. Только давайте лучше не будем об этом. У меня есть кое-какие соображения, но оценивать их сложно, да и не хотел бы я этого делать. У Поль-Амбуаза есть привычка говорить, что он соглашается принимать в расчет лишь то, что можно выразить в цифрах, из чего я делаю вывод, что он зачарован словом «расчет», поскольку тогда — или, как говорят, в конечном счете — Богом можно вообще пренебречь. Как раз к этому он и склоняется, этого он и желает... Кстати, вот: мне кажется, что лиризмом я называю состояние человека, соглашающегося потерпеть поражение от Бога.

— А не это ли состояние обозначается словом «энтузиазм»?

— И может быть, еще словом «вдохновение». Да, я именно это и хочу сказать. Дувье — это человек неспо-

собный на вдохновение. Я согласен с Поль-Амбуазом, с его утверждением, что мало есть на свете вещей столь же опасных для искусства, как вдохновение; и я охотно соглашаюсь с тем, что художником можно стать, лишь уняв свое лирическое волнение, но, чтобы его унять, нужно сперва его испытать.

— А не кажется ли вам, что такое состояние благодати вполне объяснимо физиологически как...

— Великолепно! — прервал его Эдуар.— Подобные соображения, хотя они и справедливы, годятся только для того, чтобы смущать глупцов. Мистических импульсов, у которых бы не было материальной основы, естественно, не существует. Ну и что из этого? Дух, желающий заявить о себе, без материи обойтись не может. Отсюда таинство воплощения.

— А вот материя без духа вполне обходится.

— Ну, об этом нам ничего не известно,— сказал Эдуар, смеясь.

Слушая его, Бернар все больше изумлялся. По натуре своей Эдуар был сдержанным человеком. И его сегодняшнее возбуждение, бросающееся в глаза, объяснялось присутствием Оливье. Бернар понял это.

«Он разговаривает сейчас со мной так, как желал бы разговаривать с ним,— подумал он.— Ему нужно было взять себе в секретари Оливье. Как только Оливье поправится, я уйду; мое место не здесь».

При этом он не расстроился; теперь все его мысли были заняты Сарой, с которой он встретился еще раз в прошлую ночь и собирался увидеться в следующую.

— Однако же мы совсем отклонились от Дувье,— сказал Бернар, тоже смеясь.— Вы ему расскажете про Венсана?

— Нет, естественно. Зачем это нужно?

— Не кажется ли вам, что мучения Дувье стократ усиливаются оттого, что он не знает, кого подозревать.

— Возможно, вы и правы. Но только это уж должна говорить ему Лора. Если бы я сказал, я бы предал ее... К тому же я даже и не знаю, где он сейчас находится.

— Венсан?.. Пассаван должен это знать.

Их разговор прервал звонок в дверь. Это пришла узнать о состоянии сына госпожа Молинье. Эдуар принял ее в кабинете.

«Визит Полины. Я находился в затруднении, не зная, как предупредить ее: ведь не мог же я не сообщить ей, что ее сын болен. Я счел излишним рассказывать ей про необъяснимую попытку покончить жизнь самоубийством и сообщил только о сильном приступе печени, который и в самом деле оказался наиболее очевидиым следствием его поступка.

— Когда я узнала, что Оливье у вас, то сразу успокоилась. Думаю, что вы вылечите его не хуже меня, поскольку чувствую, что любите его так же сильно, как я.

Произнося эти последиие слова, она посмотрела на меня с какой-то загадочной пристальностью. Действительно она вложила в свой взгляд особый смысл или мне только показалось? По отношению к Полине у меня была, что называется, совесть не чиста, и я сумел пробормотать лишь нечто совершенно невнятное. Нужно сказать, что, перенасытившись за последние два дня различного рода эмоциями, я утратил всякую способность держать себя в руках; вероятно, мое смятение отразилось и у меня иа лице, так как она добавила:

— Ваш румянец говорит сам за себя... Мой бедный друг, не ждите от меня упреков. Я стала бы упрекать вас, если бы вы не любили его... Можно, я взгляну на него?

Я ввел ее в комнату Оливье; Бернар, услышав нас, вышел.

— Как он прекрасен! — прошептала она, наклонившись над кроватью. Потом, обернувшись ко мне, добавила: — Поцелуйте его за меня. А то я боюсь разбудить его.

Полина все-таки необыкновенная женщина. Причем эта мысль возникла у меня не сегодня. Однако на такое поразительное понимание я уж никак не рассчитывал. Правда, несмотря на сердечные слова и прозвучавшую в ее голосе игривость, мне показалось, что я заметнл у нее и какую-то скованность (может быть, связанную с предпринимаемыми мною усилиями скрыть свое смущение); и тут я вспомнил одну ее фразу из нашей недавней беседы, фразу, показавшуюся мне весьма мудрой даже тогда, когда у меня еще не было никаких причин соотносить ее с собой: «Я предпочитаю соглашаться добровольно на то, чему не в силах помешать». Так что Полина настраивала себя на добровольность, и, когда мы вернулись в кабинет, она, как бы отвечая на мою невысказанную мысль, сказала:

— Боюсь, что я шокировала вас сейчас, когда не пожелала почувствовать себя шокированной. Есть некоторые сферы вольномыслия, где мужчины претендуют на сохранение монополии. Тем не менее не могу же я притворяться, что сужу вас строже, чем это есть на самом деле. Жизнь многому меня научила. Я поняла, до какой степени чистота мальчиков оказывается хрупкой даже тогда, когда кажется, что ей абсолютно ничто не угрожает. Кроме того, я вовсе не думаю, что самые лучшие или же самые верные мужья выходят из целомудренных юношей, увы! — добавила она с грустной улыбкой.— И наконец, пример их отца заставляет меня надеяться, что у них будут все-таки иные добродетели. Главное, чего я боюсь,— это разврата и каких-нибудь пагубных связей. Оливье так легко поддается любому влиянию. А вы будете считать своим долгом удерживать его. Я уверена, что ваше влияние на него будет благотворным. Зависит только от вас...

От таких речей я даже смутился.

— О, я вовсе не такой хороший, каким вы меня изображаете.

Это все, что я нашелся ответить; получилось и пошло, и фальшиво. А она продолжала с очаровательным изяществом:

— Вы станете лучше благодаря Оливье. Чего только не добьешься от себя, когда любишь?

— А Оскар знает, что он у меня? — спросил я, стараясь добиться еще большей ясности между нами.

— Он не знает даже, что он в Париже. Я же вам сказала, что он практически не занимается своими сыновьями. Потому-то я и рассчитываю на вас, чтобы вы побеседовали с Жоржем. Может быть, вы уже поговорили с ним?

— Нет, пока что нет.

На лицо Полины внезапно набежала тень.

— Я беспокоюсь все больше и больше. Он выглядит сейчас очень самостоятельным, но за этой самостоятельностью я вижу только беспечность, цинизм и самомнение. Занимается он хорошо, преподаватели им довольны; получается как бы, что моя тревога совершенно безосновательна...

И вдруг спокойствие ее как рукой сняло; она заговорила с такой запальчивостью, что я едва узнавал ее.

— Вы только представьте себе, во что превратилась моя жизнь. Каждый год я все больше и больше ограничивала себя в своих надеждах на счастье; одну за другой ужимала их, урезала. Шла на уступки, терпела, притворя-

лась ничего не понимающей, ничего не видящей... Ну да ладно, за что-то все-таки держишься; а вот когда и эта малость от тебя тоже ускользает!.. По вечерам он занимается рядом со мной, возле лампы; и вот когда время от времени он поднимает голову над книгой, то в глазах его я вижу никакую не любовь, а вызов. Вот уж чего я совсем не заслужила... Иногда мне даже кажется, что вся моя любовь к нему вдруг превращается в ненависть; в такие минуты жалеешь, что у тебя есть дети.

Голос ее дрожал. Я взял ее за руку.

— Оливье вознаградит вас, ручаюсь вам.

Она сделала над собой усилие и попыталась успокоиться.

— Да, я просто перестаю соображать; говорю так и совсем забыла, что сыновей у меня трое. Когда начинаешь думать об одном из них, то других перестаешь видеть... Вы, конечно, скажете, что я глупая... Но иногда обнаруживаешь, что ум — это еще не все.

— А мне больше всего в вас нравится как раз ваш ум,— плоско заметил я, пытаясь успокоить ее.— Когда мы беседовали, вы так мудро говорили об Оскаре.

Полина резко выпрямилась. Она посмотрела на меня и пожала плечами.

— Так уж повелось считать, что чем смиреннее женщина себя ведет, тем разумнее она выглядит!— раздраженно воскликнула она.

Это замечание неприятно кольнуло меня именно своей справедливостью. Чтобы не показать этого, я тут же спросил ее:

— С письмами ничего нового?

— Нового? Нового!.. А что может быть нового между Оскаром и мной?

— Он ждал объяснения.

— А я тоже ждала объяснения. Мы только тем и занимаемся, что всю жизнь ждем объяснений.

— Но ведь у Оскара это оттого, что он чувствует себя в ложном положении,— сказал я немного раздосадованно.

— Друг мой, вы же прекрасно понимаете, что ничто не увековечивается более надежно, чем ложные ситуации. Вы, писатели, занимаетесь тем, что пытаетесь их разрешать. А в жизни ничто не разрешается, все остается. Мы живем в неуверенности; так до самого конца и не знаешь, как все воспринимать; а жизнь тем временем идет, идет, как будто ничего и не было. И с этим тоже смиряешься,

как со всем остальным... как вообще со всем. Ладно, прощайте.

У меня возникло тягостное ощущение от некоторых непривычных интонаций в ее голосе; от какой-то агрессивности, заставившей меня предположить (скорее всего, не сразу, а когда я вспоминал наш разговор), что с моими взаимоотношениями с Оливье Полина смирилась вовсе не так легко, как она это утверждала; не так легко, как со всем остальным. Хочется надеяться, что она все-таки не осуждает их, что в каком-то отношении, как она сама дала мне понять, даже приветствует их, но при этом одновременно испытывает — может быть, совершенно бессознательно — что-то вроде ревности.

Во всяком случае, мне трудно найти другое объяснение этому всплеску возмущения, которое проявилось у нее сразу, как только мы переключились на другую тему, волновавшую ее, конечно же, гораздо меньше. Можно предположить, что, уступив мне сначала то, чем дорожила в большей степени, она сразу истощила весь свой запас снисходительности и осталась вдруг без ничего. Отсюда выдававшие ее ревность несдержанные, почти невнятные речи, которым потом, вспоминая наш разговор, она, должно быть, немало поднивилась и сама.

Я тут задумался, а в каком же состоянии пребывает женщина, отказывающаяся смириться? Речь идет, естественно, о «порядочной» женщине... Как если бы то, что называют у женщин «порядочностью», уже не предполагало обязательного наличия смирения!

К вечеру Оливье почувствовал себя значительно лучше. Однако жизнь, возвращаясь, приносит с собой тревоги. Я как могу стараюсь его успокоить.

Его дуэль? — Дюрмер сбежал за город. Не разыскивать же его там.

Журнал? — Журналом занимается Беркай.

Оставленные у Пассавана вещи? — Это самый деликатный вопрос. Пришлось признаться, что Жоржу забрать их не удалось, но я пообещал, что завтра же отправлюсь за ними сам. Мне показалось, он опасается, как бы Пассаван не удержал их у себя в качестве залога; вот чего я не могу допустить ни при каких условиях».

Вчера, написав эти страницы, я немного задержался в кабинете и вдруг услышал голос звавшего меня Оливье. Я бросился к нему.

— Не будь я так слаб, я бы сам пришел,— сказал он.— Хотел было встать, но, как только становлюсь на ноги, у меня начинает кружиться голова и появляется страх, что я сейчас упаду. Нет-нет, никакого недомогания, напротив... Просто я хотел с тобой поговорить.

Ты должен пообещать мне одну вещь... Никогда не пытаться узнать, почему позавчера я вздумал покончить жизнь самоубийством. Мне кажется, я уже и сам не знаю. Я хотел бы сказать, честное слово, но не сумел бы... Только не думай, пожалуйста, что это связано с чем-то таинственным, с каким-то случившимся в моей жизни и неизвестным тебе происшествием.— Потом он добавил чуть тише: — И не думай также, что это из-за стыда...

Несмотря на то что было уже темно, он спрятал лицо у меня на плече.

— Если я чего-то стыжусь, так это того, что произошло на банкете: своего опьянения, своей вспыльчивости, своих слез и этих летних месяцев... и того, что так плохо ждал тебя.

Потом он заверил меня, что отказывается себя узнавать во всем этом, что это-то он и хотел убить и действительно убил, вычеркнул из своей жизни.

Само возбуждение его говорило о том, насколько он еще слаб, и я, не говоря ни слова, баюкал его, как ребенка. Он, похоже, нуждался в отдыхе, и его молчание позволяло мне надеяться, что он вот-вот уснет, но тут я услышал его шепот:

— Рядом с тобой я слишком счастлив, чтобы спать.

Он позволил мне уйти лишь к утру.

XI

Бернар в это утро пришел очень рано. Оливье еще спал. Бернар, как и в предыдущие дни, сел рядом с кроватью и стал читать книгу, что позволило Эдуару отойти от больного и съездить, как он и обещал, к графу де Пассавану. Он был уверен, что в этот ранний час застанет его дома.

Ярко светило солнце, порывистый ветер срывал с деревьев последние листья, и все казалось прозрачным, лазурным. За последние три дня Эдуар ни разу не выходил на улицу. Его сердце распирала огромная радость; ему даже казалось, что все его существо, словно какая-то открытая и опорожненная оболочка, плывет по всеобъемлющему морю, по божественному океану доброты. От любви

и прекрасной погоды наши контуры становятся такими неопределенными...

Эдуар знал, что для того, чтобы привезти вещи Оливье, ему понадобится таксомотор, но он не торопился брать его, желая насладиться ходьбой. Состояние благоволения ко всей природе не слишком располагало его к борьбе с Пассаваном. Он говорил себе, что должен проклинать его, и мысленно перебирал все свои обиды, но уколы от них уже не были болезненными. Этого столь ненавистного еще вчера соперника он победил, причем настолько явно, что уже не мог его ненавидеть. Во всяком случае, не мог ненавидеть этим утром. А так как одновременно интуиция подсказывала ему, что ни единая деталь этой перемены не должна бросаться в глаза, что, разоружившись, он рискует навредить своему счастью, то ему захотелось уклониться от встречи. Ведь в самом деле, какого черта идет туда именно он, Эдуар? Вот явится он на улицу Бабилон и потребует вещи Оливье, а на каком основании? Эдуар шел и размышлял, что согласился выполнить эту миссию совершенно опрометчиво, поскольку получится, что, собираясь было скрыть, что Оливье перебрался к нему, он, напротив, сделает это для всех очевидным. Однако отступать поздно: он дал обещание Оливье. Сейчас нужно хотя бы держаться с Пассаваном похолоднее и порешительнее. Он остановил проезжавшее мимо такси.

Эдуар плохо знал Пассавана. Не имел понятия об одной из черт его характера. Пассавана никому не удавалось захватить врасплох; он терпеть не мог, чтобы его в чем-то опережали. Дабы не признавать своих поражений, он притворялся, что во всем является хозяином своей судьбы, и, как бы ни складывалась ситуация, делал вид, что случившееся отвечает его пожеланиям. Поняв, что Оливье от него ускользает, он положил все усилия, чтобы никто не заметил охватившего его бешенства. Опасаясь оказаться в смешном положении, он не пустился за ним в погоню, а подтянулся и заставил себя пожать плечами. Его чувства никогда не были настолько сильны, чтобы он не мог с ними справиться. Некоторые радуются подобному умению держать себя в руках и не соглашаются признавать, что зачастую оно объясняется не столько силой их характера, сколько хилостью их темперамента. Я отнюдь не собираюсь делать обобщения: будем считать, что сказанное относится лишь к Пассаваиу. Итак, тот без особого труда убедил себя в том, что Оливье ему уже надоел,

что за два летних месяца он уже исчерпал все положительные моменты приключения, рисковавшего внести большие осложнения в его жизнь, что, в сущности, он переоценил красоту, грацию и интеллектуальные способности этого юноши, и даже в том, что пора наконец трезво оценить все неудобства, которые неминуемо должны возникнуть, если журналом будет руководить такой молодой и неопытный человек. Так что, хорошо все взвесив, он пришел к выводу, что Струвилу справится с делом лучше: в качестве главного редактора журнала, разумеется. Он только что написал ему письмо и пригласил зайти этим же утром.

Добавим еще, что Пассаван ошибался относительно истинной причины бегства Оливье. Он решил, что возбудил в нем ревность, начав чересчур активно ухаживать за Сарой; будучи по натуре своей человеком тщеславным, он остановился на этом льстящем его самолюбию предположении, и раздражение его прошло.

Поскольку он ждал Струвилу и распорядился ввести гостя сразу же, как только тот появится, то Эдуара впустили даже без доклада.

Пассаван ничем не выдал своего удивления. К счастью для него, та роль, которую ему предстояло играть, соответствовала его натуре и никак не нарушала ход его мыслей. Поэтому стоило Эдуару сообщить ему о цели своего визита, как он тут же заявил:

— Как я рад тому, что вы мне говорите. Это правда? Вы согласны им заняться? Это вас не слишком затруднит?.. Оливье прелестный юноша, но его присутствие здесь становилось для меня несколько обременительным. Я не решался намекать ему... Он такой милый. Я ведь знал, что к родителям возвращаться ему не хотелось бы... Родители, вы сами знаете, расставшись с ними однажды... Кстати, если я не ошибаюсь, его мать является вашей сводной сестрой?.. Или что-то в этом роде? Я помню, Оливье мне что-то говорил. И получается все очень естественно, то, что он живет у вас. Никому и в голову не придет усмехаться. (Произнося эти слова, он не преминул усмехнуться.) Вы понимаете, когда он жил у меня, все выглядело более неприлично. К слову сказать, это тоже было одной из причин моего желания, чтобы он куда-нибудь переехал... Хотя у меня, в общем-то, нет такой привычки: придавать значение общественному мнению. Нет, это было скорее в его интересах...

Беседа началась вполне нормально, но коварный Пас-

саван не устоял перед искушением и постарался подлить в счастье Эдуара несколько капелек яда. Он всегда хранил их про запас: никогда не знаешь, чего можно ожидать...

Эдуар почувствовал, что терпение его подходит к концу. Но тут он вдруг вспомнил про Венсана, о котором Пассаван должен был располагать какими-нибудь сведениями. Он, конечно, твердо решил, что если вдруг Дувье обратится к нему с расспросами, то о Венсане он ему ничего не скажет; однако ему все же казалось, что чем лучше он будет осведомлен, тем легче ему будет уклоняться от вопросов; знание укрепляет позицию. Он воспользовался предлогом и переменил тему разговора.

— Сам Венсан мне не писал,— сказал Пассаван,— но зато я получил письмо от леди Гриффит, вы знаете, от заместительницы госпожи Дувье, где много говорится о нем. Вот оно, это письмо... В конце концов, почему бы вам с ним не ознакомиться?

Он протянул ему письмо. Эдуар прочитал:

«25 августа

My dear,

Из Дакара яхта князя поплывет без нас. Кто знает, где мы будем, когда вы получите это увозимое ею письмо? Возможно, на берегах Казаманса, где Венсан хотел бы пополнить свой гербарий, а я поохотиться. Я даже уже не знаю, я ли его увожу или он меня, хотя, скорее всего, это какой-то демон приключений преследует нас обоих одновременно. Нас представил ему демон скуки, с которым мы познакомились на борту... Ах, dear, нужно пожить на яхте, чтобы по-настоящему узнать, что такое скука. Во время шквала жизнь еще кажется более или менее сносной: по крайней мере качаешься вместе с судном. Но зато начиная от Тенерифа — ни малейшего ветерка, ни единой морщинки на море,

...великом зеркале
Страданья моего.

А знаете, чем я с тех пор занимаюсь? Ненавистью к Венсану. Да, дорогой мой, любовь нам показалась слишком безвкусной, и мы решили друг друга ненавидеть. Честно говоря, началось это гораздо раньше; да, сразу же, как только мы оказались на борту; сначала это было обыкновенное раздражение, глухая враждебность, не препятствовавшая рукопашным схваткам. А с наступлением хорошей погоды мы ожесточились. Ах, вот теперь я поняла,

что это такое: испытывать к кому-то настоящую страсть...»

Письмо было длинное.

— Достаточно, мне и так все ясно,— сказал Эдуар, передавая его Пассавану.— Когда он возвращается?

— Леди Гриффит про возвращение ничего не пишет.

Пассаван почувствовал себя уязвленным оттого, что Эдуар проявил к письму столь мало интереса. Учитывая, что предложение почитать его исходило от него, Пассавана, подобное отсутствие любознательности следовало расценить как вызов. Отклонить то, что предлагалось ему, он не считал зазорным, но, когда отвергали что-нибудь, предложенное им самим, обижался. Это письмо порадовало его. Он испытывал определенную приязнь к Лилиан и Венсану и даже, как выяснилось, способен был оказывать им содействие и поддержку; однако к тем, кто начинал обходиться без его помощи, его приязнь тотчас же ослабевала. И вот теперь, узнав, что друзья, расставшись с ним, плывут отнюдь не под парусами счастья, он подумал: вот и хорошо.

Что же касается Эдуара, то его радостное утреннее настроение было слишком искренним, чтобы он не почувствовал неловкости перед картиной подобной эмоциональной одержимости. Так что, возвращая письмо, он не вкладывал в свой жест никакого особого смысла.

Ну а Пассавану важно было опять взять инициативу в свои руки.

— Кстати, я хотел еще вам сказать: вы ведь знаете, что я думал поручить Оливье руководить одним журналом? Естественно, теперь об этом не может быть и речи.

— Это уж само собой разумеется,— тут же парировал Эдуар, с которого Пассаван невольно снял тяжкий груз. По тону Эдуара он понял, что облегчил его положение, и тут же, не давая себе времени огорчиться, сказал:

— Вещи, оставленные Оливье, находятся в комнате, которую он занимал. Вы на такси, конечно? Вам туда сейчас их принесут. Кстати, как он поживает?

— Великолепно.

Пассаван встал... Эдуар тоже. И, холодно попрощавшись, они расстались.

Визит Эдуара оставил у графа де Пассавана весьма неприятный осадок.

— Уф!— воскликнул он, увидя входящего Струвилу.

Хотя Струвилу умел за себя постоять, Пассаван чув-

ствовал себя в разговоре с ним непринужденно, или, точнее, он с ним раскрепощался. Тот, конечно, был достойным противником, и Пассаван знал это, но, чувствуя в себе силу, довольно охотно бросал вызов.

— Мой дорогой Струвилу, садитесь же,— сказал он, пододвигая к нему кресло.— Искренне рад видеть вас вновь.

— Господин граф изволили меня звать. Я весь к их услугам.

У Струвилу была манера разговаривать с ним нагловатым лакейским тоном, но Пассаван охотно с этим мирился.

— Прямо к делу; как сказал один человек, давайте вылезем из-под кровати. Вы перепробовали уже немало профессий... А сегодня я хотел бы предложить вам настоящий диктаторский пост. Правда, оговорюсь, что речь идет всего лишь о литературе.

— Что ж,— ответил тот. Затем, когда Пассаван протянул ему свой портсигар, сказал: — Если позволите, я предпочитаю...

— Не позволю ни в коем случае. Своими жуткими контрабандными сигарами вы мне провоняете всю комнату. Я так никогда и не пойму, что за удовольствие можно находить в курении этой гадости.

— О, сказать, что я от них в восторге, я бы не решился. Но зато от них шарахаются соседи.

— Вы все тот же фрондер?

— А вам что, приятнее было бы видеть во мне идиота?

И, не ответив прямо на предложение Пассавана — потом, мол, посмотрим,— Струвилу счел необходимым изложить свою точку зрения и определить свою позицию. Он продолжал:

— Филантропом я никогда не был.

— Знаю, знаю,— сказал Пассаван.

— И эгоистом тоже. Вот этого-то вы не знали... Нас хотели бы заставить поверить, что для человека единственным спасением от эгоизма может быть только альтруизм, который по мерзости даст ему сто очков вперед! Что касается меня, то я считаю, что на свете есть только одна вещь еще более презренная и еще более отвратительная, чем человек,— это множество людей. Никакая система доказательств не убедит меня, что при соединении гнусных компонентов должно получиться отменное целое. Стоит мне войти в трамвай или в поезд, как я тут же начинаю мечтать о хорошеньком крушении, превращаю-

щем в месиво всю эту кишащую сволочь — о, включая меня, черт побери; стоит мне войти в какой-нибудь зал, где устраиваются спектакли, как у меня тут же возникает желание, чтобы упала люстра или взорвалась бомба; и если бы я не готовил себя к чему-то более высокому, то не задумываясь пронес бы сам эту бомбу под полой пиджака, чтобы взлететь на воздух вместе со всеми. Вы что-то сказали?..

— Нет, ничего; продолжайте, я вас слушаю, вы не из тех ораторов, которым для того, чтобы тронуться в путь, нужна плетка противоречия.

— А мне послышалось, что вы предложили мне рюмку своего бесподобного портвейна.

Пассаван улыбнулся.

— Можете оставить бутылку рядом с собой,— сказал он, подавая ее Струвилу.— Можете вообще опорожнить ее, но только говорите.

Струвилу налил себе портвейна, устроился поудобнее в глубоком кресле и продолжил:

— Не знаю, может быть, у меня действительно то, что называется черствым сердцем; во мне слишком много негодования и возмущения, чтобы согласиться с этим, а впрочем, мне безразлично. Правда, я с давних пор старался изгонять из этого органа все, что грозило размягчить его. Тем не менее мне не чужды ни восхищение, ни своего рода абсурдное самозабвение; ведь недаром же, будучи человеком, я презираю и ненавижу себя нисколько не меньше, чем всех остальных. Я то и дело слышу со всех сторон, что литература, искусство, науки в конечном счете способствуют процветанию человечества; так что уже одного этого мне хватает, чтобы возненавидеть их. Но ничто не мешает мне повернуть это предложение другой стороной, и вот тут уж я дышу полной грудью. Да, мне-то как раз приятнее представлять себе порабощенное человечество, сооружающее какой-нибудь кровавый монумент; вообразите себе, скажем, Бернара Палисси (о котором нам все уши прожужжали), сжигающим жену, детей и самого себя, чтобы получить лак для росписи какого-нибудь прекрасного блюда. Люблю поворачивать задачи другой стороной; ничего не поделаешь, у меня такой склад ума, что, перевернув их вверх ногами, я добиваюсь лучшего равновесия. И если мне противна мысль о том, что Христос пожертвовал собой ради бессмысленного спасения всех этих гнусных людишек, среди которых я живу, то, представляя себе мысленно, как этот гниющий сброд по-

рождает Христа, я все же испытываю некоторое удовлетворение и даже своего рода просветление... хотя я предпочел бы нечто иное, потому что все учение Христа оказалось годным лишь на то, чтобы погрузить человечество еще глубже в трясину. Несчастье идет от эгоизма жестоких людей. В то время как от самоотверженной жестокости можно было бы добиться великолепных результатов. Оберегая несчастных, слабых, рахитичных, раненых, мы поступаем совершенно неправильно; именно поэтому я и ненавижу религию, которая предписывает нам делать это. Великое умиротворение, достигаемое, как признаются даже сами филантропы, при созерцании природы — фауны и флоры,— становится возможным лишь потому, что в диком состоянии процветают лишь сильные особи; а все остальное превращается в отбросы и служит удобрением. Вот только этого почему-то не видят; не желают этого признавать.

— Как же, как же, я охотно признаю. Продолжайте.

— И скажите, разве это не позор, разве не несчастье... то, что человек столько сделал для получения превосходных пород лошадей, домашнего скота, птицы, злаков, цветов, а сам ищет в медицине облегчения своих страданий, в милосердии — успокоения, в религии — утешения и в опьянении — забвения. А работать-то следует над улучшением породы. Однако любая селекция предполагает уничтожение недоброкачественного материала, а на это наше христианнейшее общество ни за что не пойдет. Оно не решается взять на себя даже кастрацию дегенератов, отличающихся, кстати, наибольшей плодовитостью. Нам нужны никакие не больницы, а племенные фермы.

— Черт побери, Струвилу, ваш ход мыслей мне нравится.

— Я боюсь, господин граф, что до настоящего времени вы ошибались на мой счет. Вы принимали меня за скептика, а я ведь идеалист, мистик. Скептицизму еще никогда не удавалось создать что-либо путное. Ни для кого не секрет, что он ведет... к терпимости! Я считаю скептиков людьми без идеала, без воображения, считаю их дураками... И я прекрасно отдаю себе отчет в том, что создание сильной людской породы сопряжено с отмиранием всякого рода утонченных, деликатных чувств; однако никому об этих деликатных чувствах сожалеть не придется, потому что вместе с ними уничтожат и их носителей. Поймите меня правильно, у меня есть то, что называется культурой, и мне хорошо известно, что этот мой идеал на-

метился уже у некоторых древних греков; во всяком случае, я не без удовольствия представляю себе и вспоминаю, что Кора, дочь Цереры, спускалась в ад, преисполненная жалости к теням, а став царицей, супругой Плутона, превратилась, как свидетельствует Гомер, в «неумолимую Прозерпину». Взгляните-ка в «Одиссее», песнь шестая. «Неумолнмый» — таковым должен быть человек, желающий считаться добродетельным.

— Я рад, что вы вернулись к литературе, если, конечно, мы вообще ее покидали. Так вот, добродетельный Струвилу, не согласились бы вы стать неумолимым главным редактором журнала?

— Честно говоря, мой дорогой граф, должен вам признаться, что из всех тошнотворных человеческих выделений литература вызывает у меня наибольшее отвращение. Я вижу в ней лишь инструмент угодливости и лести. И я все больше и больше сомневаюсь в том, что она вообще в состоянии стать чем-то иным, пока не избавится от своего прошлого. В нашей жнзни мы пользуемся сплошь и рядом условными чувствами, которые положено испытывать читателю, верящему любому напечатанному слову; писатель же спекулирует этими условными ценностями, принимаемыми им за основы искусства. Эти чувства звучат фальшиво, как какие-нибудь жетоны, но они в ходу. А поскольку известно, что «фальшивая денежка настоящую прочь гонит», то тот, кто предложит публике неподдельные монеты, будет выглядеть обманщиком, занимающимся суесловием. В мире, где все плутуют, честного человека легко принять за шарлатана. Должен вас предупредить: если я и возьмусь руководить журналом, то только для того, чтобы прокалывать бурдюки, обесценнвать изящные чувства и векселя, называемые словами.

— Интересно, черт побери, как бы вы стали это делать.

— Предоставьте мне свободу действий, и вы увидите. Я уже давненько над этим размышляю.

— Вас никто не поймет, и никто за вами не пойдет.

— Еще как пойдут! Ведь сейчас молодые люди из тех, что посмышленее, уже и так отвергают поэтическую инфляцию. Они поняли, что за затейливыми ритмами и звонкими лирическими куплетами часто нет нничего, кроме пустоты. Будет призыв к разрушению, будут и руки. Хотите, создадим такую школу, которая будет все только ниспровергать?.. Боитесь?

— Нет... если не будут трогать мой сад.

— Пока что много других дел... а потом будет видно.

Время сейчас благоприятное. Я мог бы назвать многих, которым нужен только сигнал сбора, совсем молодые... Да, вам это нравится, я знаю; но только предупреждаю вас, что за нос водить они себя не позволят. Я тут частенько задумываюсь, как это могло случиться, что живопись настолько обогнала литературу, как литература позволила это сделать? Ведь в какой опале оказалось сейчас все, что связано в живописи с «темой»! «Прекрасный сюжет» — разве не смешно звучит? Если кто-то в наши дни и отваживается рисовать портреты, то только такие, где нет ни малейшего сходства. Если мы поведем как следует наше дело — а здесь уж вы можете на меня рассчитывать, — то не пройдет и двух лет, как завтрашние поэты начнут считать себя опозоренными, если кто-то вдруг поймет, что они хотят сказать. Да, господин граф, хотите пари? Любой смысл, любое содержание станут считаться антипоэтическими. Я предлагаю трудиться над разрушением логики. А какое прекрасное название для журнала — «Очистители»!

Пассаван все выслушал не моргнув глазом. Потом, немного помолчав, спросил:

— А ваш юный племянник, он тоже входит в число ваших единомышленников?

— Причем в число самых закаленных; малыш Леон хватает все на лету. Учить его — одно удовольствие. Весной он решил вдруг поразвлечься тем, что обогнал всех сильных учеников своего класса и получил все награды. А с начала этого учебного года абсолютно ничего не делает; не знаю, что уж он там замышляет, но только у меня к нему полное доверие, а главное, не хочу ему надоедать.

— Вы не приведете его ко мне?

— Господин граф шутит, я полагаю... Так как же с журналом?

— Мы об этом еще поговорим. Мне нужно подумать над вашими проектами. А пока подыщите-ка мне секретаря; тот, что у меня был, мне больше не подходит.

— Завтра же пришлю к вам молодого Коб-Лафлера, с которым я сейчас как раз встречаюсь и который, думаю, вас устроит.

— Из «очистителей»?

— В какой-то мере.

— Ex uno... [1]

[1] По одному... (*лат.*).

— Нет! По нему о всех судить не надо. Он скорее умеренный. Как раз то, что вам нужно.

Струвилу встал.

— Кстати,— сказал Пассаван,— я, кажется, еще не подарил вам свою книгу. Сожалею, что у меня не осталось ни одного экземпляра из первого издания...

— Поскольку продавать я его не собираюсь, то это не имеет никакого значения.

— Просто там печать получше.

— О! Поскольку читать я его тоже не собираюсь... До свидания. И если сердце вам подскажет, то я к вашим услугам. Честь имею кланяться.

XII

Дневник Эдуара

«Привез вещи Оливье. Сразу же по возвращении от Пассавана начал работать. Спокойное и светлое возбуждение. Незнакомая ранее радость. Без остановок и без вычеркиваний написал сразу тридцать страниц «Фальшивомонетчиков». Драма, очень отличающаяся от той, которую я тщетно пытался сочинить, возникает вся целиком из мрака, подобно внезапно освещенному молнией ночному пейзажу. Книги, написанные мною до настоящего времени, напоминают мне сейчас водоемы в городских парках, четко очерченные и, может быть, в своем роде совершенные, но наполненные плененной, лишенной жизни водой. Теперь же я хочу дать ей возможность течь то быстро, то медленно, своенравно петляя по склонам.

X утверждает, что хороший романист, начиная свою книгу, должен уже знать, как она окончится. Ну а что касается меня, то я предоставляю моей книге продвигаться вперед наугад; я считаю, что на любое преподносимое нам жизнью событие можно смотреть и как на завершение чего-то, и как на начало нового пути. «Можно было бы продолжить...» — этими словами мне хотелось бы закончить моих «Фальшивомонетчиков».

Визит Дувье. Славный парень, ничего не скажешь.

Поскольку я перестарался с выражением симпатии, пришлось выслушать излияния, от которых мне стало даже неловко. Разговаривая с ним, я мысленно повторял

слова Ларошфуко: «Чувство сострадания развито у меня слабо, но я предпочел бы избавиться от него совсем... Я полагаю, что его следует только выражать, пуще всего остерегаясь приобретать». Тем не менее симпатия у меня была вполне реальная, бесспорная, и я растрогался до слез. По правде говоря, мне показалось, что мои слезы утешили его надежнее, чем мои слова. Я даже думаю, что он расстался со своей печалью сразу же, как только увидел меня плачущим.

Я твердо решил не выдавать ему имени соблазнителя, но, к моему удивлению, он меня о нем даже и не спросил. Мне кажется, что, когда он не чувствует на себе взгляда Лоры, ревность его пропадает. Во всяком случае, в результате его визита ко мне сила ее значительно ослабла.

Есть в его доводах определенная непоследовательность: он возмущается тем, что его соперник бросил Лору. Я возразил ему, что в противном случае Лора к нему не вернулась бы. Он настраивается любить ребенка так, как любил бы своего собственного. Как знать, ведь не исключено, что, не будь соблазнителя, он так бы никогда и не познал радостей отцовства. Высказывать это предположение вслух я не стал, поскольку при воспоминании о своих изъянах он снова испытывает приступы ревности. Но в таких случаях она объясняется уязвленным самолюбием и мне неинтересна.

Ревность какого-нибудь Отелло понять легко, его преследует образ жены, наслаждающейся с кем-то другим. А какой-нибудь Дувье, чтобы стать ревнивым, должен вообразить себе, что он должен ревновать.

Должно быть, он даже подогревает в себе эту страсть с помощью тайной потребности придать немного густоты своей довольно хлипкой личности. Ему было бы очень к лицу счастье, но он испытывает потребность любоваться собой и, следовательно, все добытое с трудом ценит выше естественного. Поэтому я приложил немало усилий и постарался убедить его, что обрести простое счастье не так уж легко, тогда как радости от него получаешь больше, чем от мучений. Уйти я ему позволил лишь тогда, когда он окончательно успокоился.

Непоследовательность характеров. Персонажи, которые от начала до конца романа или драмы действуют в точности так, как можно было бы предположить... Нам предлагают восхищаться этим по-

стоянством, на что я возражаю, что они искусственные, шитые белыми нитками.

Я вовсе не утверждаю, что непоследовательность является верным признаком естественности, так как нередко встречаются, особенно у женщин, проявления нарочитой непоследовательности; с другой стороны, мне случается порой восхищаться и так называемой «непротиворечивостью»; однако чаще всего последовательность поступков достигается человеком лишь с помощью суетного упрямства и лишь ценой разрушения естественности. Чем больше у человека талантов и возможностей раскрыть их, тем больше он настроен на волну перемен, тем менее охотно позволяет своему прошлому распоряжаться своим будущим. «Justum et tenecem propositi virum»[1], которого нам предлагают в качестве образца для подражания, чаще всего представляет собой каменистую, непригодную для обработки почву.

Мне случалось встречать и еще одну разновидность этой породы, людей, старательно изобретающих себе оригинальность; главная их забота состоит в том, чтобы, сделав раз и навсегда какой-либо выбор, строго ему следовать, вечно быть начеку и не позволять себе расслабиться. (Я вспоминаю господина X, отказывавшегося отведать «монтраше» 1904 года, которым я его угостил. «Я признаю только "бордо"»,— говорил он. Однако стоило мне выдать «монтраше» за «бордо», как оно показалось ему восхитительным.)

Когда я был помоложе, я принимал решения, казавшиеся мне добродетельными. Меня волновало тогда не столько то, кто я есть, сколько то, как стать тем, кем я хотел стать. Теперь же я вижу в нерешительности чуть ли не средство против старения.

Оливье спросил меня, над чем я работаю. Я не смог противиться искушению поговорить о своей книге, а поскольку его это заинтересовало, то я стал даже читать ему только что написанные страницы. Я не без опасения ждал, что он скажет, поскольку имею представление о бескомпромиссности юности и о том, как трудно ей бывает соглашаться с чужой точкой зрения. Однако те несколько замечаний, которые он рискнул сделать, показались мне настолько уместными, что я не преминул тут же ими воспользоваться.

[1] Мужа справедливого и неуклонно идущего к цели (*лат.*).

Мне необходима его помощь и для того, чтобы воспринимать окружающий мир, и для того, чтобы дышать.

Он все беспокоится по поводу журнала, которым должен был руководить, и особенно по поводу сказки, написанной по просьбе Пассавана; он хочет избежать ее публикации. Я высказал предположение, что в связи с новыми планами Пассавана изменится и содержание журнала и тогда рукопись можно будет забрать.

Мне нанес весьма неожиданный визит господин судебный следователь Профитандье. Он постоянно вытирал платком лоб и тяжело дышал, причем, как мне показалось, не из-за того, что запыхался, поднимаясь на седьмой этаж, а от смущения. Он держал в руках шляпу и сел не раньше, чем я его пригласил. Это человек красивой наружности, хорошо сложенный и, вне всякого сомнения, представительный.

— Вы, если я не ошибаюсь, приходитесь судье Молинье шурином,— произнес он.— Я позволил себе прийти к вам поговорить о его сыне Жорже. Прошу извинить меня за то, что я решил обратиться к вам с этим делом, которое на первый взгляд может показаться вам вмешательством в чужую жизнь, но которое в действительности объясняется — я надеюсь, вы это поймете — чувствами приязни и уважения, испытываемыми мною к моему коллеге.

Он сделал паузу. Я встал и опустил портьеру, опасаясь, как бы нас не подслушала моя горничная, превеликая сплетница, находившаяся, как мне было известно, в соседней комнате. Профитандье одобрительно улыбнулся.

— Я как раз сейчас занимаюсь,— продолжал он,— в качестве судебного следователя одним чрезвычайно озадачившим меня делом. До этого ваш юный племянник уже успел скомпрометировать себя в одной истории... только пусть все это останется между нами, в одной весьма скандальной истории, куда, как мне хочется верить, он оказался вовлеченным по молодости лет, по своему простодушию и доверчивости; хотя должен вам признаться, от меня потребовалось немало изобретательности, чтобы локализовать ее... не пренебрегая интересами правосудия. Сейчас же, когда перед нами рецидив... спешу уточнить, рецидив иного рода... я уже отнюдь не ручаюсь, что юному Жоржу удастся выкрутиться столь же безболезненно. К тому же, несмотря на мое дружеское желание отвести

подобный скандал от вашего зятя, я все-таки сомневаюсь, в интересах ли мальчика... пытаться его выручать. Я, конечно, попробую, но вы ведь понимаете, у меня есть агенты, которые проявляют рвение и которых мне не всегда удается сдерживать. Или скажем так: пока что мне это удается, а завтра уже не удастся. Поэтому-то я и подумал, что вам следовало бы поговорить с вашим племянником, объяснить ему, чем он рискует...

Визит Профитандье, почему бы не признаться, сперва вызвал у меня ужасное беспокойство, но, когда я понял, что он пришел не с враждебными намерениями и не в качестве следователя, мне стало почти что весело. Еще больше я развеселился, когда он стал рассказывать дальше:

— С некоторого времени в обращении появились фальшивые монеты. Меня уведомили об этом. Я пока еще не выявил их источник. Знаю только, что юный Жорж — как мне хотелось бы верить, по простоте — оказался в числе тех, кто пользуется ими и вводит их в обращение. Их несколько человек, занимающихся этим гнусным промыслом; ровесники вашего племянника. У меня не вызывает сомнения, что эти неразумные дети — всего лишь игрушки в руках нескольких взрослых преступников, злоупотребляющих их доверчивостью. Мы, конечно, могли бы поймать несовершеннолетних правонарушителей и без труда заставить их признаться, кто дал им эти деньги; но только я отлично знаю, что на определенной стадии дело становится уже неуправляемым, если можно так выразиться... то есть что следствие не может вернуться назад и что мы оказываемся вынужденными знать то, чего порой предпочли бы не знать. В данном случае я могу утверждать, что мне удастся найти главных преступников, не прибегая к свидетельским показаниям этих несовершеннолетних. Поэтому я распорядился, чтобы их не трогали. Но это временное распоряжение. И мне хотелось бы, чтобы ваш племянник не вынудил меня отменить его. Было бы неплохо, если бы он узнал, что за ним присматривают. А еще лучше было бы, если бы вы немного припугнули его; он катится по наклонной плоскости...

Я стал заверять Профитандье, что сделаю все от меня зависящее, чтобы предостеречь Жоржа, но мой собеседник, казалось, не слышит меня. Взгляд его устремился куда-то в пространство. Он дважды повторил: «Он катится, что называется, по наклонной плоскости» — и замолчал.

Не знаю, сколько времени длилось его молчание. Он еще даже не сформулировал свою мысль, а мне уже каза-

лось, что я вижу, как она развертывается в его сознании, и я услышал его слова раньше, чем он их произнес:

— Я, сударь, я тоже отец...

И все, что он сказал перед этим, вдруг исчезло; между нами остался один Бернар. Все остальное было лишь предлогом: он пришел ко мне, чтобы говорить со мной только о нем.

Если излияния меня смущают и утрированные чувства раздражают, то его сдерживаемое волнение, напротив, тронуло меня до глубины души. Он всячески старался подавить его, но это стоило ему таких усилий, что по губам его и по рукам пробежала дрожь. Он не смог продолжать. Он закрыл лицо руками, и все его тело затряслось от рыданий.

— Вы видите,— бормотал он,— вы видите, сударь, сколько один ребенок может причинить нам страданий.

Что тут было лукавить? Я воскликнул, тоже сильно волнуясь:

— Если бы Бернар видел вас сейчас, его сердце растаяло бы, ручаюсь вам!

Однако я продолжал пребывать в сильном замешательстве. О своем отце Бернар мне почти ничего не рассказывал. То, что он покинул свою семью, я поспешил расценить как нечто совершенно естественное, поскольку еще раньше пришел к выводу, что ничего, кроме пользы, подобные поступки детям не приносят. К тому же Бернар был незаконнорожденным... И вот вдруг оказалось, что ненастоящий отец любит Бернара тем сильнее, что чувства его совершенно непроизвольны, тем искреннее, что они не обусловлены никакими обязательствами. Так что, став свидетелем этой любви, этого горя, я не мог не задать себе вопроса: а прав ли был Бернар, когда ушел из дома? Теперь я бы уже не решился столь безоговорочно одобрять его.

— Располагайте мной, если вам кажется, что я могу чем-нибудь быть вам полезен,— сказал я,— если вы считаете, что мне следует с ним поговорить. У него доброе сердце.

— Я знаю. Я знаю... Да, вы можете сделать многое. Я знаю, что это лето он провел с вами. Моя агентура работает хорошо... Я знаю также, что сегодня он сдает свой устный экзамен. Чтобы прийти к вам, я специально выбрал такой момент, когда он должен быть в Сорбонне. Я опасался, что вдруг встречусь с ним.

Постепенно мое волнение ослабло из-за того, что

я вдруг обратил внимание на повторяемость глагола «знать» почти во всех его фразах. После этого я сразу стал гораздо меньше внимания обращать на то, что он мне говорил, и сосредоточился на этой его манере, вероятно обусловленной его профессией.

Он сообщил мне также, что «знает» про то, что Бернар блестяще сдал письменный экзамен. Благодаря любезности одного из экзаменаторов, оказавшегося его другом, Профитандье сумел озиакомиться с сочинением своего сына — похоже, одиим из самых замечательных. Он говорил о Бернаре с каким-то сдержанным восхищением, заставившим меня задать себе вопрос, не считает ли он себя, несмотря ни на что, его настоящим отцом.

— Но только, ради Бога,— добавил он,— не рассказывайте об этом ему! Он от природы такой гордый, такой обидчивый!.. Если он догадается, что, с тех пор как он ушел, я не переставая думал о нем, следил за ним... Однако вы все-таки можете сказать ему, что видели меня. (После каждой фразы он тяжело вздыхал.) Вы единственный человек, который может сказать ему, что я на него не сержусь,— потом более тихим голосом добавил: — что я не переставал любить его... как сына. Да, я знаю, что вы знаете... Еще вы можете ему сказать...— он продолжил, уже не глядя на меня, сильно смущаясь: — что его мать покинула меня... да, окончательно, этим летом и что если бы он захотел вернуться, то я...

Он не мог докончить фразу.

Когда такой крупный, сильный, основательный человек, многоопытный профессиоиал, отбросив вдруг в сторону всякие условности, начинает исповедоваться, раскрывать душу перед совершенно незнакомым человеком вроде меня, то картина получается весьма впечатляющая. Тут я лишний раз убедился в том, что излияния тех, кого я знаю плохо, трогают меня куда сильнее, чем излияния тех кого я хорошо знаю. Надо будет поразмыслить, почему так происходит.

Профитандье не скрыл от меня, что у него были по отношению ко мне некоторые предубеждения, потому что он не понимал, да и до сих пор не понимает, почему Бернар внезапно покинул семейный очаг и убежал ко мне. Именно это обстоятельство не позволило ему попытаться встретиться со мной раньше. Я не решился рассказать ему историю с моим чемоданом и говорил только о дружбе его сына и Оливье, благодаря которой, как я ему сказал, нам удалось быстро сойтись.

— Молодые люди,— продолжал Профитандье,— устремляются в жизнь, не представляя себе, что это такое. Вероятно, незнание опасностей как раз и составляет их силу. Но ведь мы-то, знающие жизнь отцы, мы за них переживаем. Наша заботливость раздражает их, и нужно, чтобы она как можно меньше бросалась им в глаза. Я же знаю, что иногда она оказывается и назойливой, и неловкой. Чем без конца повторять ребенку, что огонь жжется, лучше позволим ему немного обжечься. Опыт просвещает надежнее, чем совет. Я всегда старался предоставлять Бернару как можно больше свободы. Так много, что он, увы, решил, будто мне до него почти и дела нет. Боюсь, что это заблуждение как раз и стало причиной его бегства. Но даже и после этого я рассудил, что лучше оставить его в покое; а самому присматривать за ним издалека, так, чтобы он не догадывался. Слава Богу, возможности для этого у меня были. (Профитандье явно гордился работой своей агентуры и постоянно подчеркивал, как она у него хорошо организована; во всяком случае, в разговоре со мной он упомянул о ней уже в третий раз.) Я подумал, что мне не нужно пытаться умалять в глазах этого ребенка опасность его поступка. Но стоит ли вам говорить, что, несмотря на все огорчения, которые причинил мне этот акт непокорности, он привязал меня к нему еще сильнее? Я сумел увидеть в этом поступке доказательство мужества, его человечности...

Теперь, почувствовав себя более уверенно, мой славный собеседник говорил без умолку. Я попытался направить наш разговор на то, что интересовало меня значительно больше, и, прервав его, спросил, видел ли он собственными глазами те фальшивые монеты, о которых говорил мне вначале. Меня интересовало, были ли они похожи на ту стеклянную монетку, которую показывал нам Бернар. Едва я упомянул о ней, как Профитандье изменился в лице: все его черты от сосредоточенности сдвинулись кверху, веки слегка опустились, в глазах загорелся какой-то странный огонек, на висках собрались морщины, губы поджались. То, о чем мы говорили перед этим, его уже не интересовало. Следователь вытеснил в нем отца, и для него перестало существовать все, за исключением его профессии. Он стал расспрашивать меня, делать заметки, высказал намерение отправить в Саас-Фе специального агента, чтобы тот выписал занесенные в регистрационные книги гостиниц имена туристов.

— Хотя вполне возможно,— добавил он,— что эту

фальшивую монету всучил вашему бакалейщику какой-нибудь оказавшийся там проездом и даже не остановившийся в гостинице авантюрист.

На это я возразил, что Саас-Фе находится в глубине тупика и что заехать туда и выехать в один и тот же день не так-то просто. Он с особым удовлетворением принял к сведению это мое последнее замечание, после чего горячо поблагодарил меня и ушел с озабоченным и одновременно восторженным видом, не вспоминая больше ни про Жоржа, ни про Бернара».

XIII

В то же утро Бернару довелось убедиться, что для щедрых натур вроде его собственной нет большей радости, чем радость других. Но в этой радости ему было отказано. Когда объявили результаты, оказалось, что экзамены он сдал блестяще; однако, поскольку рядом не было никого, с кем бы он мог поделиться приятной новостью, она его тяготила. Бернар знал, что наибольшее удовольствие от этого известия получил бы его отец. Он даже немного поколебался, не сообщить ли ему тут же, не отправиться ли к нему; удержала гордость. Эдуар? Оливье? Право, придавать такое значение этому диплому... Отныне он бакалавр. Экое событие! С этого-то момента и начинались все трудности.

Во дворе Сорбонны он увидел одного своего товарища, тоже сдавшего экзамен; он стоял в стороне и плакал. Юноша был в трауре. Бернар знал, что у него только что умерла мать. Сильный порыв симпатии заставил его направиться к сироте; он приблизился было к нему, но из-за какой-то нелепой застенчивости прошел мимо. А юноша, увидев, что он шел к нему и потом изменил направленне, вдруг устыдился своих слез; он относился к Бернару с уважением, и его расстроило то, что он принял за презрение.

Бернар вошел в Люксембургский сад. Сел на скамейку в той самой части сада, где встречался с Оливье вечером, когда попросил у него пристанища. Воздух был еще довольно теплый, и лазурь улыбалась Бернару сквозь успевшие оголиться ветви больших деревьев. Ощущения, что дело идет к зиме, не было; погода вводила в заблуждение даже разворковавшихся голубей. Однако Бернар не смотрел на сад; он видел простиравшийся перед ним океан жизни. Говорят, что на морской поверхности тоже есть

дороги, правда, невидимые, и Бернар пока еще не знал, по какой из них он пойдет.

Он сидел, задумавшись, и вдруг увидел, как к нему приближается ангел; тот шел скользящей и такой легкой поступью, что мог бы — это чувствовалось сразу — пройти даже по морю. Бернар еще никогда не видел ангелов, но тут никаких сомнений у него не возникло, и, когда ангел сказал ему: «Пошли», он послушно встал и пошел с ним. Он не удивился, как не удивился бы, случись все это во сне. Позднее он пытался вспомнить, взял ангел его за руку или нет; однако на самом деле они не касались друг друга, между ними даже оставалось какое-то расстояние. Они вернулись опять в тот двор, где Бернар оставил сироту; теперь он был полон решимости поговорить с ним, но его во дворе уже не оказалось.

Бернар направился в сопровождении ангела к церкви Сорбонны, куда ангел вошел первым и куда Бернар до этого никогда не входил. По церкви прохаживались и другие ангелы, но глаза Бернара не были приспособлены для того, чтобы их увидеть. Неведомый покой снизошел на него. Ангел подошел к главному алтарю, и Бернар, увидев, что тот становится на колени, тоже стал на колени рядом с ним. Молиться он не мог, так как не верил ни в какого бога, но сердце его охватила любовная потребность отдать себя в дар, совершить жертвоприношение; он предлагал себя. Ощущения его были столь смутны, что их не выразили бы никакие слова; и тут заиграл орган.

— Точно так же ты предлагал себя и Лоре,— сказал ангел, Бернар почувствовал, что по щекам его текут слезы.— Пошли, следуй за мной.

Бернар, увлекаемый ангелом, чуть не натолкнулся на одного из своих прежних товарищей, тоже успешно сдавшего устный экзамен. Бернар считал его лентяем и удивился, что у него все обошлось благополучно. Тут Бернар увидел, как лентяй, не замечая его, подошел к церковному сторожу и купил у него свечку. Бернар пожал плечами и вышел.

Оказавшись на улице, он обнаружил, что ангел покинул его. Он зашел в табачную лавку, ту самую, где неделей раньше Жорж отважился сбыть свою фальшивую монету. С тех пор он сбыл немало других. Бернар купил пачку сигарет и закурил. Почему же ангел ушел? Неужели им с Бернаром нечего было друг другу сказать?.. Пробило двенадцать часов. Бернар проголодался. Вернуться, может быть, в пансион? Или сходить к Оливье, пообедать

вместе с ним и с Эдуаром?.. Он проверил, достаточно ли у него денег, и зашел в ресторан. Бернар уже заканчивал есть, когда нежный голос прошептал:

— Настало время подвести итоги.

Он обернулся. Ангел снова был рядом с ним.

— Теперь нужно решать,— продолжил тот.— До сих пор ты жил на авось. Неужели ты и впредь намерен подчиняться воле случая? Ты же ведь хочешь заняться каким-нибудь полезным делом. Важно только решить каким.

— Научи меня, направь меня,— сказал Бернар.

Ангел привел Бернара в зал, наполненный людьми В глубине зала находилась эстрада, а на эстраде стоял стол, покрытый сукном гранатового цвета. За столом сидел какой-то еще довольно молодой человек и обращался к присутствующим с речью.

— Великое безумие,— говорил он,— надеяться на то. что мы способны что-то открыть. У нас нет ничего, что не было бы нам дано. Каждый из нас еще в молодом возрасте должен понять, что мы зависим от прошлого и что это прошлое нас обязывает. В нем начертано наше будущее.

Когда он закончил развивать эту тему, его место занял другой оратор и начал с того, что одобрил все сказанное, а потом стал обличать гордецов, отказывающихся следовать доктрине либо полагающихся только на свое разумение.

— Доктрина нам завещана,— говорил он.— Она существует уже много веков. Это, безусловно, лучшая из доктрин и единственная; и каждый из нас обязан себя в этом убеждать. Она досталась нам от наших учителей. Это доктрина нашего отечества, которое всякий раз, как оно отрекается от нее, должно дорого платить за свое заблуждение. Не зная ее, нельзя быть хорошим французом; не приняв ее, нельзя добиться успеха.

За вторым оратором последовал третий, который поблагодарил двух предыдущих за то, что они так хорошо очертили то, что он назвал теорией их программы, потом сообщил, что эта программа предполагает ни много ни мало возрождение Франции благодаря усилиям каждого из членов их партии. Себя он называл человеком действия, утверждал, что всякая теория находит свою цель и свое обоснование в практике и что всякий истинный француз должен быть бойцом.

— Но увы!— добавил он.— Сколько разрозненных, напрасно потраченных усилий! Какого величия достигла бы наша отчизна, какой ореол воссиял бы вокруг ее дея-

ний, какой славой покрыли бы себя ее сыновья, если бы усилия эти были упорядочены, если бы деяния подчинялись строгим правилам, если бы каждый встал под наши знамена!

Он продолжал говорить, а по залу начали ходить молодые люди с заявлениями о приеме в партию, на которых оставалось только поставить подпись.

— Ты хотел предложить себя,— сказал ему ангел.— Чего же ты ждешь?

Бернар взял протянутый ему листок, начинавшийся словами: «Я торжественно вступаю в...» Он прочитал его, посмотрел на ангела и увидел, что тот улыбается; потом посмотрел на собравшихся и узнал среди молодых людей того новоиспеченного бакалавра, только что поставившего свечку в церкви Сорбонны в благодарность за свою удачу на экзамене; и вдруг чуть поодаль неожиданно заметил своего старшего брата, которого не видел с тех самых пор, как ушел из родительского дома. Бернар не любил его и немного даже завидовал ему, поскольку считал, что отец ставит его выше других. Он нервно скомкал листок.

— Ты считаешь, что нужно подписать?

— Да, разумеется, если ты сомневаешься в себе,— сказал ангел.

— Больше уже не сомневаюсь,— сказал Бернар и отбросил бумажку далеко в сторону.

Оратор между тем продолжал. В тот момент, когда Бернар начал опять слушать, что он говорит, тот объяснял, что самым надежным средством против любого рода ошибок является полный отказ от собственных суждений и неукоснительная вера в суждения старших.

— А эти старшие, кто они такие?— спросил Бернар, вдруг возмутившись.

— Почему бы тебе не подняться на эстраду,— сказал он ангелу,— и не помериться с ним силами; ты его наверняка одолеешь.

Однако ангел с улыбкой ответил:

— Нет, я предпочту побороться с тобой. Сегодня же вечером, хочешь?..

— Да,— ответил Бернар.

Они вышли. Дошли до Больших бульваров. Заполнявшая бульвары толпа казалась состоящей исключительно из богатых людей; все они выглядели уверенными в себе, равнодушными к другим, но чем-то озабоченными.

— Неужели это и есть картина счастья?— спросил

Бернар, почувствовавший, как сердце его наполняется слезами.

Потом ангел повел Бернара в бедные кварталы, показал ему нищету, о которой он раньше и не подозревал. Смеркалось. Они долго бродили между высоких домов, где жили болезнь, проституция, стыд, преступление и голод. И только тогда Бернар взял ангела за руку, а ангел отвернулся и заплакал.

В тот вечер Бернар не ужинал; вернувшись в пансион, он не пошел к Саре, как в прошлые вечера, а поднялся прямо в комнату, которую занимал вместе с Борисом.

Борис уже лежал в постели, но еще не спал. Он перечитывал при свете свечи полученное им утром письмо от Брони.

«Боюсь,— сообщала ему его подруга,— что теперь уже никогда тебя не увижу. По возвращении в Польшу я простудилась. Я кашляю, и, хотя доктор от меня это скрывает, у меня такое чувство, что жить мне осталось недолго».

Услышав шаги Бернара, Борис спрятал письмо под подушку и быстро задул свечу.

Бернар пробирался в темноте. Ангел вошел в комнату вместе с ним, но, хотя ночь была довольно светлая, Борис видел только одного Бернара.

— Ты спишь? — шепотом спросил Бернар. Поскольку Борис молчал, Бернар решил, что тот спит.

— Ну что ж, давай теперь поборемся,— сказал Бернар ангелу.

И они боролись всю ночь, до самого рассвета.

Борис в темноте видел какие-то движения Бернара. Он подумал, что тот так молится, и решил не мешать. А ему так хотелось поговорить с ним, у него было так горько на душе. Он встал, опустился на колени около кровати. Ему хотелось помолиться, но из горла выходили только рыдания:

— О Броня, ты, видящая ангелов, ты, которая должна была раскрыть мне глаза, ты меня покидаешь! Что станется, Броня, со мной, когда тебя не будет? Что со мной будет?

Бернар и ангел были слишком заняты своим делом и не слышали его. И боролись они до самой зари. А потом ангел ушел, ушел не победителем, но и не побежденным.

Когда позже Бернар тоже вышел из комнаты, в коридоре ему встретилась Рашель.

— Мне нужно с вами поговорить,— сказала она ему. Голос у нее был такой грустный, что Бернар сразу понял, о чем пойдет разговор. Он ничего не ответил, опустил голову и, проникнувшись нестерпимой жалостью к Рашели, внезапно возненавидел Сару, а удовольствие, полученное им с Сарой, стало казаться ему отвратительным.

XIV

Около десяти часов утра Бернар вошел к Эдуару с саквояжем, вмещавшим то немногое из одежды, белья и книг, которым он располагал. Он попрощался с Азаисом и госпожой Ведель, но увидаться с Сарой не пытался.

У него было серьезное выражение лица. Борьба с ангелом помогла ему повзрослеть. Бернар уже сильно отличался от того беспечного похитителя чемодана, верившего, что в этом мире нужно уметь только дерзать. И он уже начал понимать, что нередко за дерзость одного кому-то другому приходится платить своим счастьем.

— Пришел к вам искать приюта,— сказал он Эдуару.— Опять остался без крыши над головой.

— А почему уходите от Веделей?

— Есть некоторые тайные причины... позвольте о них умолчать.

Вечером во время того банкета Эдуар имел возможность немного понаблюдать за Бернаром и Сарой, вполне достаточно для того,чтобы понять в общих чертах, что скрывается за этим молчанием.

— Ладно,— сказал он, улыбаясь.— На эту ночь могу предоставить в ваше распоряжение диван в кабинете. Но должен вам еще сказать, что вчера ко мне приходил ваш отец.— И он пересказал Бернару ту часть их разговора, которая, как он считал, должна была его растрогать.— Так что вам, может быть, лучше ночевать сегодня не у меня, а у него. Он ждет вас.

Однако Бернар молчал.

— Я подумаю,— сказал он наконец.— А пока позвольте мне оставить у вас мои вещи. Могу я видеть Оливье?

— Сейчас такая хорошая погода, что я посоветовал ему сходить погулять. Я хотел было пойти с ним, поскольку он пока еще очень слаб, но он предпочел выйти один. Впрочем, он ушел уже час назад и скоро должен вернуться. Подождите его... Да, чуть не забыл... как ваш экзамен?

— Сдал, но это не столь важно. Важно — чем мне те перь заняться. Знаете, что в первую очередь удерживает меня от возвращения к отцу? То, что я не хочу брать у не го деньги. Вы, вероятно, считаете нелепым так вот отказываться от подобной возможности, но я дал себе обеща ние, что впредь буду обходиться без них. Мне важно дока зать самому себе, что я человек слова, человек, на которо го я могу рассчитывать.

— Я здесь вижу прежде всего гордыню.

— Можете называть это как хотите: гордыней, само мнением, тщеславием... Вам все равно не удастся уро нить в моих глазах то чувство, которым я руководству юсь. Я вот только хотел бы сейчас выяснить: нужно ли для того, чтобы управлять собой в жизни, иметь перед собой цель?

— Поясните.

— Я размышлял над этим сегодня всю ночь. На что употребить те силы, которые я чувствую в себе? Как из влечь из себя то, что есть во мне самого лучшего? На правляясь к определенной цели? Но саму эту цель — как ее выбрать? Как ее распознать до того, как она будет достигнута?

— Жить без цели — значит покоряться воле случая.

— Я боюсь, что вы не совсем меня поняли. Когда Ко лумб открывал Америку, разве он знал, куда плывет? Его целью было двигаться вперед, все время прямо. Его це лью был он сам; и он ее постоянно проецировал впереди себя...

— Мне часто приходило в голову, что в искусстве вообще и в литературе в частности истинными художни ками являются лишь те, кто устремляется в неизвестное. Новую землю не откроешь, если не решишься сначала по терять из виду, причем надолго, все берега. Однако наши писатели боятся открытого моря; они всего лишь кабота жники.

— Вчера, выйдя на улицу после экзамена, — продолжал Бернар, не слушая его, — я зашел, не знаю уж. по наущению какого демона, в попавшийся мне на пути зал, где проходило публичное собрание. Речь там шла о национальной чести, о любви к родине, о самых разных вещах, заставляющих учащенно биться мое сердце. Еще совсем немного — и я бы подписал некую бумажку, со гласно которой я клялся своей честью посвятить себя слу жению делу, показавшемуся мне, естественно, святым и благородным.

— Я очень рад, что вы все-таки не подписали. Но что же вас удержало?

— Очевидно, какой-нибудь тайный инстинкт...— Бернар немного подумал и добавил со смехом: — Думаю, что в первую очередь лица приверженцев этой партии, начиная с моего старшего братца, которого я углядел среди присутствовавших. Мне показалось, что все эти молодые люди руководствуются самыми лучшими чувствами и что, жертвуя собственной инициативой, они поступают весьма благоразумно, потому что от своего здравого смысла, которого у них явно маловато, ждать им ничего не приходится, а их независимость духа все равно очень и очень скоро зачахла бы. Еще я подумал, что для страны это хорошо, когда среди ее граждан находится достаточное количество людей, по своей воле настроившихся на служение, но что моей собственной воле средн них совсем не место. Вот тут-то я и задумался о том, как бы выработать правило, поскольку я и без правила жить не хочу, и чужих правил приннмать тоже не собираюсь.

— Ответ здесь, мне кажется, простой: найти правило в самом себе, поставить своей целью собственное развитие.

— Да... именно это я себе и сказал. Но это не слишком продвинуло меня вперед. Если бы я еще был уверен, что отберу в себе лучшее, то позволил бы ему развиваться за счет всего остального. Но мне не удается даже понять, что во мне следует считать лучшим... Говорю вам, я размышлял над этим всю ночь. Под утро так устал, что подумывал уже пойти и записаться в армию, не дожидаясь призывного возраста.

— Уклониться от ответа на вопрос не значит ответить.

— Именно так я рассудил и решил, что если отодвинуть его во времени, то после военной службы вопрос встанет передо мной с еще большей остротой. Поэтому я и пришел к вам за советом.

— Не мне его вам давать. Вы можете найти этот ответ только в самом себе, а уяснить, как следует жить, сумеете, лишь обретая жизненный опыт.

— А если в ожидании решення о том, как нужно жить, я буду жить дурно?

— Это-то и поможет вам найти ответ. Надо просто идти своей дорогой, по своему склону, но не вниз, а вверх.

— Вы шутите?.. Хотя нет, мне кажется, что я вас понимаю, и я принимаю эту формулу. Но, развивая себя, как

вы говорите, мне нужно будет зарабатывать на жизнь. Что вы думаете о таком вот колоритном объявлении в газетах: «Молодой человек с великим будущим согласен на что угодно».

Эдуар рассмеялся.

— Нет ничего труднее, чем добиться чего угодно. Лучше уточнить.

— Я думал о том, чтобы стать каким-нибудь маленьким винтиком в механизме большой газеты. О! Я согласился бы на самую мелкую должность: корректора, линотиписта... любую. Мне надо так мало!

Бернар говорил не очень уверенно. В действительности он хотел бы получить место секретаря, но не решался сказать об этом Эдуару из-за их неудачного совместного опыта. Ведь не по его же, Бернара, вине попытка поработать секретарем завершилась столь плачевно.

— Возможно, мне удастся устроить вас в «Гран журналь»; я знаю там главного редактора...

В то время как между Бернаром и Эдуаром шел этот разговор, между Сарой и Рашелью состоялось весьма мучительное объяснение. Сара вдруг поняла, что причиной внезапного ухода Бернара явились упреки Рашели, и рассердилась на сестру, заявив ей, что она истребляет вокруг себя любую радость. У нее нет такого права, навязывать другим добродетель, поскольку уже одного только ее примера более чем достаточно, чтобы почувствовать ненависть к любой добродетели.

Рашель эти объяснения ужасно расстроили, так как она всегда приносила себя в жертву, и вот теперь возражала Саре, бледная, с дрожащими губами:

— Я не могу допустить твоей погибели.

А Сара рыдала и кричала:

— А я не могу верить в твои небеса. Я не хочу никакого спасения!

Она тут же решила опять уехать в Англию, где ее примет подруга. Ведь «в конце концов, она была свободна и хотела жить, как ей хочется». После этой досадной ссоры Рашель чувствовала себя совершенно разбитой.

XV

Эдуар постарался прийти в пансион до возвращения учеников. Он не виделся с Лаперузом с самого первого дня школьных занятий, и с ним ему хотелось поговорить

в первую очередь. Старый преподаватель музыки справляется со своей новой работой надзирателя как может, то есть очень плохо. Поначалу он старался добиться любви воспитанников, но ему не хватает строгости, и дети этим пользуются; его терпимость они принимают за слабость и ведут себя все хуже и хуже. Лаперуз потом попытался было их наказывать, но оказалось, что уже поздно: его нотации, угрозы, выговоры все больше и больше настраивают учеников против него. Если он повышает голос, они начинают хихикать; стоит ему постучать кулаком по гулкой крышке парты, как в ответ раздаются крики притворного ужаса; его передразнивают, называют «отцом Лапером»; из рук в руки передаются карикатуры, на которых он, добрейший человек, изображается в виде громилы с огромным пистолетом (пистолетом, обнаруженным Геридаиисолем, Жоржем и Фифи во время наглого обыска в его комнате), устраивающего грандиозную расправу над учениками либо стоящего перед ними на коленях со сложенными руками и умоляющего, как он это делал в первые дни: «Не шумите, умоляю вас». Впору сравнить его со старым, несчастным оленем, оказавшимся в кольце беснующихся собак. Ничего этого Эдуар не знает.

Дневник Эдувра

«Лаперуз принял меня в маленькой классной комнатке на первом этаже, как я помню, самой неуютной во всем пансионе. Вся ее мебель — четыре парты напротив черной доски и плетеный стул, на который Лаперуз заставил меня сесть. Сам он пристроился за партой, скрючившись и бочком, потому что из попытки вытянуть ноги вперед ничего не вышло.

— Нет-нет. Мне так очень удобно, уверяю вас.

А интонация и выражение его лица говорили: «Мне ужасно неудобно, и надеюсь, что это бросается в глаза, но мне нравится, что все получается именно так, и чем хуже мне будет, тем меньше вы услышите от меня жалоб».

Я попытался было шутить, но Лаперуз ни разу не улыбнулся. Он держал себя нарочито церемонно и горделиво — так, чтобы поддерживать между нами дистанцию и давать мне понять: «Это именно вам я обязан тем, что нахожусь сейчас здесь».

При этом он говорил, что очень всем доволен, от ответов на мои вопросы уклонялся, а если я проявлял настой-

чивость, раздражался. Однако, когда я поинтересовался, где находится его комната, неожиданно сказал:

— Несколько далековато от кухни,— и, видя мое удивление, добавил:— Бывает, что ночью мне вдруг хочется есть... когда не спится.

Я сидел совсем рядом с ним; приблизившись к нему еще немного, я мягко положил руку ему на плечо. Он продолжал более естественным голосом:

— Должен вам сказать, сплю я очень плохо. Даже если и засыпаю, все равно сохраняется ощущение, что я сплю. Это ведь не настоящий сон, да? Тот, кто по-настоящему спит, не чувствует, что спит; просто, проснувшись, замечает, что спал.

Затем, наклонившись ко мне, он принялся объяснять с болезненной настойчивостью:

— Иногда мне хочется верить, что это не иллюзия и что я все-таки сплю по-настоящему, хотя мне и кажется, что я не сплю. Но у меня есть доказательство, что я сплю не по-настоящему: если я хочу открыть глаза, то я их открываю. Обычно я не хочу. Вы же понимаете, что мне нет никакого смысла их открывать? Зачем доказывать самому себе, что я не сплю? Я постоянно сохраняю надежду заснуть, убеждая себя, что уже сплю...

Он наклонился еще сильнее и понизил голос:

— А кроме того, есть еще одна вещь, которая беспокоит меня. Только никому не говорите... Я никому не жаловался, потому что здесь все равно ничем не поможешь, а когда ничего изменить нельзя, то, вы ведь согласны, и жаловаться тоже не имеет смысла. Представьте себе, что как раз напротив моей кровати, в стене, точно на уровне моей головы есть что-то такое, что издает шум.

Говоря это, он оживился. Я предложил ему сходить вместе в его комнату.

— Да-да!—сказал он и резко встал.—Может быть, вы сможете мне объяснить, что это такое... А то мне никак не удается понять. Пойдемте.

Мы поднялись на третий этаж, потом прошли по довольно длинному коридору. В этой части дома я никогда не был.

Окна комнаты Лаперуза выходили на улицу. Комната была маленькая, но опрятная. На столе рядом с молитвенником я заметил ящик с пистолетами, который он все-таки привез с собой. Он схватил меня за руку и, немного отодвинув кровать, сказал:

— Вот тут. Послушайте... Приложите ухо к стене. Как, слышно?

Я напряг свой слух и долго прислушивался. Однако, как ни старался, ничего услышать мне не удалось. Лаперуз начал нервничать. Проехал грузовик, отчего зазвенели стекла и затрясся весь дом.

— В это время,— сказал я, надеясь его успокоить,— тот слабый шум, который вас раздражает, перекрывается уличным гулом...

— Это для вас он перекрывается, поскольку вы не можете различить его среди других шумов! — вскричал он запальчиво.— Я-то ведь его слышу. Слышу, несмотря ни на что. *Иногда он так выматывает мне душу, что я даю себе* слово поговорить с Азаисом или с хозяином... О, я вовсе не собираюсь требовать, чтобы он прекратился... Но я хочу по крайней мере знать, что же это такое.

Он немного подумал, потом продолжил:

— Как будто чем-то хрустят. Я перепробовал все, чтобы не слышать его. Отодвигал кровать от стены. Затыкал ватой уши. Перевесил часы (видите, я вбил здесь гвоздик) как раз туда, где, как мне кажется, проходит труба, чтобы тиканье часов заглушало тот шум... Но теперь это утомляет меня еще больше, потому что приходится делать усилие, чтобы различить его. Нелепо ведь, согласитесь? И все же я предпочитаю слышать его отчетливо, поскольку знаю, что он все равно здесь... О! Мне не следовало вам всего этого рассказывать. Видите, какой я стал старый.

Он сел на край кровати и застыл в каком-то оцепенении. У Лаперуза зловещие признаки старения обнаруживаются не столько в ослаблении умственных способностей, сколько в изменении глубинных свойств характера. Червь водворяется в сердцевину плода, подумал я, видя этого еще совсем недавно сильного и гордого человека во власти по-детски наивного отчаяния. Я попытался вывести его из этого состояния, заговорив о Борисе.

— Да, его комната рядом с моей,— сказал он, поднимая голову.— Давайте я покажу вам ее. Пойдемте.

Он *первым вышел в коридор и открыл соседнюю* дверь.

— На второй кровати, которую вы видите здесь, спит молодой Бернар Профитандье.— (Я не стал сообщать ему, что как раз с сегодняшнего дня Бернар в этой комнате жить больше не будет.) Он продолжал: — Борису приятно иметь такого товарища, и, похоже, они друг с другом ладят. Только, вы знаете, он так мало со мной разго-

варивает. Он очень замкнутый... У меня есть опасение, что у этого ребенка немного черствое сердце.

В его голосе прозвучала такая печаль, что я счел необходимым возразить ему и поручиться за чувства его внука.

— Ну тогда,— продолжил Лаперуз,— он мог бы быть немного поласковее. Вот один пример: утром, когда он вместе со всеми остальными учениками отправляется в лицей, я высовываюсь из окна, чтобы посмотреть на него. Он знает об этом... Знает! И никогда не оборачивается!

Я хотел было объяснить ему, что Борис, очевидно, боится, как бы товарищи не обратили внимание на это и не начали над ним смеяться, но в этот момент со двора донеслись крики.

Лаперуз схватил меня за руку и изменившимся голосом произнес:

— Слышите? Слышите? Они возвращаются.

Я посмотрел на него. Он дрожал всем телом.

— Вы что, боитесь этих проказников?— спросил я.

— Да нет же, нет,— ответил он смущенно.— Почему вы так думаете?..— Потом быстро добавил:— Я должен идти вниз. Перемена длится всего несколько минут, а вы ведь знаете, что я присматриваю за занятиями. Прощайте. Прощайте.

И он устремился в коридор, даже не пожав мне руку. Почти тотчас я услышал, как скрипит лестница под его неровными шагами. Я выждал еще минуту-другую: мне не хотелось показываться на глаза ученикам. Внизу слышались их крики, смех, пение. Потом прозвенел колокольчик, и неожиданно воцарилась тишина.

Я сходил к Азаису и получил у него разрешение для Жоржа выйти из класса, чтобы я мог с ним поговорить. Вскоре мы встретились с ним в той самой комнатке, где до этого меня принимал Лаперуз.

Увидев меня, Жорж сразу принял вызывающий вид. Так он пытался скрыть свое смущение. Однако я не решился бы утверждать, что он был смущен больше, чем я. Он занял оборонительную позицию, очевидно ожидая нотации. Мне показалось, что он спешно решает, какое использовать против меня оружие, так как не успел я раскрыть рот, как он спросил меня про здоровье Оливье, причем таким издевательским тоном, что я готов был дать ему пощечину. Козыри против меня у него явно были. «И потом, вы знаете, я вас совершенно не боюсь»,—

как бы говорили его иронические взгляды, насмешливая складка губ и интонации в голосе. У меня сразу же пропала всякая уверенность, и теперь я заботился только о том, чтобы не показать ему этого. Приготовленная заранее речь вдруг показалась мне совершенно неуместной. Я утратил моральное право выступать в роли воспитателя. В сущности же, мне было чрезвычайно интересно за ним наблюдать.

— Я пришел не затем, чтобы тебя ругать,— сказал я ему наконец,— я хотел бы только предупредить тебя. (А все лицо мое помимо моей воли улыбалось.)

— Сначала скажите мне: вас прислала мама?

— И да и нет. Мы говорили с твоей матерью о тебе, но это было уже несколько дней назад. А вчера у меня состоялся очень серьезный разговор о тебе с одним очень важным лицом; ты этого человека не знаешь, но он приходил ко мне специально для того, чтобы поговорить о тебе. Он следователь. И я пришел от его имени. Ты знаешь, что это такое — судебный следователь?

Жорж сильно побледнел, и я думаю, на какое-то мгновение сердце его остановилось. Он, правда, пожал плечами, но голос его немного дрожал.

— Ладно, выкладывайте, что он вам сказал, ваш папаша Профитандье.

Самоуверенность этого мальчика меня просто поражала. Очевидно, было бы проще сразу переходить к сути, но все дело в том, что мой ум терпеть не может простоты и все время сворачивает на окольные пути. Чтобы объяснить мой непроизвольный поступок, тут же показавшийся мне абсурдным, я должен сказать, что последняя моя беседа с Полиной крепко засела у меня в мозгу. Она навела меня на размышления, которые я тут же включил в свой роман в форме диалога, как нельзя лучше подошедшего некоторым моим персонажам. Мне редко случается извлекать непосредственную пользу из того, чем одаривает меня жизнь, но на этот раз приключение Жоржа мне пригодилось; моя книга словно его ждала, настолько оно оказалось там на своем месте; пришлось изменить лишь кое-что по мелочам. Однако я не стал делать связного рассказа об этом приключении (я имею в виду кражу писем). О нем и о его последствиях можно догадаться на основании разговоров персонажей. А эти разговоры были записаны в записной книжке, оказавшейся у меня с собой, в кармане. Что же касается истории с фальшивой монетой — в том виде, в каком мне ее изложил Профитан-

дье,— то она, как мне показалось, напротив, никакой службы сослужить мне не могла. Очевидно, именно поэтому, вместо того чтобы выяснять с Жоржем этот конкретный момент, явившийся главной причиной моего визита, я начал лавировать.

— Прежде всего мне хотелось бы, чтобы ты прочел вот здесь кое-какие строчки,— сказал я.— Ты поймешь почему.— И я протянул ему свою записную книжку, открытую на той странице, которая могла его заинтересовать.

Я повторяю: сейчас этот жест кажется мне абсурдным. Однако в своем романе я собирался предостеречь самого юного из моих героев как раз с помощью подобного чтения. Мне важно было знать реакцию Жоржа; я надеялся, что она что-то для меня прояснит... в том числе и в отношении качества написанных мною страниц.

Привожу отрывок, о котором идет речь.

«Была в этом ребенке некая скрытая тенью область, имевшая для приязненной любознательности Одибера особую притягательную силу. Ему мало было знать, это юный Эдольф украл, он хотел бы, чтобы Эдольф рассказал ему, как он до этого дошел и что испытал, совершая первую кражу. Кстати, ребенок, даже если не ставить под сомнение его откровенность, очевидно, не сумел бы ему этого рассказать. Так что Одибер не решался его расспрашивать, опасаясь, что тот начнет отпираться и лгать.

Однажды за ужином Одибер рассказал Гильдебранту про случай Эдольфа, впрочем не называя его имени и видоизменяя факты таким образом, чтобы тот не мог его узнать.

— А вы не обратили внимания на то,— сказал тогда Гильдебрант,— что самые решающие поступки нашей жизни, то есть те, от которых порой в наибольшей степени зависит, как сложится наше будущее, являются чаще всего поступками неосознанными?

— Охотно верю,— ответил Одибер.— Они похожи на тот поезд, в который садишься, не думая и не спрашивая, куда он идет. Причем чаще всего понимаешь, что поезд тронулся и куда-то тебя увозит, только тогда, когда сойти с него уже невозможно.

— Так может быть, мальчик, о котором идет речь, вовсе и не хотел бы сходить?

— Пока что он не собирается сходить, это верно. Пока что он позволяет увозить себя. Пейзаж ему нравится, а куда он едет, его мало интересует.

— Вы будете читать ему нравоучения?

— Конечно же, нет! Это бесполезно. Он до тошноты перенасыщен нравоучениями.

— А почему он воровал?

— Я точно даже не знаю. Явно не из-за какой-то реальной нужды. А просто чтобы получить те или иные преимущества, чтобы не отстать от более состоятельных товарищей... мало ли почему еще. Скажем, по природной склонности, потому что получает от воровства удовольствие.

— Хуже этого не придумаешь.

— Вот именно! Потому что он будет воровать снова и снова.

— А как у него с головой?

— Мне долгое время казалось, что умом он уступает своим братьям. Но сейчас я начинаю думать, что, может быть, я ошибался и что мое неблагоприятное впечатление объясняется тем, что он еще не понял, чего он может добиться от себя. До настоящего времени его любознательность шла по ложному пути или же, точнее, пребывала в зачаточном состоянии, в стадии проказливости.

— Вы поговорите с ним?

— Я постараюсь показать ему, сколь мала выгода, получаемая им от воровства, по сравнению с тем, что он теряет из-за своей бесчестности: доверие близких, их уважение, включая и мое собственное... многие вещи, не поддающиеся исчислению, вещи, ценность которых осознается лишь впоследствии, по тем огромным усилиям, которые приходится затрачивать на то, чтобы обрести их вновь. Некоторые положили на это всю свою жизнь. Я объясню ему то, в чем он пока еще по молодости лет не отдает себе отчета, что отныне, что бы ни случилось вблизи от него сомнительного, дурного, подозрения будут всегда падать на него. Не исключено, что его станут обвинять в серьезных преступлениях, обвинять совершенно напрасно, а он не сможет оправдаться. Прошлые его поступки предрасполагают к этим подозрениям. Он, что называется, вышел из доверия. Ну и еще мне хотелось бы ему сказать... Однако я боюсь, что он станет отпираться.

— Что бы вам хотелось ему сказать?..

— Что то, что он сделал, создает прецедент и что если для первой кражи требуется известная решимость, то для последующих достаточно лишь поддаться инерции. Для того, что происходит потом, достаточно просто отдать себя на волю случая... Мне хотелось бы ему сказать, что

зачастую первый жест, сделанный почти бессознательно, ложится на нас печатью, делает первую отметину, которую, несмотря на все наши усилия, нам уже никогда не удастся стереть. Мне хотелось бы... но я не сумею с ним побеседовать.

— А что, если вам записать то, о чем мы с вами сейчас говорили? А потом дайте ему почитать.

— Это мысль,— сказал Одибер.— Почему бы и нет?»

Все то время, пока он читал, я не сводил с Жоржа глаз, но лицо его было непроницаемо.

— Читать дальше?— спросил он, собираясь перевернуть страницу.

— Не надо, беседа на этом завершается.

— А жаль.

Он вернул мне записную книжку и спросил почти игривым тоном:

— Мне хотелось бы знать, что ответил Эдольф, прочитав записную книжку.

— Мне тоже не терпится это узнать.

— Смешное имя — Эдольф. Вы что, не могли окрестить его как-нибудь по-другому?

— Это не имеет значения.

— Как и то, что он может ответить. И что же с ним происходит потом?

— Еще не знаю. Все зависит от тебя. Так что посмотрим.

— Значит, если я правильно понимаю, это я должен вам помогать писать вашу книгу. Нет, но сознайтесь, что...

Он замолчал, словно что-то мешало ему выразить свою мысль.

— Что что?— сказал я, как бы подбадривая его.

— Сознайтесь, что вы бы очень просчитались,— продолжил он наконец,— если бы Эдольф...

Он опять замолчал. Мне показалось, что я угадал его мысль, и я закончил ее за него:

— Если бы он стал честным мальчиком?.. Нет, малыш.— Неожиданно я почувствовал, как на глаза у меня навертываются слезы. Я положил руку ему на плечо. Но он высвободился и сказал:

— Ведь в конце концов, если бы он не украл, вы бы не написали всего этого.

Тут только я понял свою ошибку. Жоржу, в сущности, льстило то, что он так долго занимал мои мысли. Он по-

чувствовал себя центральной фигурой. Я было совсем позабыл о Профитандье; напомнил мне о нем сам Жорж.

— И что же он вам рассказал, ваш судебный следователь?

— Он поручил мне предупредить тебя, что ему известно, что ты сбываешь фальшивые деньги...

Тут Жорж снова изменился в лице. Он понял, что отрицать бесполезно, и только сказал невнятно:

— Я же не один.

— ...и что если вы не прекратите немедленно эти дела,— продолжал я,— то ему придется посадить тебя и твоих приятелей в тюрьму.

Сначала Жорж сильно побледнел. А теперь щеки его горели. Он смотрел в одну точку перед собой, и от нахмуренных бровей у него на лбу образовались две складки.

— Прощай,— сказал я, протягивая ему руку.— Советую тебе предостеречь и своих товарищей. А ты намотай себе на ус.

Он молча пожал мне руку и, не оборачиваясь, вернулся в класс.

Перечитывая те страницы «Фальшивомонетчиков», которые показывал Жоржу, я пришел к выводу, что они никуда не годятся. Здесь я воспроизвел их в том виде, в каком давал читать Жоржу, но всю главу нужно переписать. Думаю, что лучше было бы, если бы я с мальчиком просто поговорил. Нужно найти к нему подход. Хотя, естественно, в той ситуации, в которой он оказался, Эдольфа (я изменю имя, Жорж прав) уже довольно трудно вернуть к честной жизни. Однако, что бы ни думал по этому поводу Жорж, я поставил себе именно такую задачу; это здесь самое интересное, потому что самое трудное. (Вот и я тоже начинаю мыслить, как Дувье!) Пусть писатели-реалисты описывают людей, отказывающихся сопротивляться обстоятельствам».

Вернувшись в классную комнату, Жорж рассказал двум своим друзьям о предостережении Эдуара. Все, что тот говорил ему по поводу его воровских предприятий, пролетело у него мимо ушей, а вот что касается фальшивых монет, то тут можно было ожидать большой неприятности, и поэтому следовало как можно скорее от них избавляться. У всех троих имелось при себе по нескольку монеток, которые они собирались сбыть во время ближайшей прогулки по городу. Гериданисоль собрал их

все вместе и выбросил в ближайшую яму. В тот же вечер он предупредил Струвилу, который сразу же принял соответствующие меры.

XVI

В тот самый вечер, пока Эдуар беседовал со своим племянником Жоржем, к Оливье после ухода Бернара пришел Арман.

Арман Ведель был неузнаваем: свежевыбритый, улыбающийся, с гордо поднятой головой, одетый в новый, сильно приталенный костюм, может быть, немного смешной, чувствующий это и дающий понять, что он это чувствует.

— Я бы навестил тебя раньше, но у меня было столько дел!.. Тебе известно, что я теперь секретарь Пассавана? Или, если предпочитаешь, главный редактор издаваемого им журнала. Тебя я привлекать к участию в нем не буду, потому что, как мне кажется, Пассаван на тебя весьма зол. Кстати, журнал сейчас решительно поворачивает влево. Поэтому для начала он расстался с Беркаем и его пасторалями...

— Тем хуже для журнала.

— По этой же причине он принял мой «Ночной сосуд», который, кстати, я, если позволишь, посвящу тебе.

— Тем хуже для меня.

— Пассаван даже хотел, чтобы мое гениальное стихотворение открывало первый номер; однако против этого восстала моя естественная скромность, подвергшаяся тяжкому испытанию его похвал. Если бы я был уверен, что не утомляю твои выздоравливающие уши, то рассказал бы тебе, как прошла наша первая встреча со знаменитым автором «Турника», которого я знал до сих пор лишь понаслышке, благодаря тебе.

— Лучшего занятия, чем слушать тебя, мне сейчас не придумать.

— Дым тебе не мешает?

— Чтобы ты ие беспокоился, я даже сам закурю.

— Должен тебе сказать,— начал Арман, прикуривая сигарету,— что твое бегство поставило нашего графа в затруднительное положение. Не сочти за лесть, но не так-то легко найти замену такому средоточию талантов, добродетелей, достоинств, делающих тебя одним из...

— Короче...— прервал Оливье, которому тяжеловесная ирония приятеля действовала на нервы.

— Короче, у Пассавана возникла потребность в секретаре. Оказалось, что он знаком с неким Струвилу, с которым знаком и я, поскольку он является дядей и опекуном одного типа, проживающего в пансионе и знакомого с Жаном Коб-Лафлером, которого ты знаешь.

— Которого я не знаю,— сказал Оливье.

— Нет? Ну тогда, старина, ты должен с ним познакомиться. Это невероятнейший, удивительнейший тип, нечто вроде увядшего, морщинистого, подмалеванного младенца, который живет на одних аперитивах и который, когда пьян, сочиняет очаровательнейшие стихи. Ты почитаешь их в первом номере нашего журнала. И вот Струвилу надумал направить его к Пассавану, чтобы определить его на твое место. Ты только себе представь его входящим в особняк на улице Бабилон. Нужно тебе сказать, что Коб-Лафлер ходит в немыслимо грязной одежде, по плечам у него болтается пучок пакляных волос, и выглядит он постоянно так, как будто не мылся по крайней мере целую неделю. Пассаван, который стремится всегда казаться хозяином положения, уверяет, что Коб-Лафлер предстал перед ним милым, улыбающимся, застенчивым. Когда он хочет, то ему удается прикинуться этаким банвилевским Гренгуаром. Одним словом, он очаровал Пассавана, и тот чуть было его не взял. Нужно тебе сказать, что у Лафлера за душой ни гроша... Встает он, значит, чтобы попрощаться, и говорит: «Прежде чем расстаться с вами, господин граф, я должен вас предупредить, что у меня есть несколько недостатков».— «У кого из нас их нет?» — «И несколько пороков. Я курю опиум». «Какое это имеет значение,— говорит Пассаван, которого такими пустяками не удивишь,— я вас как-нибудь угощу, у меня он превосходиейший». «Да, но после курения,— продолжает Лафлер,— я полностью теряю представление об орфографии». Пассаван решает, что это шутка, пытается рассмеяться и протягивает ему руку. А Лафлер продолжает: «К тому же я курю еще и гашиш». «Мне тоже случалось его курить»,— говорит Пассаван.— «Да, но только под воздействием гашиша я не могу удержаться от воровства». Тут Пассаван уже начинает понимать, что тот издевается над ним, а Лафлер, войдя в раж, продолжает нагнетать: «Кроме того, я пью эфир и тогда все рву, все сокрушаю» — с этими словами он хватает хрустальную вазу и делает вид, что вот-вот бросит ее в камин. Пассаван вырывает ее у него из рук: «Спасибо за то, что предупредили».

— И выставил его за дверь?

— А потом еще наблюдал из окна, как бы Лафлер, уходя, не бросил ему в подвал какую-нибудь бомбу.

— Но зачем же твой Лафлер так себя повел? — спросил Оливье после короткого молчания.— Ведь судя по тому, что ты мне сказал, он очень нуждался в этом месте.

— Понимаешь, старина, значит, бывают такие люди, которые испытывают потребность действовать вопреки своим собственным интересам. А потом, вот что я тебе еще скажу: Лафлер... ему стало тошно от пассавановской роскоши, от его элегантности, от любезных манер, от его снисходительности, от постоянно подчеркиваемого превосходства. Да, ему стало просто очень противно. И надо сказать, я понимаю его... Он ведь такой тошнотворный, этот твой Пассаван.

— Почему ты говоришь «твой Пассаван»? Тебе же прекрасно известно, что я с ним больше не встречаюсь. И потом, почему же тогда ты согласился принять от него это место, если он кажется тебе таким отвратительным?

— Именно потому, что я люблю то, что вызывает у меня отвращение... такая уж моя подлинная или подлая натура... И потом, в сущности-то, Коб-Лафлер человек застенчивый; если бы не смущение, он бы никогда не стал говорить ничего подобного.

— О! Ничего себе...

— Точно я тебе говорю. Он был смущен, и ему стало очень неприятно, что он смущается перед кем-то, кого, в сущности, презирает. И чтобы скрыть смущение, стал хорохориться.

— Я думаю, что это глупо.

— Старина, не могут же все быть такими умными, как ты.

— В прошлый раз ты мне это уже говорил.

— Ну и память!

Оливье решил не уступать.

— Я стараюсь,— сказал он,— забывать твои шуточки. Но в прошлый раз ты наконец-то стал говорить серьезно. Ты сказал мне тогда некоторые вещи, которые я не в состоянии забыть.

В глазах Армана мелькнула какая-то тень; он натужно рассмеялся.

— О! В последний раз, старина, я говорил с тобой так, как ты того хотел. Ты требовал чего-нибудь минорного, и тогда, чтобы доставить тебе удовольствие, я исполнил

свою жалобную песню: душа штопором и терзания в духе Паскаля!.. А что ты хотел? Я могу быть искренним только тогда, когда шучу.

— Ты меня ни за что не убедишь, что был неискренен, когда говорил мне то, что сказал. Вот сейчас ты играешь.

— О, наивнейшее существо, какая же у тебя все-таки ангельская душа! Как будто все мы не играем — более или менее искренне и осознанно. Жизнь, старина,— это самая обыкновенная комедия. Вся разница между мной и тобой состоит в том, что я знаю, что играю роль, тогда как...

— Тогда как...— вызывающе повторил Оливье.

— ...*тогда как, например, мой отец — не будем* говорить о тебе — уходит с головой в свою роль пастора. Что бы я ни говорил, что бы ни делал, какая-то моя часть всегда находится где-нибудь поодаль и смотрит, как другая часть рискует собой; она наблюдает за ней, смеется над ней, освистывает ее или же аплодирует ей. Когда ты до такой степени раздвоен, разве можно быть искренним? Я даже перестал понимать, что же это за понятие такое: искренность. Тут уж ничего не поделаешь: когда мне грустно, то я кажусь себе несуразным и не могу не рассмеяться, а когда мне весело, то шучу настолько глупо, что у меня возникает желание поплакать.

— Слушая тебя, старина, мне тоже хочется плакать. Я не думал, что ты до такой степени болен.

Арман пожал плечами и сказал совсем другим тоном:

— Дабы ты утешился, хочешь расскажу, из чего состоит наш первый номер? Будет, значит, мой «Ночной сосуд», затем четыре песенки Коб-Лафлера, пьеска Жарри, поэмы в прозе юного Гериданисоля, который живет в нашем пансионе, и еще «Утюг», пространное литературно-критическое эссе, где будет объяснено направление журнала. Этот шедевр мы родили общими усилиями.

Оливье затруднялся что-либо сказать и поэтому как-то неудачно возразил:

— Шедевр не может создаваться общими усилиями.

Арман рассмеялся.

— Право же, дорогой мой, шедевром я это назвал только *смеха ради. Какой уж там шедевр! Прежде* всего нужно выяснить, что подразумевается под словом «шедевр». Вот этим-то мы и занимаемся в «Утюге». Есть масса таких произведений, которыми люди доверчиво восхищаются просто потому, что ими восхищаются все, и потому, что никто до сих пор не удосужился или не осмелился сказать, что они нелепы. Так, например, на обложке пер-

вого номера журнала у нас будет репродукция «Джоконды» с приклеенными усами. Вот увидишь, старина, эффект будет ошеломляющий.

— Означает ли это, что ты считаешь «Джоконду» нелепостью?

— Вовсе нет, дорогой мой. (Хотя я, к слову сказать, не считаю ее такой уж восхитительной. Ты меня не понял. Нелепым здесь является всеобщее восхищение. Некая привычка говорить о том, что принято называть «шедеврами», не иначе как сняв шляпу.) Целью «Утюга» (кстати, так будет называться и сам журнал) является осмеяние и дискредитация этого вот благоговения... Еще одно хорошее средство — это предложить читателю повосхищаться кое-какими нелепыми творениями — например, моим «Ночным сосудом» — авторов, полностью лишенных здравого смысла.

— И что Пассаван, одобряет это?

— Его это очень забавляет.

— Я вижу, что вовремя сообразил уйти оттуда.

— Уйти... Рано или поздно, старина, хотим мы или нет, а этим всегда кончается. И эта мудрая мысль подсказывает мне, что пора прощаться.

— Останься еще на несколько минут, паяц несчастный... Ты что-то сказал про пасторскую роль твоего отца. Ты что, думаешь, он все делает не по убеждению?

— Господин мой отец устроил свою жизнь таким образом, что у него уже больше нет ни права, ни возможности обходиться без убеждений. Убеждение — это теперь его профессия. Он у нас профессор убеждения. Учит людей верить; это смысл его существования, роль, которую он выбрал и которую должен играть до конца. А вот узнать, что все-таки происходит в его так называемой «глубине души»... Понимаешь, ведь это было бы бестактным — спрашивать у него самого. Да, думаю, и он сам никогда себя не спрашивает. Он устраивается так, чтобы у него не было времени задавать себе такие вопросы. Он напичкал свою жизнь невероятным количеством обязанностей, которые утратили бы всякий смысл, если бы его убежденность стала ослабевать; получается, что его убеждение обусловливается и поддерживается этими обязанностями. Он воображает, что верит в Бога, потому что действует так, как если бы верил. Он уже не может не верить. Понимаешь, старина, если бы вера его вдруг пошатнулась, это было бы настоящей катастрофой! Крушением всего! Подумай только: наша семья сразу же оказалась бы

на мели. Следует, старина, принимать во внимание: вера нашего папочки — это наш хлеб. Благодаря папиной вере мы существуем. Так что, согласись, с твоей стороны это не слишком деликатно — спрашивать у меня, верит ли мой папочка в Бога.

— А я думал, что вы живете главным образом на доход от пансиона.

— В какой-то мере это так и есть. Но обрывать вот так мой лирический порыв — это тоже не очень деликатно.

— Значит, ты вообще ни во что не веришь? — с грустью в голосе спросил Оливье, который любил Армана и страдал от его желчности.

— «Jube renovare dolorem[1]...» Ты, кажется, забыл, дорогой мой, что мои родители хотели сделать из меня проповедника. С этой целью меня подогревали, пичкали благочестивыми наставлениями, чтобы у меня произошло вздутие веры, если можно так выразиться. Обнаружилось, однако, что у меня нет призвания. А жаль. Возможно, из меня получился бы потрясающий проповедник. Оказалось, что мое призвание состоит в том, чтобы создать «Ночной сосуд».

— Бедный-бедный, как же мне тебя жаль!

— У тебя всегда было, как это называет мой отец, «золотое сердце»... которым я не хочу больше злоупотреблять.

Он взялся за шляпу. Уже почти на пороге он вдруг обернулся:

— Ты не спрашиваешь меня, как дела у Сары?

— Все равно же ты не сообщишь мне ничего такого, что бы не было мне уже известно от Бернара.

— Он сказал тебе, что ушел из пансиона?

— Он сказал мне, что твоя сестра Рашель предложила ему уйти.

Держась одной рукой за ручку двери, другой рукой Арман поддерживал тростью приподнятую портьеру. Трость попала в отверстие портьеры и расширила его.

— Можешь понимать это как хочешь, — сказал он, и лицо его приняло очень серьезное выражение. — Рашель, по-моему, является на этом свете единственным человеком, которого я люблю и уважаю. Уважаю за то, что она добродетельна. Но поступаю всегда так, что оскорбляю ее добродетель. Она абсолютно ничего не знала про отно-

---

[1] Скорбь вели обновить (*лат.*).

шения Бернара и Сары. Это я ей все рассказал... При том, что окулист советует ей не плакать! Сплошной гротеск.

— А сейчас ты искренен?

— Да, я думаю из всего, что во мне есть, это самое искреннее: отвращение, ненависть ко всему, что называется Добродетелью. Не пытайся понять. Ты себе не представляешь, что может сделать с человеком пуританское воспитание. Оно оставляет в сердце ожесточение, от которого уже невозможно излечиться... если судить по мне,— закончил он с усмешкой.— Кстати, может быть, ты мне скажешь, что у меня такое вот здесь.

Он отложил шляпу и подошел к окну.

— Вот, посмотри-ка, на губе, внутри.

Он наклонился к Оливье и приподнял пальцем губу.

— Ничего не вижу.

— Ну как же, вон, в уголке.

Оливье увидел у самой складки беловатое пятнышко. У него появилось тревожное ощущение.

— Простая афта,— сказал он, желая успокоить Армана.

Тот пожал плечами.

— Не надо говорить глупостей; ты же серьезный человек. Дело в том, что афта обычно бывает мягкая и она в коице концов проходит. А тут что-то твердое и с каждой неделей увеличивается. К тому же теперь у меня во рту появился какой-то неприятный привкус.

— И давно это у тебя?

Я заметил больше месяца назад. Однако, как говорят в «шедеврах»: «Болезнь моя идет издалека...»

— Послушай, старина, если тебя это беспокоит, то нужно сходить к врачу.

— Ты что, думаешь, я дожидался твоего совета?

— И что доктор тебе сказал?

— Я не дожидался твоего совета, чтобы понять, что мне нужно сходить к врачу. Но тем не менее к нему не пошел, потому что если это то, что я предполагаю, то я предпочитаю не знать.

— Это глупо.

— Не правда ли? Но зато так по-человечески понятно, мой дорогой, так понятно...

— Если болеешь, то глупо не лечиться.

— И не иметь возможности сказать, когда начинаешь лечиться, что «уже поздно». Именно об этом прекрасно

сказал Коб-Лафлер в одном из своих стихотворений, которое ты скоро прочтешь:

Увы, должны мы понимать,
Что в этом мире танцевать
Порой приходится сначала,
А петь потом.

— Литературу можно делать из всего.

— Ты правильно сказал, из всего. Но понимаешь, старина, не так-то это легко. Ладно, прощай... Да, чуть не забыл: я получил кое-какие известия от Александра... Ты ведь знаешь эту историю: мой старший брат укатил в Африку, начал было там чем-то торговать, но неудачно, промотал все деньги, которые послала ему Рашель. Теперь он обосновался на берегах Казаманса. Пишет мне, что торговля его процветает и что скоро он сможет вернуть весь свой долг.

— А чем он торгует?

— Откуда я знаю? Каучуком, слоновой костью, может быть, неграми... всякой всячиной... Приглашает меня к себе.

— Ты поедешь?

— Уехал бы завтра же, если бы не идти в ближайшее время в армию. Александр — человек несуразный, вроде меня. Думаю, что мы с ним поладили бы как нельзя лучше... Кстати, хочешь взглянуть? У меня с собой его письмо.

Он вытащил из кармана конверт, а из конверта несколько листков, выбрал один и протянул его Оливье.

— Все читать не обязательно. Начни вот тут.

«Недели две назад я приютил в своей хижине одного странного типа, и теперь он живет у меня. Похоже, здешнее солнце изрядно перегрело ему черепную коробку. Сначала я думал, что он просто бредит, но потом понял, что у него типичное помешательство. Этот странный парень — приблизительно лет тридцати, высокий, сильный, довольно красивый и, если судить по его манерам, речи и совершенно не приспособленным к физическому труду рукам, наверняка, как говорят, «из хорошей семьи» — вообразил, что в него вселился дьявол, или, точнее, если я правильно понял то, что он говорит, считает дьяволом самого себя. Похоже, он попал в какой-то переплет, потому что и во сне, и в состоянии забытья, куда он часто погружается (и тогда беседует с собой, не замечая моего

присутствия), он беспрестанно говорит о каких-то отрубленных руках. А поскольку при этом еще весь дергается и страшно вращает глазами, то я стараюсь, чтобы рядом с ним ие было никакого оружия. В остальное время это очень милый молодой человек, хороший собеседник — что после месяцев и месяцев, проведенных в одиночестве, я, как можешь себе представить, весьма ценю,— и он помогает мне в моих трудах. Поскольку он никогда не говорит о своей прошлой жизни, то мне никак не удается понять, кто же он такой. Он интересуется главным образом насекомыми и растениями, причем некоторые его высказывания позволяют догадываться, что он невероятно образован. Как мне кажется, ему здесь нравится, и об отъезде он пока ничего не говорит; я решил, что позволю ему жить здесь, сколько он захочет. Мне как раз нужен был помощник, и получилось, что он появился у меня очень кстати.

Страшенный негр, который приплыл вместе с ним по Казамансу и с которым я немного побеседовал, говорил про какую-то сопровождавшую его женщину, как я понял, утонувшую в реке, когда опрокинулась их лодка. Я не удивился бы, узнав, что утонула она не без его помощи. В этой стране, когда возникает желание от кого-то избавиться, выбор средств имеется большой и никому до этого нет дела. Если вдруг узнаю об этой истории что-нибудь еще, напишу — или расскажу, когда приедешь ко мне. Да, я в курсе... тебя скоро призывают в армию... Ну что ж! Я подожду. Просто ты должен знать, что если хочешь повидаться со мной, то нужно решиться приехать сюда. Что касается меня, то мне возвращаться с каждым годом хочется все меньше и меньше. Я веду здесь жизнь, которая мне нравится и подходит, как сшитый по мерке костюм. Торговля моя процветает, а целлулоидный воротничок цивилизации кажется мне железным ошейником, носить который я уже никогда не захочу.

Прилагаю еще один чек, которым ты распорядишься, как тебе будет угодно. Тот, что я послал раньше, предназначался Рашели. А этот бери себе...»

— Остальное неинтересно,— сказал Арман.

Оливье и в голову не пришло, что убийца, о котором шла речь, был его братом. Венсан уже давно не подавал о себе никаких вестей; родители считали, что он в Америке. По правде говоря, его судьба не очень-то и беспокоила Оливье.

XVII

Борис узнал о смерти Брони только месяц спустя, когда в пансион пришла госпожа Софроницкая. После того печального письма Борис не получал от своей подружки никаких известий. Когда он увидел госпожу Софроницкую, входящую в салон госпожи Ведель, где он по обыкновению находился во время перемены, то обратил внимание на то, что она была в глубоком трауре, и сразу, еще до того, как она произнесла первое слово, все понял. Они были в комнате одни. Софроницкая обняла Бориса, и они горько расплакались. Она только повторяла: «Мой бедный мальчик... Мой бедный мальчик...», словно именно его нужно было жалеть в первую очередь, словно она забыла свое материнское горе при виде безысходного горя этого ребенка.

Потом пришла госпожа Ведель, за которой кто-то сходил, и Борис, еще весь сотрясаемый рыданиями, отошел в сторону, чтобы две дамы могли поговорить. Ему хотелось, чтобы они не разговаривали о Броне. Госпожа Ведель, не знавшая ее, говорила о ней, как о какой-нибудь обыкновенной девочке. Даже сами вопросы, которые она задавала, из-за их банальности казались Борису нескромными. Он предпочел бы, чтобы Софроницкая не отвечала на них, и страдал, что она, не таясь, показывает всем свою скорбь. Свою собственную боль он спрятал в себе глубоко-глубоко, как сокровище.

Конечно же, это о нем думала Броня, когда за несколько дней до смерти спросила:

— Мама, мне так хочется знать... Скажи, только точно, идиллия — это что такое?

Эти слова терзали ему сердце; Борис ни с кем не хотел ими делиться.

Госпожа Ведель предложила чаю. Перемена заканчивалась; Борис поспешно выпил свой чай и попрощался с Софроницкой, которая на следующий день уезжала в Польшу, где ее ждали дела.

Мир для него сразу опустел. Мать находилась слишком далеко, постоянно отсутствовала, а дедушка был слишком стар; даже Бернар, рядом с которым он чувствовал себя увереннее, и тот ушел... Нежная душа Бориса нуждалась в ком-нибудь, кому можно было бы принести в дар свое благородство и свою чистоту. Он не был кичлив и не собирался заниматься самолюбованием. Сли-

шком уж сильно он любил Броню, чтобы надеяться обрести когда-нибудь вновь смысл любви, утраченный в момент ее смерти. А как теперь без нее верить в ангелов, которых ему хотелось увидеть? Теперь даже небо и то превратилось для него в пустыню.

Борис вернулся в класс с таким ощущением, словно он нисходил в ад. Возможно, он сумел бы найти общий язык с Гонтраном де Пассаваном; это хороший мальчик, и к тому же они ровесники, но Гонтран весь погружен в свои занятия. Филипп Адаманти тоже не злой и, наверное, с радостью подружился бы с Борисом, но он до такой степени идет на поводу у Гериданисоля, что уже не осмеливается самостоятельно ни мыслить, ни чувствовать; что бы тот ни делал, Филипп тут же все за ним повторяет; ну а Гериданисоль Бориса просто не переносит. Его раздражает в нем буквально все: музыкальный голос, грация, изящное, как у девочки, лицо. Можно подумать, что при виде Бориса он испытывает инстинктивное отвращение, то самое отвращение, которое в стаде заставляет сильного набрасываться на слабого. А может быть, ненависть явилась у него следствием уроков его двоюродного брата и носит несколько теоретический характер, представляет собой что-то вроде неодобрения. Он как бы выискивает причины для своей ненависти. Гериданисоль уже хорошо понял, насколько болезненно реагирует Борис на презрительное к нему отношение: он пользуется этим и ради удовольствия увидеть в глазах мальчика тревожно-вопросительное выражение делает вид, что что-то замышляет вместе с Жоржем и Фифи.

— О! Ну и любопытный же он,— говорит тогда Жорж.— Может быть, скажем ему?

— Бесполезно. Все равно не поймет.

«Он не поймет», «Он не решится», «У него не получится» — такого рода выражения он слышит постоянно. И ужасно страдает оттого, что его не принимают в свою компанию. Он действительно не совсем понимает данное ему унизительное прозвище «Заячий хвост», а понимая, негодует. Чего бы он только не дал, чтобы доказать, что он вовсе не такой трус, как они думают!

— Я не переношу Бориса,— сказал Гериданисоль своему кузену.— Почему ты просил меня оставить его в покое? Он не очень-то стремится к покою. То и дело посматривает в мою сторону... На днях так нас всех рассмешил: оказывается, он думал, что когда говорят «женщина в костюме Евы», то имеют в виду какой-то особый маска-

радный наряд. Жорж так над ним потешался! Когда Борис понял свой промах, я думал, что он разревется.

Гериданисоль забросал своего кузена вопросами, и тот в конце концов вручил ему «талисман» и объяснил, как им пользоваться.

Несколько дней спустя Борис, войдя в классную комнату, обнаружил у себя на парте клочок бумаги, о существовании которого почти уже не помнил. Он вычеркнул из памяти и его, и все, что относилось к «магии», которой он теперь стеснялся. Сначала он даже не узнал его, так как Гериданисоль старательно обвел колдовскую формулу: «Газ... Телефон... Сто тысяч рублей» широкой черно-красной каймой, а вокруг нарисовал — и, честное слово, весьма неплохо — маленьких непристойных чертенят. Это придавало бумажке фантастический, «инфернальный», как подумал Гериданисоль, вид, способный, по его мнению, взбудоражить Бориса.

Возможно, это была всего лишь игра, но игра, превзошедшая все ожидания. Борис сильно покраснел, ничего не сказал, посмотрел направо, потом налево, но Гериданисоля, спрятавшегося за дверью и подглядывавшего за ним, не заметил. Борису было абсолютно непонятно, каким образом талисман оказался у него на парте; казалось, он свалился с неба или, скорее, появился откуда-то из преисподней. Теперь Борис, конечно, был уже достаточно большим, и не придавал чрезмерного значения этим своим детским проделкам, но они подняли со дна его памяти своевольные образы прошлого. Борис взял талисман и сунул его в карман своей куртки. Воспоминание о занятиях «магией» преследовало его до самого вечера. Он долго боролся против сумрачного искушения, но поскольку в этой борьбе теперь уже ничто его не поддерживало, то, поднявшись в свою комнату, он поддался соблазну.

Ему казалось, что он губит себя, стремительно удаляется от неба, но ему было приятно губить себя, а погибель он превращал в наслаждение.

И тем не менее, несмотря на охватившую его скорбь, он сохранил в глубине своего сиротства такие запасы нежности, сохранил такое острое и мучительное ощущение, вызванное подчеркнутым презрением к нему со стороны товарищей, что для того, чтобы добиться хоть немного уважения, готов был совершить любой, даже самый опасный и самый абсурдный, поступок.

Случай скоро представился.

После того как им пришлось отказаться от сбыта фальшивых монет, Гериданисоль, Жорж и Фифи оставались без дела недолго. Мелкие несуразные игры, которыми они занялись в первые дни, оказались всего лишь интермедией. Вскоре воображение Гериданисоля приготовило им блюдо поострее.

Поначалу «Братство сильных людей» было создано ими с единственной целью — чтобы не принимать туда Бориса. Однако вскоре Гериданисолю пришла в голову мысль, что, приняв его туда, они доставят себе еще более изощренное удовольствие, поскольку смогут таким образом навязать ему такие обязательства, с помощью которых впоследствии можно было бы заставить его совершить какой-нибудь чудовищный поступок. С тех пор они уже не расставались в этой мыслью, и, как часто случается в различного рода затеях, Гериданисоль размышлял уже не столько о самом акте, сколько о средствах его осуществления,— это вроде бы мелочь, но она позволяет понять механизм очень и очень многих преступлений. По натуре своей Гериданисоль был человеком жестоким, но понимал, что жестокость эту лучше скрывать, по крайней мере от Фифи. У Фифи, напротив, жестокости не было и в помине; до самого последнего момента он пребывал в уверенности, что речь идет всего лишь о шутке.

Любому братству нужен девиз. У Гериданисоля на этот счет была своя идея, и он предложил: «Сильный человек не дорожит своей жизнью». Девиз был принят и приписан Цицерону. В качестве отличительного признака Жорж предложил татуировку на правой руке, но боявшийся боли Фифи возразил ему, сказав, что стоящего татуировщика можно найти только в портах. К этому Гериданисоль добавил, что поскольку татуировка остается навсегда, то в дальнейшем она может им в чем-то помешать. Да и вообще, не настолько он нужен, этот отличительный знак; достаточно будет, что члены братства произнесут торжественную клятву.

Когда речь шла об операциях с фальшивыми монетами, возник вопрос о залогах; именно в этой связи Жорж и выставлял напоказ письма своего отца. Однако с тех пор о залогах они и думать забыли. К счастью, излишним постоянством эти дети не отличаются. В конечном счете они не стали утверждать никаких правил ни в том, что относится к «условиям приема», ни в том, что касается «необходимых качеств». Зачем все это, если по-прежнему подразумевалось, «что трое из них — то, что надо», а Борису «до

этого далеко»? Но зато они постановили, что «тот, кто спасует, будет считаться предателем, навсегда исключенным из братства». Гериданисоль, решивший принять туда Бориса, очень настаивал на этом пункте.

Нужно признать, что без Бориса игра была довольно пресной, а существование братства не имело смысла. Для того чтобы завлечь его, лучше подходил не Гериданисоль, который мог вызвать у Бориса подозрение, а Жорж; что же касается Фифи, то он, во-первых, был не такой хитрый, а во-вторых, предпочитал себя не компрометировать.

Мне кажется, что во всей этой мерзкой истории самой чудовищной была, пожалуй, роль Жоржа, согласившегося сыграть комедию дружбы. Он притворился, что вдруг воспылал к Борису дружескими чувствами; ранее же он буквально не замечал его. Причем у меня даже есть такое предположение, что, возможно, он увлекся своей игрой и его притворные чувства готовы были вот-вот стать искренними или даже стали ими в тот самый момент, когда Борис ответил на них взаимностью. Жорж постоянно обращался к нему с нежным участием, разговаривал с ним так, как его научил Гериданисоль... И Борис, истосковавшийся по уважению и любви, клюнул на удочку с первых же слов.

И тогда Гериданисоль выработал план действий и посвятил в него Фифи и Жоржа. Речь шла о том, чтобы придумать «испытание», которому должен подвергнуться вытянувший жребий член братства; чтобы успокоить Фифи, Гериданисоль намекнул, что жребий выпадет только Борису, и никому другому. Испытание будет состоять в проверке его храбрости.

Однако о том, в чем же, собственно, будет заключаться испытание, Гериданисоль пока что говорил лишь в самых общих чертах. Он опасался, не окажет ли Фифи какое-либо противодействие.

Когда немного позже он начал намекать, что пистолет отца Лапера здесь может сослужить свою службу, Фифи и в самом деле заявил:

— Вот как! Нет, тогда я не согласен.

— Ну и глупый же ты! Это же ведь только шутка,— ответил уже принявший идею Жорж.

— К тому же,— сказал Гери,— если ты предпочитаешь маяться дурью, то сразу так и скажи. Обойдемся и без тебя.

Гериданисоль знал, что этот аргумент действует на Фифи безотказно; а поскольку он уже приготовил вступи-

тельный листок, куда каждый из членов братства должен был вписать свое имя, то тут же добавил:

— Только ты скажи сразу, потому что, когда подпишешь, будет уже поздно.

— Ладно! Не сердись,— сказал Фифи.— Давай листок.— И подписал.

— Что касается меня,— говорил Жорж, нежно положив руку Борису на плечо,— то я, дружище, хотел бы тебя принять, только вот Гериданисоль не хочет.

— Почему?

— Он не доверяет тебе. Говорит, что ты струсишь.

— Откуда он может знать?

— Что ты не выдержишь даже первого испытания.

— Посмотрим.

— Ты действительно решишься тянуть жребий?

— Еще как!

— Но ты знаешь, что это означает?

Борис не знал, но ему хотелось узнать. Тогда Жорж объяснил ему. «Сильный человек не дорожил своей жизнью». Нужно было это доказать.

Борис на мгновение почувствовал головокружение, но напрягся и скрыл свое волнение.

— А вы правда подписали?

— На, посмотри,— и Жорж протянул ему листок, где Борис мог прочитать три имени.

— А вы...— начал он робко.

— Что мы?..— прервал его Жорж так резко, что Борис не осмелился продолжать. Жорж прекрасно понимал, что тот хотел спросить: обязались ли они все и можно ли быть уверенным, что они тоже не струсят.

— Нет, ничего,— сказал он, но с этой минуты у него закралось сомнение, что они стараются уклониться от испытания и играют нечестно. «Ну и ладно,— подумал он тут же,— пусть трусят; я покажу им, что я смелее их всех». Потом, глядя Жоржу прямо в глаза, произнес:

— Скажи Гери, что на меня можно рассчитывать.

— И ты подпишешь?

О! В этом даже не было необходимости: ведь он же дал слово. Он сказал просто:

— Если хочешь.— И под стоявшими на зловещем листке подписями трех «сильных людей» вывел крупным старательным почерком свое имя.

Жорж, торжествуя, отнес листок своим друзьям. Те со-

гласились, что Борис повел себя достойно. И стали совещаться.

— Конечно же, нет! Пистолет заряжать не будем. Да и патронов все равно ведь нет.— Опасения Фифи объяснялись тем, что как-то раз он слышал, что иногда человек может умереть от сильного волнения. Он вспомнил про рассказанный отцом случай, когда во время инсценировки казни... Однако Жорж посоветовал ему замолчать и добавил:

— Он же южанин, твой отец.

Нет, Гериданисоль не будет заряжать пистолет. В этом не было никакой необходимости. Тот патрон, которым Лаперуз когда-то зарядил свой пистолет, по-прежиему оставался в стволе. Гериданисоль обнаружил его там, но друзьям ничего не сказал.

Имена написали на четырех ничем ие отличавшихся друг от друга, одинаково сложенных маленьких листках бумаги, и эти клочки положили в панамку. Гериданисоль, которому предстояло «тянуть», написал имя Бориса еще и на пятом листке, зажал его в кулаке, а потом как бы невзначай именно он-то и вышел. У Бориса было подозрение, что тут не все чисто, но он промолчал. Какой смысл протестовать? Он уже знал про себя, что обречен. И не предпринял никакой попытки защититься; даже если бы жребий выпал кому-нибудь другому, он предложил бы себя, чтобы его заменить,— иастолько велико было его отчаяние.

— Ну и не везет же тебе, старина,— счел необходимым произнести Жорж. Голос его прозвучал настолько неестественно, что Борис с грустью посмотрел на него.

— Я так и знал,— сказал он.

После этого решили устроить репетицию. Однако, поскольку был риск, что кто-то их застанет, сошлись на том, что пистолетом сейчас пользоваться не будут. Его они вынут из ящика только в последний момент, когда станут играть «взаправду». Чтобы никто ни о чем не догадался.

Ну а в этот день условились только о времени и месте и обвели это место на полу мелом. Оно находилось в углу классной комнаты, рядом с заколочениой наглухо дверью, выходившей когда-то прямо под арку подъезда. Что же касается времени, то выбрали такой час, когда идут занятия. Это должно было произойти на глазах у всех учеников: вот ошалеют-то.

Репетиция проходила в пустом классе в присутствии

троих заговорщиков. Хотя, в сущности, репетиция оказалась весьма незатейливой. Просто они констатировали, что от места, где Борис сидит, до мелового круга было ровно двенадцать шагов.

— Если не испугаешься, то не сделаешь ни шагу больше.

— Я не испугаюсь,— сказал Борис, которого это постоянное сомнение оскорбляло. Решительность мальчугана впечатляла остальных все больше и больше. Фифи полагал, что на этом надо бы и остановиться. Но Гериданисоль задался целью довести шутку до конца.

— Ну ладно, до завтра,— сказал он, как-то странно улыбнувшись одним только уголком рта.

— Давайте обнимем его!— вдохновенно воскликнул Фифи. Он вспомнил о том, как обнимались на прощание богатыри-рыцари, и порывисто заключил Бориса в свои объятия. Борис еле сдержал слезы, когда Фифи по-детски звучно поцеловал его в обе щеки. Ни Жорж, ни Гери не последовали примеру Фифи; Жоржу показалось, что тот ведет себя не слишком солидно. Что же касается Гери, то он на все это просто плевал...

XVIII

На следующий день вечером все школьники пансиона собрались по звуку колокольчика.

Борис, Гериданисоль, Жорж и Филипп сидели на одной скамейке. Гериданисоль достал часы и положил их между собой и Борисом. Стрелки показывали тридцать пять минут шестого. Урок начался в пять и должен был продолжаться до шести. Было решено, что Борис закончит все без пяти шесть, перед самым окончанием урока; так было лучше — сразу после этого можно было не мешкая смыться. Вскоре Гериданисоль сказал Борису вполголоса и не глядя на него, что, по его мнению, придавало произносимым им словам еще более фатальное звучание:

— Старина, у тебя в распоряжении всего пятнадцать минут,— Борису вспомнилось, как в одном недавно прочитанном им романе бандиты, перед тем как убить женщину, предложили ей помолиться, давая тем самым понять, что она должна готовиться к смерти. Подобно путешественнику, который, оказавшись на границе, приводит в порядок документы, необходимые, чтобы покинуть страну, Борис попытался отыскать в своем сердце и в голове какую-нибудь молитву; он так ничего и не нашел, но

поскольку находился во власти сильной усталости и столь же сильного напряжения, то это его не очень расстроило. Он пытался собраться с мыслями, но в голову ничего не приходило. Пистолет оттягивал ему карман; он чувствовал его, даже не дотрагиваясь до него рукой.

— Всего десять минут.

Жорж, сидевший слева от Гериданисоля, краем глаза наблюдал за сценой, делая, однако, вид, что ничего не замечает. *Он лихорадочно трудился. Никогда еще в классной* комнате не было так тихо. Лаперуз прямо не узнавал своих шалунов и впервые дышал свободно. Один Фифи обнаруживал признаки беспокойства; Гериданисоль внушал ему страх, и у него не было уверенности, что эта игра окончится благополучно; сердце его томилось, ныло, и время от времени он тяжело вздыхал. В конце концов, не выдержав, он вырвал полстраницы из находившейся перед ним тетради по истории — он должен был готовиться к экзамену, но строчки прыгали у него перед глазами, а в голове перепутались все события и даты,— нижнюю часть страницы, быстро-быстро написал: «Ты хоть уверен, что пистолет не заряжен?» — и протянул записку Жоржу, который передал ее Гери. Однако тот, прочитав ее, даже не взглянув на Фифи, пожал плечами, а потом сделал из бумажки шарик и щелчком послал его точно в обведенное мелом место. Затем улыбнулся, довольный тем, что так ловко попал в цель. Эта нарочитая улыбка так и застыла у него на лице — словно кто-то ему ее напечатал — до самого конца сцены.

— Еще пять минут.

Это было сказано довольно громким голосом. Даже Филипп услышал. Он весь оказался во власти гнетущей тревоги и, хотя занятия должны были вот-вот закончиться, сделал вид, что ему нужно срочно выйти — а может быть, у него и в самом деле начались колики в животе,— поднял руку и щелкнул пальцами, как это делают ученики, спрашивая у учителя разрешения выйти; потом, не дожидаясь ответа Лаперуза, стремительно выскочил из-за парты. Для того чтобы добраться до двери, он должен был пройти перед кафедрой надзирателя; он чуть не бежал, но при этом шатался.

Почти тотчас же после того, как Филипп вышел, Борис тоже встал. Младший Пассаван, усердно трудившийся за партой сзади него, поднял голову. Позже он рассказывал Серафине, что Борис был «ужасно бледный», но ведь в подобных случаях всегда так говорят. Кстати, он лишь ме-

льком взглянул и сразу же погрузился опять в свои занятия. Впоследствии он очень корил себя за это. Он говорил, заливаясь слезами, что если бы был в состоянии понять, что происходит, то ни в коем случае не дал бы свершиться тому, что произошло. Но он ни о чем не догадывался.

А тем временем Борис достиг обведенного мелом места. Он шел медленно, как автомат, устремив взгляд в одну точку; точнее, как сомнамбула. Правой рукой он уже схватил пистолет, но держал его спрятанным в кармане куртки; вытащил он его только в самый последний момент. Роковое место находилось, как я уже сказал, рядом с заколоченной дверью, образовавшей справа от кафедры небольшой закоулок, и поэтому учитель мог его видеть, только наклонившись.

Лаперуз наклонился. Сначала он даже не понял, что делает его внук, хотя странная торжественность телодвижений Бориса не могла не настораживать. Он начал самым громким, на какой только был способен, голосом, причем стараясь придать ему властность:

— Господин Борис, прошу вас немедленно вернуться на свое...

И вдруг узнал свой пистолет, который Борис уже поднес к виску. Лаперуз понял и вдруг почувствовал такой ужасный холод, как если бы вся кровь у него в жилах внезапно превратилась в лед. Он хотел встать, бежать к Борису, удержать его, кричать... Из его рта вырвалось какое-то протяжное хрипение, и он так и остался сидеть на месте, словно парализованный, сотрясаемый крупной дрожью.

Раздался выстрел. Борис упал не сразу. На какое-то мгновение тело задержалось, словно его заклинило в углу, но потом голова, упав на плечо, увлекла за собой все остальное.

Когда чуть позже полиция начала свое расследование, то, ко всеобщему удивлению, пистолета рядом с Борисом — я хочу сказать, не около кровати, куда почти тотчас же перенесли его не очень тяжелый труп, а рядом с тем местом, где он упал,— обнаружить не удалось. В образовавшейся сразу после выстрела суматохе, в то время как другие склонились над Борисом, а Гериданисоль продолжал сидеть, как сидел, Жорж сорвался со своей скамейки и ловко, незаметно для всех овладел пистолетом: сначала отбросил его ногой назад, потом схватил, спрятал под курткой и в конце концов украдкой передал Гериданисо-

лю. Внимание всех было сконцентрировано на одной точке, и поэтому никто также не заметил, как Гериданисоль сбегал в комнату Лаперуза и положил пистолет туда, где он его взял. Когда потом, во время обыска, полиция обнаружила пистолет в футляре, то, сообрази Гериданисоль вынуть из ствола гильзу, впору было бы усомниться в том, что его оттуда вообще извлекали, и в том, что Борис воспользовался именно им. Конечно же, он слегка потерял голову. Мимолетная потеря самообладания, за которую впоследствии он упрекал себя, увы, гораздо больше, чем за совершенное им преступление. А между тем как раз эта потеря самообладания его и спасла. Когда, спустившись вниз, он смешался с другими, то при виде уносимого мертвого тела Бориса его стало трясти, с ним случилось что-то вроде нервного припадка, в котором подбежавшим к нему госпоже Ведель и Рашели угодно было увидеть проявление чрезмерной эмоциональности. Люди предпочитают предполагать что угодно, лишь бы не подозревать в бесчеловечности столь юное существо; так что когда Гериданисоль стал говорить, что он невиновен, то ему поверили. Переданная ему Жоржем записка Фифи, которую он отбросил щелчком и которую потом нашли под партой, эта коротенькая скомканная записка была истолкована в его пользу. Конечно, он наравне с Жоржем и Фифи был виноват в том, что принял участие в столь жестокой игре, но ведь он же говорит, что не стал бы играть, если бы знал, что пистолет заряжен. Один только Жорж был уверен в его абсолютной виновности.

Жорж был не настолько испорчен, чтобы его преклонение перед Гериданисолем не уступило наконец место отвращению. Вернувшись в тот вечер домой к родителям, он бросился в объятия матери, и Полина преисполнилась благодарности к Богу за то, что он пусть и ценой этой ужасной драмы вернул ей сына.

Дневник Эдувра

«Не претендуя на доскональное объяснение чего бы то ни было, я все же не хочу оставлять ни единого факта без достаточной мотивировки. Поэтому я не собираюсь использовать в своих «Фальшивомонетчиках» самоубийство Бориса; очень уж сложно в нем разобраться. Кроме того, я не люблю «происшествий». В них есть нечто категорическое, неопровержимое, резкое, кричаще реальное. Я согласен с тем, чтобы реальность подтверждала мою мысль

в качестве аргумента, но отнюдь не с тем, чтобы она предшествовала ей. Я не хочу, чтобы меня заставали врасплох. Самоубийство Бориса кажется мне неприличным, потому что я не был к нему готов.

Несмотря на то что думает по этому поводу Лаперуз, считающий, очевидно, своего внука более смелым, чем он сам, я полагаю, что в любом самоубийстве есть какая-то доля трусости. Если бы этот мальчик мог предвидеть ту катастрофу, которую навлек его трагический поступок на семью Веделей, ему бы не было оправдания. Азаису пришлось закрыть пансион, по его словам, только на время, но Рашель опасается, что это уже конец. Уже четыре семьи забрали своих детей. Я пытался было убедить Полину не делать этого, но безуспешно; надо сказать, что ее сын, глубоко потрясенный смертью своего товарища, вроде бы настроен исправляться. Какое эхо пошло от этого внезапного траура! Даже Оливье расстроен. Армана, несмотря на весь его показной цинизм, тревожит грозящее семье разорение, и он предлагает посвятить пансиону все свободное время, остающееся у него от работы на Пассавана; ведь старый Лаперуз явно не оправдал возлагавшихся на него надежд.

Я шел к нему не без трепета. Он принял меня в своей комнатке на третьем этаже пансиона. Сразу взял меня за руку, причем с каким-то таинственным видом, почти улыбаясь, что меня немало удивило, поскольку я настраивался на сплошные слезы.

— А вы знаете, шум... Шум, о котором я вам тогда говорил...

— И что?

— Прекратился. Окончательно. Я больше не слышу его. Как ни прислушиваюсь...

Я ответил ему так, словно включался в какую-то детскую игру:

— Могу спорить, что теперь вы уже скучаете по нему.

— О! Нет, нет... Я так от него отдыхаю! Мне так нужна тишина... Знаете, что я тут подумал? Я подумал, что, пока мы живем, нам не дано понять, что такое настоящая тишина. Ведь даже наша кровь и то постоянно создает внутри нас какой-то непрерывный шум; мы даже уже и не различаем шум, потому что привыкали к нему с самого детства... И все же я думаю, что есть такие вещи, которые при жизни нам не удается услышать, какие-нибудь гармонии... потому что этот шум их заглушает. Да, я думаю,

что слышать по-настоящему мы сможем только после смерти.

— Вы говорили мне, что не верите...

— В бессмертие души? Я вам так говорил?.. Да, наверное, вы правы. Но я не верю, поймите меня, и в обратное.

Поскольку я молчал, то он продолжил назидательным тоном, покачивая головой:

— Вы обратили внимание на то, что в этом мире Бог все время молчит? Говорит все время только дьявол. Или по крайней мере, по крайней мере... сколько бы мы ни прислушивались, нам удается услышать только голос дьявола... У нас нет таких ушей, чтобы слушать голос Бога. Слово Бога! Вы когда-нибудь задумывались над тем, каким оно может быть?.. О! Я не говорю о том слове, которое влилось в человеческий язык... Вы помните, как начинается Евангелие: «В начале было Слово»? Я часто думал, что Слово божие — это все творение. Но дьявол завладел им. И теперь его шум заглушает голос Бога. О! Скажите мне: а вам не кажется, что последнее слово останется все-таки за Богом?.. А если времени после смерти уже больше не существует, если мы входим прямо в Вечность, то не кажется ли вам, что мы сможем услышать голос Бога... непосредственно?

Тут он весь затрясся в каком-то исступлении, словно у него вот-вот должен был начаться приступ эпилепсии, а потом вдруг разрыдался.

— Нет! Нет! — не очень отчетливо выговаривал он.— Дьявол и Бог — это одно и то же. Они договариваются между собой. Мы стараемся убеждать себя, что все, что есть на земле плохого, идет от дьявола; но делаем это только потому, что иначе у нас не стало бы сил прощать Богу. Он истязает нас и играет с нами, как кошка с мышью. Да еще требует после этого, чтобы мы были ему благодарны. Благодарны за что? За что?..

Потом, наклонившись ко мне, он сказал:

— А знаете, когда он совершил свое самое ужасное деяние?.. Когда для нашего спасения принес в жертву собственного сына. Собственного сына! Собственного сына!.. Жестокость — вот главная особенность Бога.

Он бросился на кровать и повернулся лицом к стене. Какое-то время его продолжало трясти, потом он вроде бы заснул, и я вышел.

О Борисе не было сказано ни слова, но мне кажется, что это мистическое отчаяние явилось косвенным выраже-

нием огромного страдания, слишком нестерпимого, чтобы отважиться смотреть ему прямо в лицо.

Я узнал от Оливье, что Бернар вернулся к отцу; честное слово, это самое разумное из всего, что он мог сделать. Узнав от малыша Калу, случайно встреченного им на улице, что старому следователю нездоровится, Бернар внял голосу своего сердца. Завтра вечером мы встретимся, так как Профитандье пригласил меня поужинать вместе с Молинье, Полиной и двумя детьми. Любопытно будет посмотреть на этого Калу».